



ИМЕРТОН
ММКРОС

1902 w 7-8 T.8 (M/P)

258 w 7

Steppe de Kyartbe



250 sheet

1902
w 7

1902.

No. 7.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Рисунки художниковъ Е. Гейгера, Л. Бакста, Александра Бенуа, А. Эдельфельта, I. Замтлера, Т. Гейне, Ф. Валлотона, С. Леандра, Ю. Дюа, Е. Гюара, Г. Тома, Н. Ташнера, Е. Лансере, К. Сомова.

Приложение.

4 pointes-sèches П. Еллё.

ТЕКСТЪ.

В. Розановъ. Флоренція.
Л. Шестовъ. Философія трагедіи (гл. XVI—XXI)
Н. Минскій. Философскіе разговоры. Г.
Силзигъ. «Новое Время» и Врубелъ.
Замѣтки.
Объявленія

SOMMAIRE.

ILLUSTRATIONS.

Dessins de divers artistes.

Russie: L. Bakst, Alexandre Benois, E. Lan-
ceray, C. Somoff.

Finlande: A. Edelfelt.

France: F. Valloton, C. Léandre, Huard.

Allemagne: T. T. Heine, J. Diez, Ign. Tasch-
ner, I. Sattler.

HORS-TEXTE.

Quatre pointes-sèches de P. Helleu.

TEXTE.

V. Rosanow. Florence.
L. Chestoff. Nietzsche et Dostoïevski. XVI—
XXI.
N. Minski. Dialogues. V.
Silène. M. Wroubel.
Notices.

МІРЪ ИСКУССТВА.



ТОМЪ
ВОСЬМОЙ

1902 г.

№ 7-12

С. ПЕТЕРБУРГЪ



ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

I. Отдѣлъ первый.

Иллюстраціи.

	СТР.		СТР.
Аманъ-Жанъ, Е. Паркъ	195	Гей, В. Бюстъ	183
Англада, Г. Испанскій танецъ	180, 182	У Эллѣ	188
Вечеръ	181	Гейгеръ, Е. Заглавный листъ	1
Лошади послѣ дождя	—	Гейне, Т. Иллюстраціи	27, 28, 29, 30, 31
Андри, Ф. Словаки	218	Весталка	204
Анкэтенъ, Л. Литографія	160	Заставка	299
Ашбэ, Г. Часы	216	Головинъ, А. Эскизы декорацій къ балету „Вол- шебное зеркальце“	306
Бакстъ, Л. Заставки	3, 295	Голубкина, А. Страница	316
Портретъ гр. Келлеръ	307	Гофманъ, Л. Жаркая ночь	217
Сіамскій танецъ	310	Купающіяся дѣвушки	209
Бенуа, А. Рисунки	4, 5, 6, 56	Грабаръ, И. Золотые листья	308
Павловскій дворецъ	313	Гюаръ, К. Провинція	38, 39, 40, 42, 43
Бердслей, О. Рисунки	304	Въ Парижѣ	41
Виллингъ, Г. Столовая	210	Дела Гандара, А. Прудъ въ Люксембургскомъ саду	273
Вольдини, Д. Портретъ Дж. Уистлера	155	Портреты	274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Врейтнеръ, Г. Отдыхъ	204	Этюдъ въ Люксембургскомъ саду	276, 281
Броунъ, О. Портретъ	184	Денисъ, М. Мадонна	190
Валлотонъ, Ф. Катоки	33	Снятіе со креста	191
Рисунокъ	44	Дицъ, Ю. Рисунки	32, 37, 51, 53, 55
Вальгрень, В. Бретонская дѣвочка	88, 89	Добужинскій, М. Заставки	305 и слѣд.
Бретонка	90	Дудлэ, К. Иллюстраціи	302
Мать	91	Жаньо, П. Разговоръ	193
Скульптура	92, 93	Заттлеръ, І. Иллюстраціи 14, 15, 16, 17, 19,	20, 21, 23, 24, 25, 26, 36
Вѣнскій Сецессионъ 4 снимка. 196, 198, 199, 200		Калькрейтъ, Л. Рисунокъ,	218
Гауль, А. Гуси	207	Дѣтскій портретъ	203
Ге, Н. Портретъ художника	266	Пейзажъ	206
Портреты	267, 268, 269, 270, 271, 272	Клейнгампель, Г. Спальня	213
Пейзажи	269, 270		
Гезелліусъ, Лендгрень и Сааринень, 11 сним- ковъ	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77		

	СТР.		СТР.
Климентъ, Г. Стѣнная живопись	197, 201, 202	Великая княгиня Марія Ѳедоровна	323
Коненковъ, С. Самсонъ	319, 320	Портретъ кн. Б. М. Голицына	324
Кройеръ, С. У Бьёрнсена	185	Портретъ кн. Н. П. Голицыной	325
Лансере, Е. Ex-libris	57, 58	Портретъ И. И. Шувалова	326
Рисунки	64, 258	Портретъ Ландграфини Гессенъ-Гомбургской	327
Латушь, К. Ужинъ послѣ бала	187	Портретъ кн. А. М. Бѣлосельскаго	328
Баль	192	Портретъ кн. А. М. Бѣлосельской	329
Заря	194	Портретъ Маркизы Зои Марруци	330
Леандръ, С. Рисунокъ	35	Портретъ кн. А. Б. Куракина	331
Лейгеръ, М. Керамика и мебель	333, 334, 335	Саариненъ, Э. 3 снимка	78
Ленбахъ, Фр. Портретъ Моммзена	338	Свирская, Ю. Скульптура	189, 195
Либерманъ, М. Дворикъ	208	Симонъ, Л. Портретъ	186
Макдональдъ-Макинтошъ, М. Металличе- скія панно	214	Деревенскій балъ	189
Макинтошъ, К. Шкафъ	212	Сомовъ, К. Ex-libris	59, 61, 62, 63
Малявинъ, Ф.	311	Стассенъ, Ф. Снятіе со креста	208
Манъ, Э. Быкъ	206	Сѣровъ, В. Зима	305
Мендесъ да Коста. Хамелеонъ и сова	215	Ташнеръ, И. Иллюстраціи	46, 47, 50
Миннэ, Г. Токаръ	207	Тома, Г. Рисунокъ	45
Монъ, К. Завтракъ	205	Трубецкой, кн. П. Портретъ М. С. Боткиной	315
Мункъ, Э. Лѣтняя ночь	269	Уистлеръ, Дж. 4 портрета	156, 157, 158, 159
Мэкъ-Нэръ, Г. и Ф. Металлическое панно	211	Фоглеръ, Г. Заставка	13
Ореанъ, Р. Столовая	210	Фредерикъ, Л. Конецъ міра	161
Орликъ, Е. Живопись на деревѣ	200	Дѣтство	162
Остроумова, А. Гравюры на отдѣльныхъ ли- стахъ (№ 11).		Золотой вѣкъ; ночь	163
Коровки	259	" " утро	164
Озеро ночью	—	" " вечеръ	165
Гравюры съ Рубенса	260	Гимнъ Творцу	166
Лѣтній садъ	261	Возрасты рабочаго	167
Наяда	262	Юность	168
Луна	263	Шитье южно-русское, 3 снимка	94, 95, 96
Гравюра	264	Шмидтъ-Пехтъ, Е. Керамика	332, 333
Эстрада	265	Шумахеръ, Е. Свадьба въ Бретани	185
Павловскій вокзалъ	265	Эдельфельтъ, Э. Иллюстраціи	7, 10, 11
Рисунокъ	285	Энкель, М. Портреты	79, 80, 84
Пастернакъ, Л. Л. Толстой съ семьей, Эскизъ и 10 этюдовъ	65, 66, 67, 68	Пейзажи	81, 86
Пурвиль, В. Осень	314	Этюдъ	82
Рерихъ, Н. Городъ строить	309	Христосъ на горѣ Елеонской	83
На Сѣверѣ	312	На озерѣ	85
Заповѣдное мѣсто	312	Жажда	86
Роденъ, О. 12 снимковъ въ его произведеній	169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179	Народная читальня	87
Росленъ, А. гр. Н. П. Шереметевъ	321	Эйтервикъ, Ж. Металлическія вазы	216
Цесаревичъ Павелъ Петровичъ	322	Якунчикова, М. Петербургъ зимой	317
		Паркъ	318
		Ѳедотовъ, П. Офицеръ, квартирующий въ де- ревнѣ	282

II. Отдѣлъ второй.

(Литературный).

	стр.		стр.
Бугаевъ, Б. Формы искусства	343	„Ипполитъ“ на Александринской сценѣ . .	240
Бѣлый, А. Пѣвица	302	Гоголь	337
Ге, Н. Письма къ разнымъ лицамъ	283	Рцы. Зола и Римъ	299
Минскій, Н. Философскіе разговоры . . . 45,	282	Философовъ, Д. Современное искусство и ко-	
Э. Зола	249	локольня св. Марка	114
Розановъ, В. Флоренція	3	Шестовъ, Л. Философія трагедіи . . . 7, 97,	219
Концы и начала	122		

III. Отдѣлъ третій.

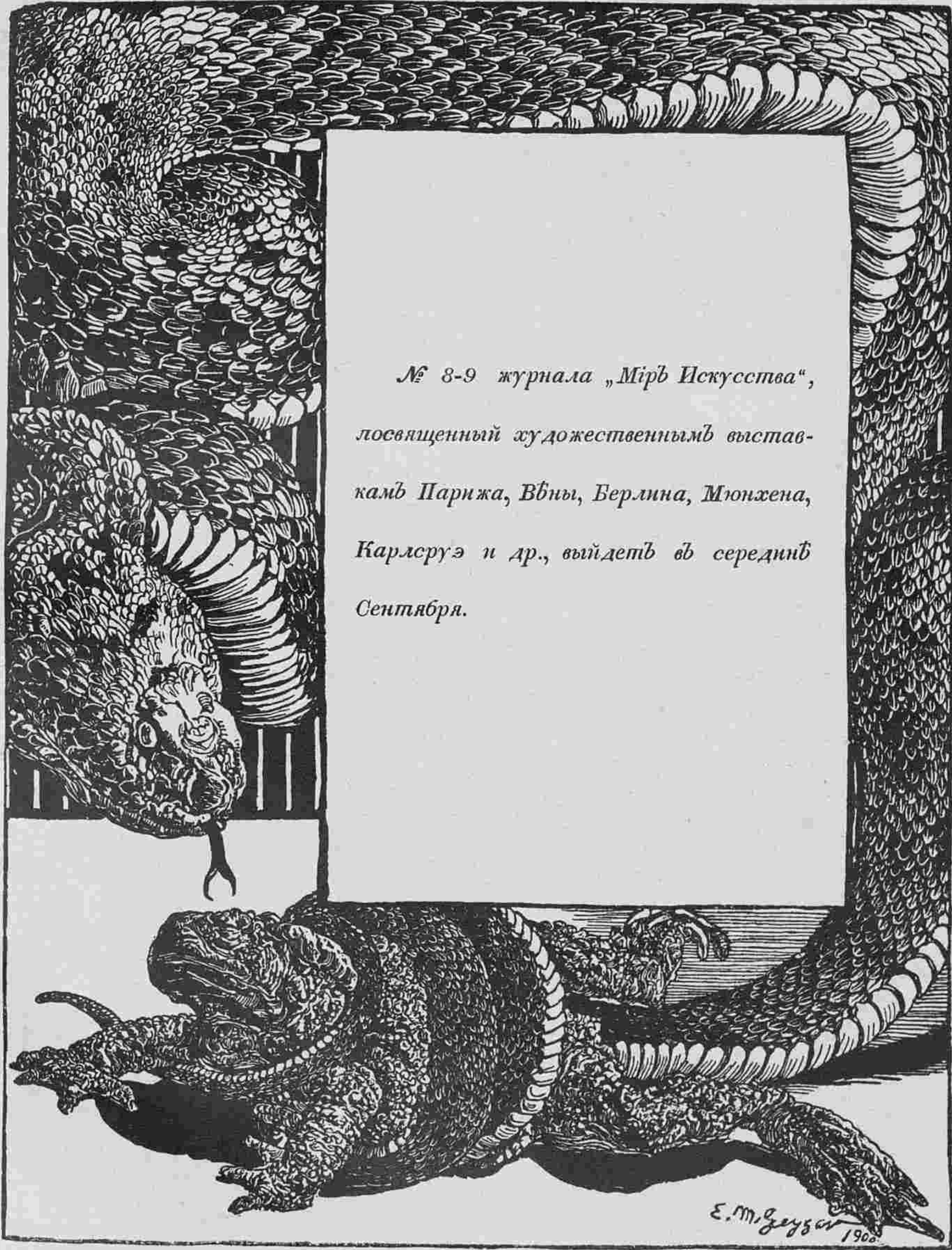
(Хроника. Отдѣльная нумерація страницъ ¹⁾).

А. Н. Музыкальныя новинки	51	Свѣдѣнія	55, 153 (№ 8)
Бенуа, А. Красота Петербурга	138 (№ 8)	С. Д. М. В. Якуничкова (некрологъ)	59
Старое и современное искусство	44	Силэнъ. „Новое Время“ и Врубель	1
Бѣжаницкій, Д. Книги	21, 150 (№ 8)	Русскій эстетикъ въ Парижѣ	149 (№ 8)
Грабарь, И. По Европѣ	13, 142 (№ 8)	Философовъ, Д. Театральныя замѣтки . . . 5, 46	
Дягилевъ, С. Книги	22	Литературный чиновникъ	64
По поводу книги А. Бенуа	39	Ханенко. Художественная выставка въ Кіевѣ 146 (№ 8)	
Въ театрѣ	31, 60	Шестаковъ, Д. Книги	25
Замѣтки	34, 56, 150 (№ 8)	Суздальскія традиціи	145 (№ 8)
Розановъ, В. Счастливый обладатель своихъ		Яремичъ, С. Отвѣтъ г. Ханенко	147 (№ 8)
способностей	29		
Ростиславовъ, А. Книги	52, 62		

Приложенія.

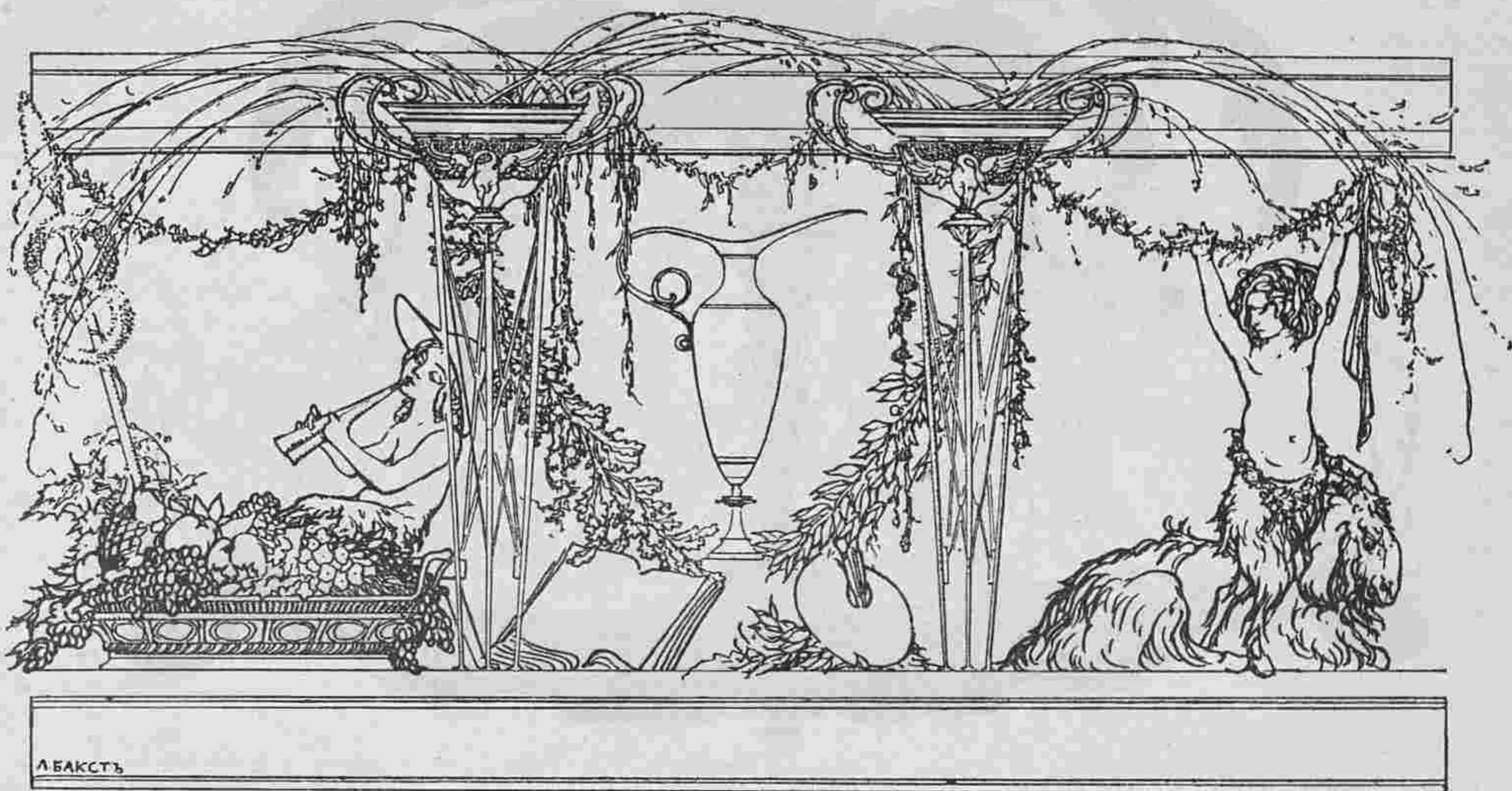
Еллѣ, П. 4 pointes-sèches	8, 32, 48, 54	Пастернакъ, Л. Л. Толстой съ семьей (№ 8).	
Остроумова, А. 4 хромофотографіи (№ 11),		Фототипія.	
		Сѣровъ, В. Портретъ Государя Императора (№ 12).	
		Фототипія.	

¹⁾ Въ номерѣ 8-мъ отдѣльная нумерація хроники по ошибкѣ не соблюдена.



*№ 8-9 журнала „Миръ Искусства“,
посвященный художественнымъ выстав-
камъ Парижа, Вьны, Берлина, Мюнхена,
Карлсруэ и др., выйдетъ въ срединѣ
Сентября.*

Е. М. Зейсовъ 1900



ФЛОРЕНЦИЯ

Такое благополучіе: едва пріѣхалъ во Флоренцію, въ пять часовъ утра, и, задыхаясь отъ усталости, счета денегъ и желанія спать, все-таки выглянулъ на минуту въ окно — какъ увидалъ чудеснѣйшую церковь, какую никогда не видалъ, и, недоумѣвая, спрашивалъ себя: „да что такое, не въ Миланѣ-же я попалъ вмѣсто Флоренціи“. У меня былъ адресъ: „piazza del Duomo“. Я не спросилъ себя, что такое „Duomo“, ѣхалъ отъ вокзала не долго, былъ увѣренъ, что останавливаюсь въ окраинной части огромнаго города, и, увидавъ бѣлое кружево мраморной церкви, положенное какъ-бы на черное сукно, пришелъ въ отличнѣйшее настроеніе духа. „Ну, такъ

и есть! цвѣтущая, *fiorens*—Флоренція“. И заснулъ въ самыхъ радужныхъ снахъ.

Какая масса труда, заботливости, любви, терпѣнія, чтобы камешекъ за камешкомъ вытесать, вырѣзать, выгравировать такую картину, объемистую, огромную, узорную. Въ тысячный разъ здѣсь въ Италиі я подумалъ, что нѣтъ искусства безъ ремесла и нѣтъ генія безъ прилежанія. Чтобы построить „Duomo“, нужно было начать трудиться не съ мыслью: „насъ посѣтитъ геній“, а съ мыслью можетъ быть болѣе геніальной и во всякомъ случаѣ болѣе нужной: „мы никогда не устанемъ трудиться, ни мы, ни наши дѣти, ни вну-



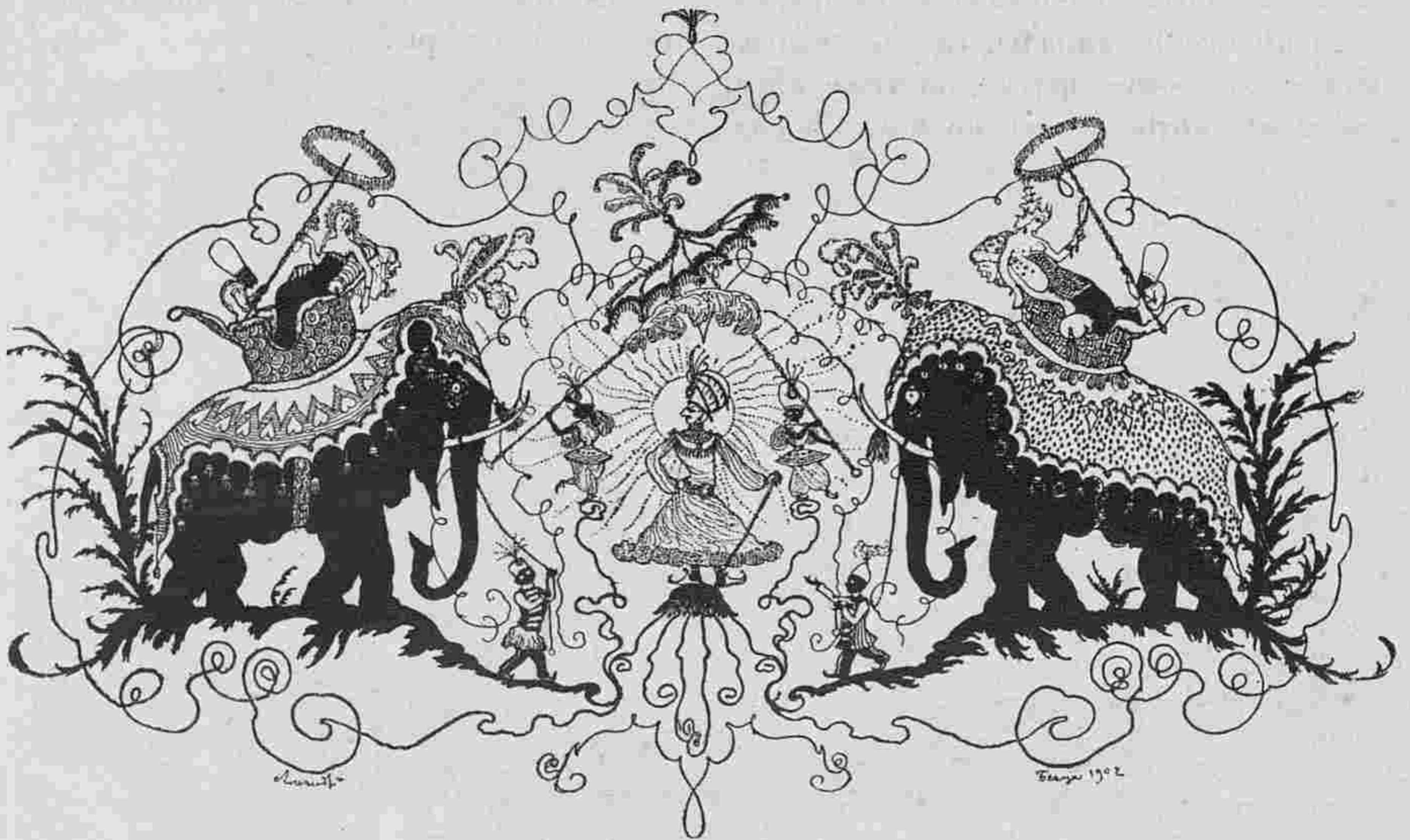
Александръ Бенуа.
(А. Benois).

ки“. Нужна вбра не вб мой трудб, но вб нашб національный трудб, вслбдствие чего я положилб-бы свой камень со спокойствіемб, что онб не будетб сброшенб, забытб, презрбнб вб слбдующемб году. Это-то и образуетб „культуру“, неуловимое и цблбное явление связности и преемственности, безб которой не началась исторія и продолжается только варварство.

Какб „Диото“ ярокб, цвбтиетб, радостенб снаружи, такб внутри онб меня поразилб ббдностью, сухостью, темнотою. Небольшія окна, то круглыя, розеткою, то длинныя, почти лентою, унизаны синими, пунцовыми, рбже желтыми, вообще темно-цвбтными стеклышками, почти не пропускающими свбта. Вы движетесь вб совершенномб мракб. Вдали горятб не многія, рбдкія лампа-

ды. Это—царство духовб, это—какб на кладбищб, гдб движутся фантастическіе огоньки.

И храмб почти пустб, даже во время богослуженія. Вб первый-же разб, когда я вошелб вб него, за стеклянной, вб половину сб деревомб, перегородкой главнаго алтаря сидбло на скамьяхб едва-ли менбе 80 патеровб и вообще служителей, и прямо кричало, орало, смблымб, мужественнымб голосомб, молитвы, не замбчая и не обращая вниманія, что вб церкви никого рбшительно кромб меня не было. Я всмотрблся за стеклянную перегородку. И патеры сидбли почти вб темотб. Но по серединб на пюпитрб лежала чудовищной величины развернутая книга, со словами и нотными знаками, длиной и толщиной какб цифры на стбнныхб ча-



Александръ Бенуа.
(A. Benois).

сахъ, и эта книга одна въ цѣломъ сборѣ была ярко освѣщена сосредоточеннымъ отъ абажура свѣтомъ: по нейто и пѣли патеры. И это ихъ равнодушіе къ тому, что въ церкви никого нѣтъ, и громкій голосъ, какъ-бы счастливый одиночествомъ, какъ-бы говорящій: „и никого не надо, одни проживемъ“, почти испугалъ меня и смутилъ: „фу—какъ жрецы Ваала! и также орутъ“. Я достоялъ до конца службы. Она тянулася долго, безъ красоты, монотонно въ смыслѣ однообразія. Наконецъ все окончилось. Что это за служба въ порядкѣ римскаго богослуженія (было часа 4, а можетъ быть 6 по-полудни)—я не знаю. Но они встали, ни мало не спѣша, поводя плечами, какъ солдатъ, надѣвающій ранецъ, и пошли, своей не усталой, крѣпкой походкой, грубо и твердо. Я перекрестился по православному. Кой-кто по-

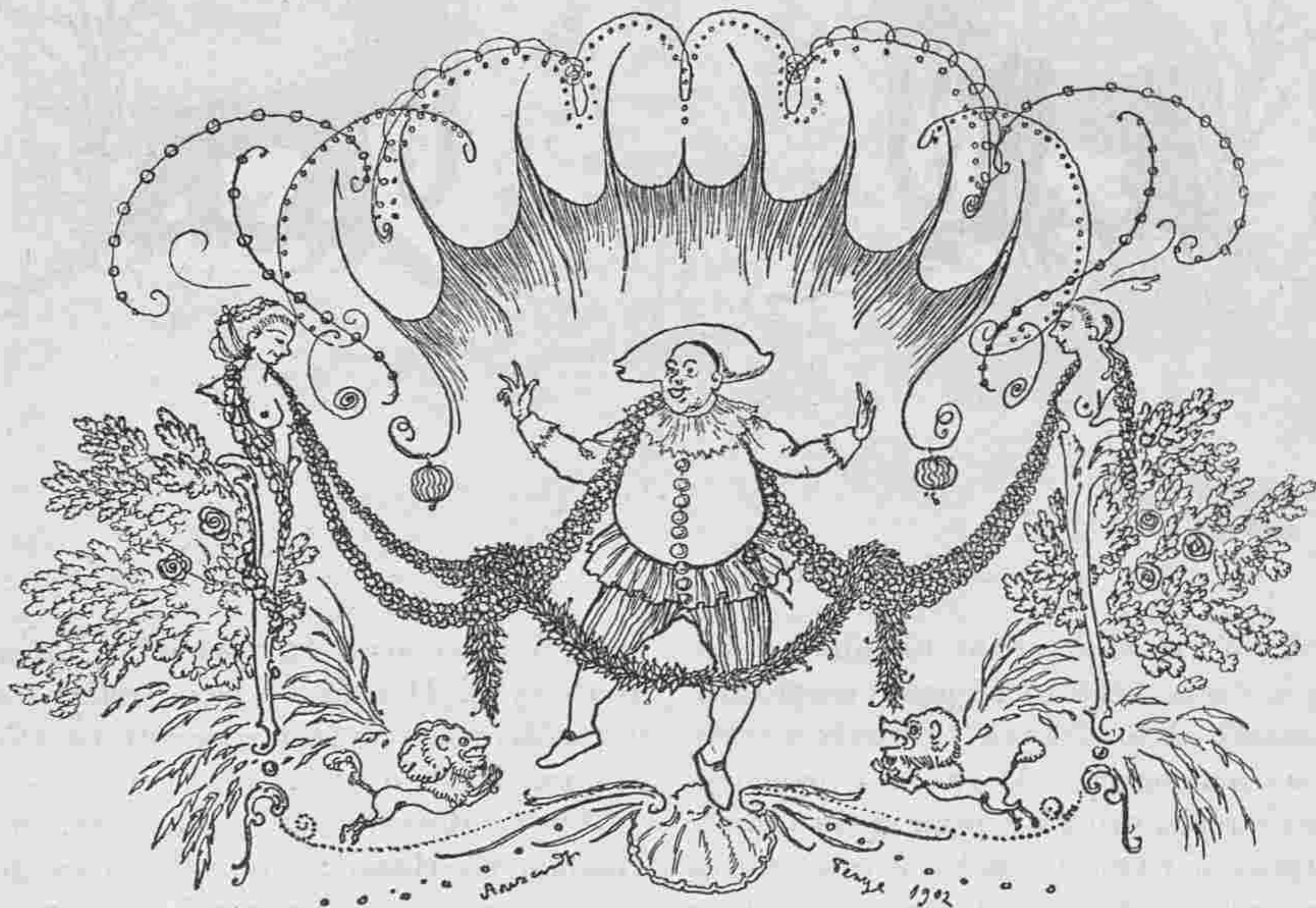
смотрѣлъ на меня въ темнотѣ. „Ты зачѣмъ тутъ? И тебя не надо, никого не надо. Мы одни тутъ и совершенно счастливы. Богъ и мы“.

Впечатлѣніе, какъ и повсюду, постоянно въ Италіи: „ну, съ ними довольно трудно заговаривать о соединеніи церквей. Они сшибутъ васъ съ ногъ, просто самымъ движеніемъ, бытіемъ своимъ, раньше чѣмъ вы успѣете договорить первую фразу „предложенія“; сшибутъ—и перейдутъ черезъ васъ, и пойдутъ къ своимъ цѣлямъ, и заорутъ, какъ здѣсь, что-нибудь грубое изъ Misalut, безъ воспоминанія о васъ, безъ сожалѣнія васъ, потому-что имъ нужно и хочется пѣть по этой огромной средневѣковой книгѣ, какъ соловью слѣпо-му, который поетъ и упивается и до міра ему нѣтъ дѣла, ни—до слушателей. Это—вѣра. Да, это тоже вѣра,

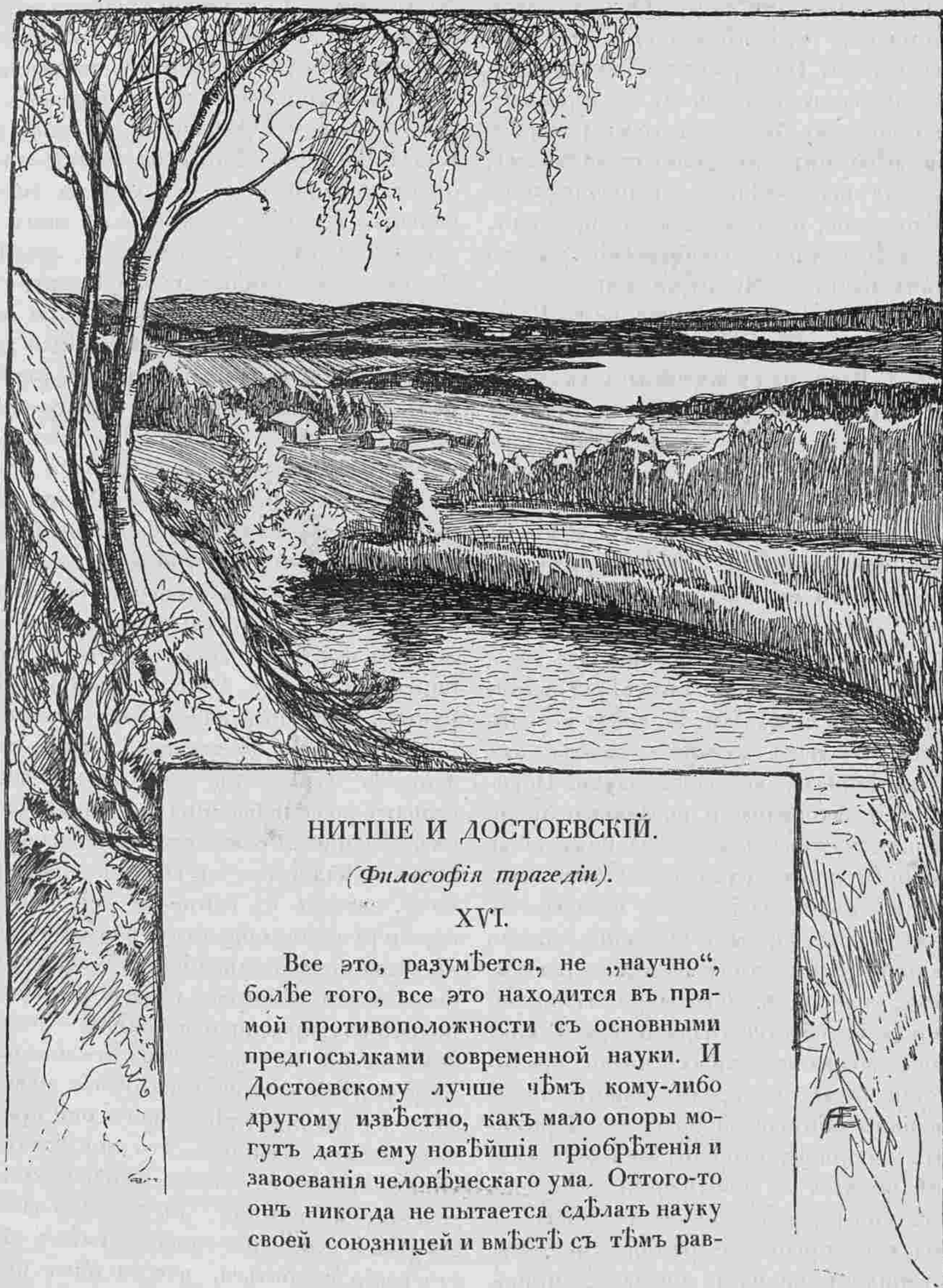
не какъ наша теплящаяся, колеблющаяся, какъ огонь лампы, тихая, прекрасная, слабая—это другая, но тоже вѣра, законовъ которой мы не можемъ раз-

судить по совершенно особеннымъ законамъ своей вѣры.

В. Розановъ.



Александръ Бенуа (A. Benois).



НИТШЕ И ДОСТОЕВСКІЙ.

(Философія трагедіи).

XVI.

Все это, разумеется, не „научно“, болѣе того, все это находится въ прямой противоположности съ основными предпосылками современной науки. И Достоевскому лучше чѣмъ кому-либо другому извѣстно, какъ мало опоры могутъ дать ему новѣйшія пріобрѣтенія и завоеванія человѣческаго ума. Оттого-то онъ никогда не пытается сдѣлать науку своей союзницей и вмѣстѣ съ тѣмъ рав-

но остерегается вступить съ ней въ борьбу ея-же оружіемъ. Онъ отлично понимаетъ, что нѣтъ болѣе залоговъ отъ небесъ. Но торжество науки, несомнѣнность и очевидность ея правоты, не приводятъ Достоевскаго къ покорности. Вѣдь онъ уже давно сказалъ намъ, что для него стѣна не непреоборимое препятствіе, а только отводъ, предлогъ. На всѣ научныя соображенія у него одинъ отвѣтъ (Димитрій Карамазовъ): „какъ я буду подъ землей безъ Бога? Каторжному безъ Бога быть невозможно“¹⁾. Раскольниковъ вызываетъ яростную, непримиримую ненависть въ товарищахъ арестантахъ своей научностью, своей приверженностью несомнѣнной видимости, своимъ невѣріемъ, которое они, по словамъ Достоевскаго, сразу въ немъ почувствовали. „Ты безбожникъ! Ты въ Бога не вѣруешь, кричали они ему. Убить тебя надо!“²⁾. Все это, само собою разумѣется, не логично. Изъ того, что каторжники видятъ въ невѣріи страшнѣйшее изъ преступленій, вовсе не слѣдуетъ, что намъ должно отказаться отъ несомнѣнныхъ выводовъ науки. Погибай всѣ каторжные и подземные люди: не пересматривать-же изъ за нихъ вновь пріобрѣтенныя трудомъ десятковъ поколѣній людей аксіомы, не отказываться-же отъ апріорныхъ сужденій, только всего сто лѣтъ тому назадъ оправданныхъ, наконецъ, благодаря великому генію кенигсбергскаго философа. Такова ясная логика надземныхъ людей, противопоставляемая неопредѣленнымъ стремленіямъ обитателей подполья. Примирить спорящія стороны невозможно. Онѣ борются до послѣдняго истощенія силъ—и à la guérrе, comme à la guérrе,—средства борьбы не разбираются. Каторжниковъ чернятъ, бранятъ, смѣши-

¹⁾ Братья Карамазовы, 700.

²⁾ Преступленіе и наказаніе, 541.

ваютъ съ грязью съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ. Достоевскій пробуетъ примѣнить тѣ-же приемы и къ вольнымъ людямъ. Отчего, на примѣръ, не выставить въ каррикатурномъ, опошленномъ видѣ ученаго? Отчего не высмѣять Клода Бернара? Или не оклеветать и не оплевать журналиста, сотрудника либеральнаго изданія, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣхъ либерально мыслящихъ людей? Достоевскій не остановился предъ этимъ. Чего онъ только не измыслилъ по поводу Ракитина! Самый отчаянный каторжникъ кажется благороднымъ рыцаремъ въ сравненіи съ этимъ будущимъ предводителемъ либераловъ, не брезгающимъ взять на себя за 25 рублей роль сводника. Все, рассказанное о Ракитинѣ, настоящая клевета на либераловъ, и клевета предумышленная. Можно говорить о нихъ, что хотите, но несомнѣнно, что самые лучшіе и честные люди становились въ ихъ ряды. Но ненависть не разбираетъ средствъ. Они въ Бога не вѣрують, убить ихъ надо—вотъ внутренній импульсъ Достоевскаго, вотъ, что движетъ имъ, когда онъ измышляетъ разнаго рода небылицы по поводу своихъ бывшихъ союзниковъ-либераловъ. Пушкинская рѣчь, въ которой, повидимому, звались къ единенію всѣ слои и партіи русскаго общества, на самомъ дѣлѣ была провозглашеніемъ вѣчной борьбы на смерть. „Смирись, гордый человекъ, потрудись, праздный человекъ“—развѣ Достоевскій не зналъ, что эти слова вызовутъ цѣлую бурю негодованія и возмущенія именно у тѣхъ, кого они предназначались замирить. Что они значатъ? Они зовутъ надземныхъ людей въ подземелье, въ каторгу, въ вѣчную тьму. Да развѣ хоть на минуту смѣлъ Достоевскій надѣяться, что за нимъ пойдутъ?! Онъ зналъ, онъ слишкомъ зналъ, что тѣ изъ его слушателей, которые не



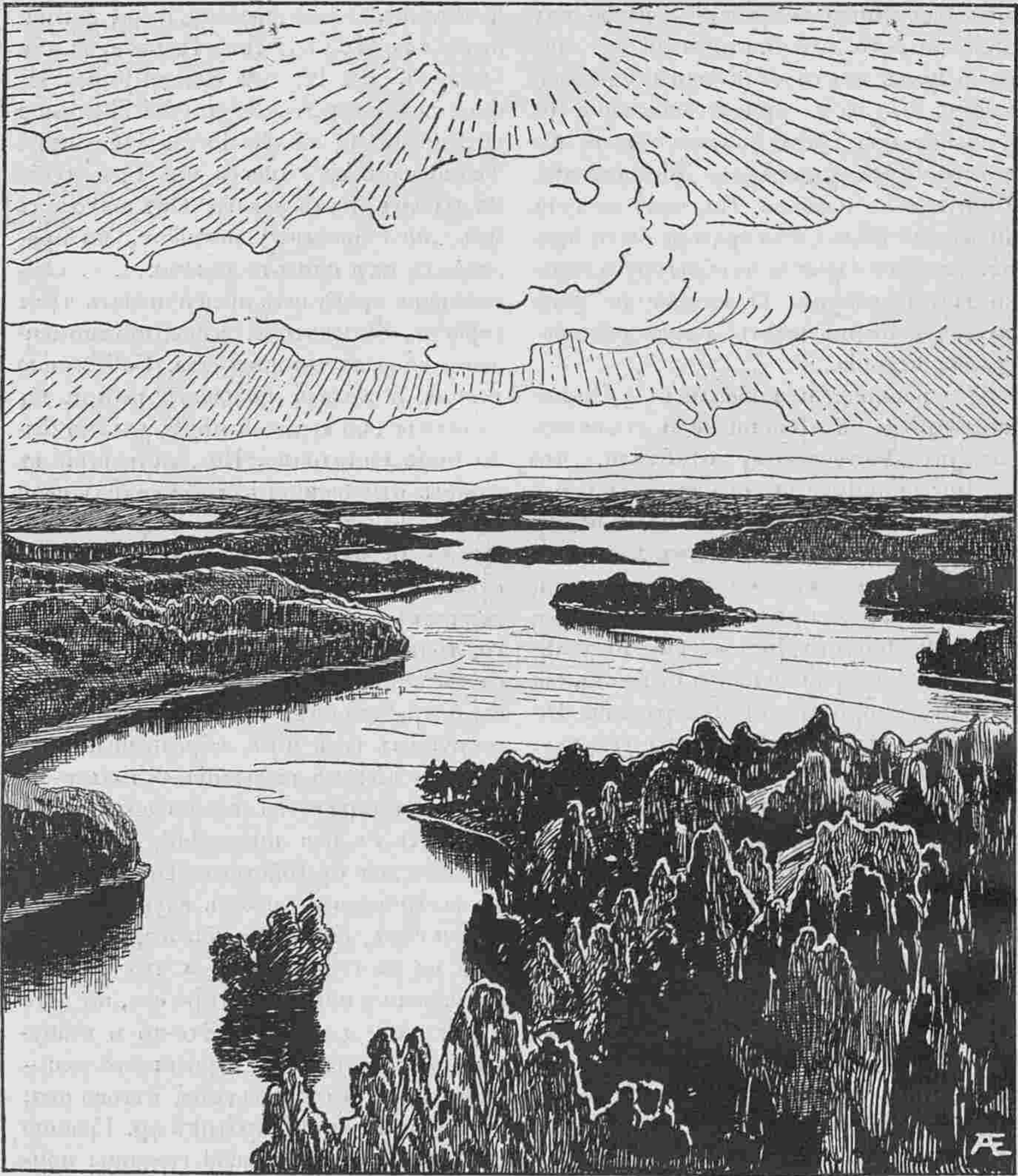
П. Эллэ (P. Helleu).
Pointe-sèche.

пожелаютъ лицемѣрить, не примутъ его призыва. „Мы хотимъ быть счастливы здѣсь, теперь“—вотъ, что думаетъ каждый надземный человѣкъ, — какое ему дѣло до того, что Достоевскій все еще не вышелъ изъ своей каторги! Рассказываютъ, что всѣ, присутствовавшіе на пушкинскомъ празднествѣ, были необычайно тронуты рѣчью Достоевскаго. Многіе даже плакали. Но, чему-же тутъ дивиться? Вѣдь слова оратора были приняты слушателями за литературу и только за литературу. Отчего-же не умилиться и не поплакать? Самая обыкновенная исторія...

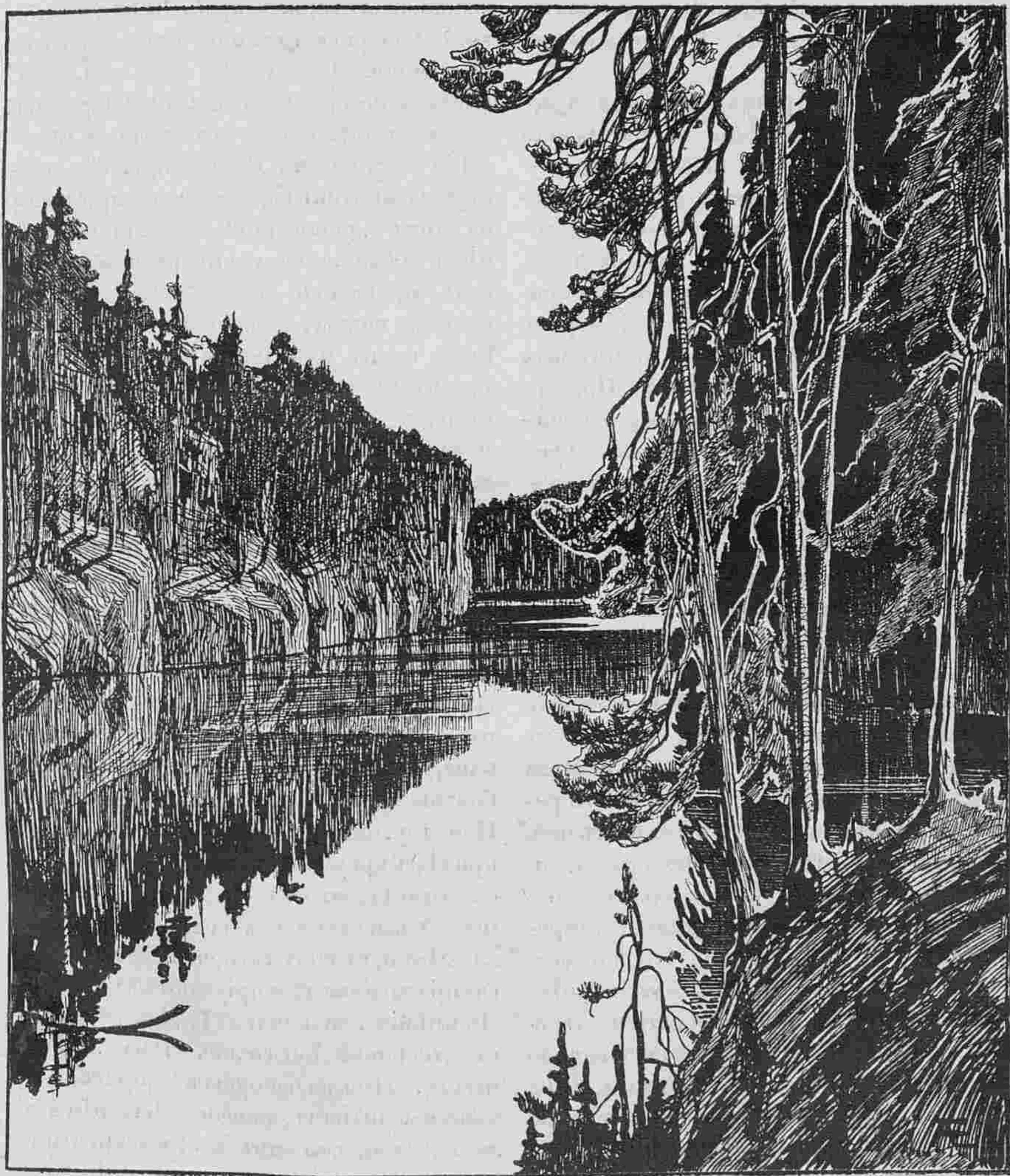
Но нашлись и такіе люди, которые посмотрѣли на дѣло иначе и стали возражать. Достоевскому отвѣтили, что охотно принимаютъ его высокія слова о любви, но это нисколько не мѣшаетъ и не должно мѣшать людямъ заботиться объ устройствѣ земного счастья или, иначе говоря, имѣть „общественные идеалы“. Допусти Достоевскій это, только это одно ограниченіе, и онъ могъ-бы навѣки замирился съ либералами. Но онъ не только не пошелъ на уступку, онъ обрушился на профессора Градовскаго, взявшагося защищать дѣло либераловъ, съ такой безумной, съ такой безудержной яростью, точно Градовскій отнималъ у него самое послѣднее его достояніе. И, главное, вѣдь Градовскій не только не отказывался отъ высокаго ученія о любви къ людямъ, которому Достоевскій посвятилъ въ своемъ дневникѣ писателя, въ своихъ романахъ и пушкинской рѣчи столько пламенныхъ страницъ,—но, наоборотъ, на немъ и только на немъ основывалъ всѣ свои планы общественнаго устройства.

Но именно этого больше всего боялся Достоевскій. У Ренана, въ его предисловіи къ „Исторіи Израиля“, есть любопытная оцѣнка значенія еврейскихъ

пророковъ: „ils sont fanatiques de justice sociale et proclament hautement que si le monde n'est pas juste ou susceptible de le devenir, il vaut mieux qu'il soit détruit: manière de voir très fausse, mais très féconde; car comme toutes les doctrines désespérées, elle produit l'héroïsme et un grand éveil des forces humaines“. Точно такъ-же отнесся пр. Градовскій къ идеямъ Достоевскаго. Онъ находилъ ихъ „по существу“ ложными, но признавалъ ихъ плодотворными, т. е. способными пробудить людей и дать тѣхъ героевъ, безъ которыхъ невозможно движеніе впередъ человѣчества. Собственно говоря, и желать большаго нельзя. Съ „учителя“, по крайней мѣрѣ, должно было быть достаточно. Но Достоевскій въ такомъ отношеніи къ себѣ увидѣлъ свой приговоръ. Ему „плодотворности“ не нужно было. Онъ не хотѣлъ довольствоваться красивой ролью старика кардинала въ „великомъ инквизиторѣ“. Одно-го, только одного искалъ онъ: убѣдиться въ „истинности“ своей идеи. И, если бы потребовалось, онъ готовъ былъ-бы разрушить весь міръ, обречь человѣчество на вѣчныя страданія — только-бы доставить торжество своей идеѣ, только бы снять съ нея подозрѣніе въ ея несоотвѣтствіи съ дѣйствительностью. Хуже всего было то, что въ глубинѣ души онъ и самъ, очевидно, боялся, что правда не на его сторонѣ и что противники, хотя и поверхностнѣй его, но зато ближе къ истинѣ. Это-то и возбуждаетъ въ немъ такую ярость, это-то и лишаетъ его самообладанія, оттого онъ, въ своей полемикѣ противъ пр. Градовскаго, переходитъ всякія границы приличія. Что, если все происходитъ именно такъ, какъ говорятъ ученые и его собственная дѣятельность въ концѣ концовъ, помимо его воли, сыграетъ въ руку либераламъ, окажется плодотвор-



А. Эдельфельтъ (A. Edelfelt).
Иллюстрація къ поэмѣ Г. Рунеберга.



А. Эдельфельтъ (A. Edelfelt).
Иллюстрація къ поэмѣ І. Рунеберга.

ной, а руководившая имъ идея ложной, и чортово добро, рано или поздно, на самомъ дѣлѣ водворится на землѣ, заселенной довольными, радостными, сіяющими счастьемъ, обновленными людьми?

Само собою разумѣется, что чловѣку такихъ возрѣній и настроеній благоразумнѣе всего было-бы не пускаться въ публицистику, гдѣ неизбѣжно сталкиваешься съ практическимъ вопросомъ: что дѣлать? Въ романахъ, въ философскихъ разсужденіяхъ можно, на примѣръ, утверждать, что русскій народъ любитъ страданія. Но какъ примѣнить такое положеніе на практикѣ? Предложить устройство комитета, охраняющаго русскихъ людей отъ счастья?! Очевидно, это не годится. Но, мало того—невозможно даже постоянно выражать свою радость по поводу предстоящихъ чловѣчеству случаевъ понести страданіе. Нельзя торжествовать, когда людей постигаютъ болѣзни, голодъ, нельзя радоваться бѣдности, пьянству. За это вѣдь камнями забрасаютъ. Н. К. Михайловскій передаетъ, что высказанная въ статьяхъ январскаго номера „Отеч. Записокъ“ за 1873 годъ мысль, что „народу послѣ реформы, а отчасти даже въ связи съ ней, грозитъ бѣда быть умственно, нравственно и экономически обобранымъ“—показалась Достоевскому „новымъ откровеніемъ“. Весьма вѣроятно, что Достоевскій именно такъ понялъ или, вѣрнѣе, истолковалъ смыслъ статей „Отечественныхъ Записокъ“. Реформа, на которую мечтатели возлагали столько надеждъ, не только не принесетъ ненавистнаго „счастья“, но грозитъ страшной бѣдой. Дѣло, очевидно, обойдется и безъ джентельмена съ ретроградной фізіономіей, на котораго ссылался подпольный диалектикъ. До хрустальнаго дворца—далеко, если самыя возвышенныя и благо-

родныя начинанія приносятъ вмѣсто богатыхъ плодовъ одни несчастія. Правда, какъ публицистъ, Достоевскій такихъ вещей не говорилъ прямо. Его „жестокость“ не рисковала еще быть столь откровенной. Даже болѣе того, онъ самъ никогда не пропускалъ случая бичевать—и какъ бичевать!—всякаго рода проявленія жестокости. На примѣръ, онъ возставалъ противъ европейскаго прогресса на томъ „основаніи“, что „прольются рѣки крови“, прежде чѣмъ борьба классовъ приведетъ хоть къ чему нибудь путному нашихъ западныхъ сосѣдей. Это былъ одинъ изъ любимѣйшихъ его аргументовъ, который онъ не уставалъ повторять десятки разъ. Но тутъ только можно особенно наглядно убѣдиться, что всѣ argumenta суть argumenta ad homines Достоевскій-ли боялся ужасовъ и крови? Но онъ зналъ, чѣмъ можно подѣйствовать на людей и, когда нужно было, рисовалъ страшныя картины. Почти одновременно онъ и укорялъ европейцевъ за ихъ пока все еще относительно безкровную борьбу и заклиналъ русскихъ итти войной на турокъ, хотя, конечно, одна, самая скромная, война требуетъ больше крови, чѣмъ десятокъ революцій. Или другой, еще болѣе поразительный примѣръ аргументаціи. Достоевскій разсказываетъ, что кто-то изъ его „знакомыхъ“ высказался за сохраненіе розогъ для дѣтей, въ виду того, что тѣлесныя наказанія закаляютъ и приучаютъ къ борьбѣ. До мнѣнія „знакомаго“ (у Достоевскаго, въ „дневникѣ писателя“, тѣмъ „знакомыхъ“, высказывающихъ „оригинальныя“ мысли) намъ, конечно, дѣла нѣтъ но любопытно, что самъ Достоевскій этимъ мнѣніемъ заинтересовался и общается на досугѣ подумать о немъ. А между тѣмъ тотъ-же Достоевскій, такъ охотно надбляющій людей, даже дѣтей, страданіями, вдругъ впадаетъ въ сантимен-

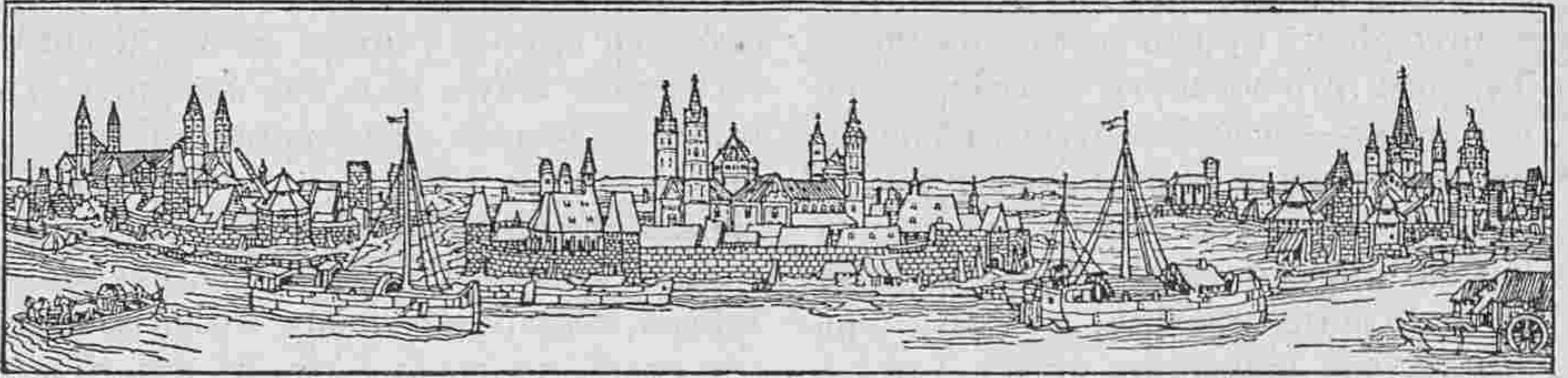
тальность и чувствительность, когда заходитъ рѣчь о судьбѣ мужа пушкинской Татьяны. Его покинуть, его сдѣлать несчастнымъ,—если-бы Татьяна рѣшилась на это, померкли-бы навсегда всѣ идеалы! Ну-съ, а вѣдь даже и не межъ сторонниками „жестокости“, я думаю, найдется не одинъ человѣкъ, который признаетъ, что приличная порція „страданій“ была-бы совсѣмъ не бесполезна этому господину, такъ высоко поднимавшему и носъ, и плечи. Во всякомъ случаѣ не менѣе полезна, чѣмъ русскимъ дѣтямъ, которыя, какъ извѣстно, и внѣ школы не забываются „страданіями“. Такихъ примѣровъ у Достоевскаго можно найти очень много. На одной страницѣ онъ требуетъ отъ насъ самоотреченія во имя того, чтобъ избавлять отъ страданій ближнихъ, а на другой, почти сосѣдней, онъ воспѣваетъ эти-же страданія...

Изъ этого слѣдуетъ, что подземному

человѣку *нелегко* сказать, когда онъ выступаетъ въ роли учителя людей. Чтобъ выдержать такую роль, ему необходимо навсегда затануть свою истину и обманывать людей, какъ дѣлалъ старый кардиналъ. Если-же больше молчать нельзя, если-же наступило, наконецъ, время рассказать всенародно тайну великаго инквизитора, то стало быть людямъ нужно искать себѣ жрецовъ уже не среди учителей, какъ въ старину, а среди учениковъ, всегда охотно и *bona fide* исполняющихъ всякаго рода торжественныя обязанности. У учителей-же отнято послѣднее ихъ утѣшеніе: они уже не признаются болѣе народными благодѣтелями и исцѣлителями. Имъ сказали, имъ скажутъ: врачу исцѣлися самъ. Иначе говоря: найди свою задачу, свое *дѣло* не во врачеваніи нашихъ недуговъ, а въ собственномъ здоровьи. Заботься о себѣ—объ одномъ себѣ.



Г. Фоглеръ (H. Vogeler).



I. Замплеръ (I. Sattler).

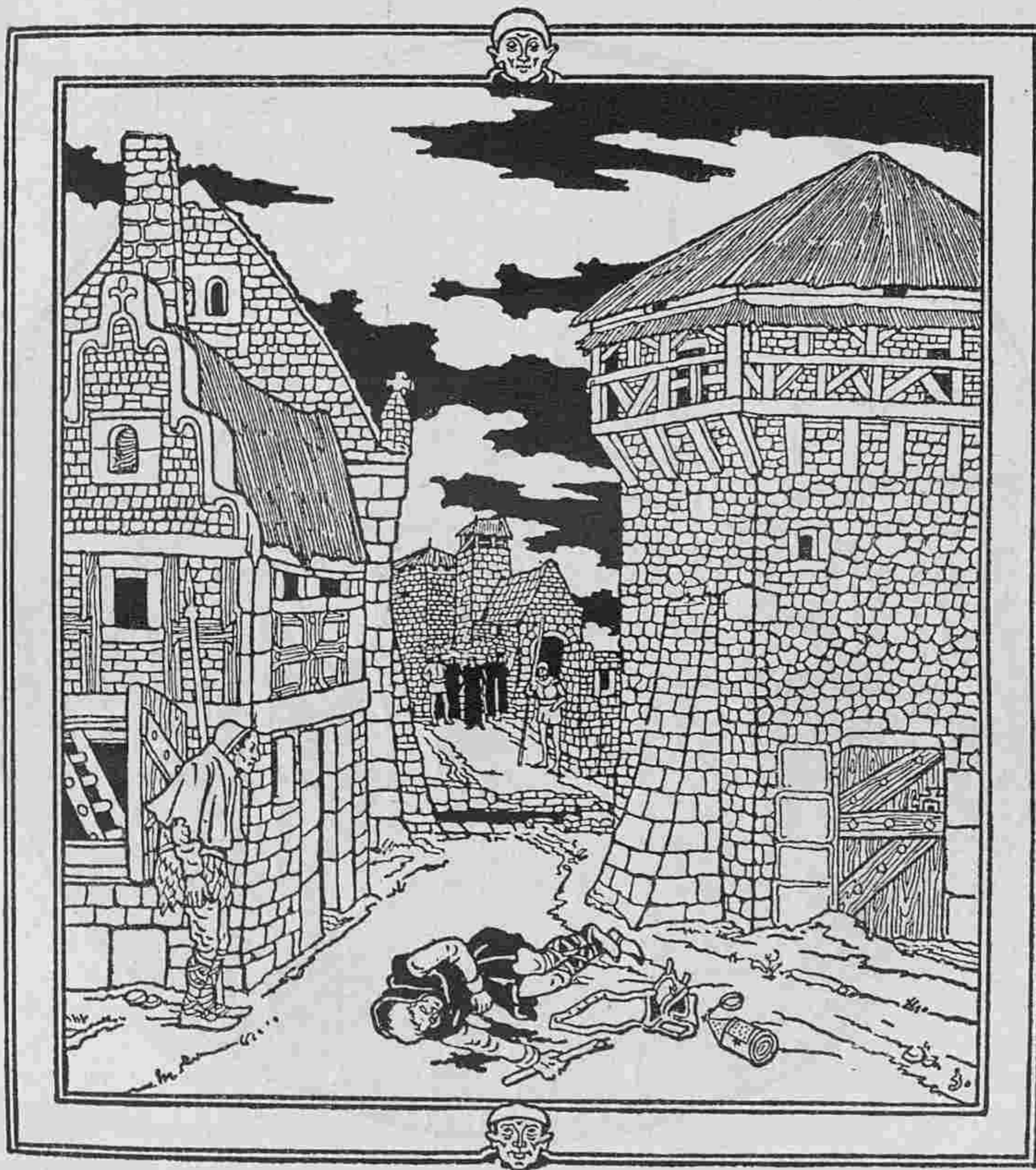
XVII.

На первый взглядъ задача упрощается. Но станьте на минуту на точку зрѣнія Достоевскаго, подземнаго человѣка, великаго инквизитора, и вы поймете, какая пытка скрывается въ этомъ упрощеніи. Подъ землей врачевать себя, заботиться о себѣ, думать о себѣ—когда, очевидно, никакое врачеваніе уже невозможно, когда ничего выдумать нельзя, когда все кончено! Но поразительно: когда человѣку грозитъ неминуемая гибель, когда предъ нимъ раскрывается пропасть, когда уходитъ послѣдняя надежда, съ него внезапно снимаются всѣ его тягостныя обязанности въ отношеніи къ людямъ, человѣчеству, къ будущему, цивилизаціи, прогрессу и т. д., и взамѣнъ всего этого предъявляется упрощенный вопросъ объ его одинокой, ничтожной, незамѣтной личности. Всѣ герои трагедіи — „эгоисты“. Каждый изъ нихъ по поводу своего несчастья зоветъ къ отвѣту все мірозданіе. Карамазовъ (Иванъ, конечно) прямо заявляетъ: „я не принимаю міра“. Что значать эти слова? Зачѣмъ Карамазовъ, вмѣсто того чтобы прятаться, какъ дѣлаютъ всѣ, отъ страшныхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ—прямо идетъ, лѣзетъ на нихъ, точно медвѣдь на рогатину? Вѣдь не по медвѣжьей же глупости! О, какъ хорошо знаетъ онъ,

что такое неразрѣшимые вопросы и каково человѣку биться уже подрѣзанными крыльями о стѣны вѣчности! И тѣмъ не менѣе онъ не сдастся. Никакія *Ding an sich*, воля, *deus sive natura*—не соблазняютъ его къ примиренію. Ко всѣмъ философскимъ построеніямъ этотъ забытый добромъ человѣкъ относится съ нескрываемымъ презрѣніемъ и отвращеніемъ: „жажду жизни, говоритъ Карамазовъ, иные сопляки-моралисты называютъ подлою“¹⁾... У Достоевскаго ни одинъ изъ его допрашивающихъ судьбу героевъ не кончаетъ самоубійствомъ, не считая Кирилова, который если и убиваетъ себя, то не затѣмъ, чтобъ отдѣлаться отъ жизни, а чтобъ испытать свою силу. Въ этомъ отношеніи всѣ они раздѣляютъ точку зрѣнія старика Карамазова: они забвенія не ищутъ, какъ бы трудно имъ ни давалась жизнь. Любопытной иллюстраціей этой „точки зрѣнія“ служатъ юношескія мечтанія Ивана Карамазова, припомнившіяся ему въ бесѣдѣ съ чортомъ. Какой-то грѣшникъ былъ осужденъ пройти квадрилонъ километровъ, прежде чѣмъ ему откроются райскія двери. Грѣшникъ заупорствовалъ. „Не пойду“ говоритъ. Улегся и ни съ мѣста. Такъ пролежалъ онъ тысячу лѣтъ. Потомъ всталъ и пошелъ.

¹⁾ Братья Карамазовы, 272.

Шель билліонъ лѣтъ. „И только что ему отворили рай... не пробывъ еще и двухъ секундъ, воскликнулъ, что за эти райскаго блаженства, для котораго нѣтъ на человѣческомъ языкѣ словъ, суть лишь выраженіе той жажды жизни, о



I. Замтлеръ (I. Sattler).

Иллюстрація къ „Исторіи прирейнскихъ городовъ“ Бооса.

двѣ секунды не только квадриліонъ, но даже квадриліонъ квадриліоновъ пройти можно и даже возвысить въ квадриліонную степень.“ О такихъ-то вещахъ размышлялъ Достоевскій. Эти головокружительные квадриліоны пройденныхъ километровъ, эти билліоны лѣтъ вынесенной безсмыслицы ради двухъ секундъ

которой здѣсь идетъ рѣчь. Иванъ Карамазовъ, какъ и отецъ его, эгоистъ до мозга костей. Онъ не то, что не можетъ, онъ не хочетъ пытаться какъ нибудь растворить свою личность въ высшей идеѣ, слиться съ „первоединымъ“, природой и т. п., какъ рекомендуютъ философы. Хотя онъ и получилъ очень со-

временное образованіе, но онъ не боится предъ лицомъ всей философской науки предъявить свои требованія. Не боится

тотъ „мыслилъ“, что хотъ онъ и пожилъ достаточно, но все-же этой жизни мало. Онъ хотеть еще и себѣ безсмертія.



I. Замтлеръ (I. Sattler).

Иллюстрація къ „Исторіи прирейнскихъ городовъ“ Бооса.

даже, что его смѣшаютъ (и за одно уже отвергнутъ) съ его отцомъ. Прямо самъ и говоритъ: „Федоръ Павловичъ, папенька, былъ поросенокъ, но мыслилъ правильно“¹⁾. А самъ Федоръ Павловичъ, поросенокъ-то, отлично видѣвшій и знавшій, какъ о немъ думаютъ люди,

Вотъ разговоръ его съ дѣтьми:

„Иванъ, говори, есть Богъ или нѣтъ...“

— Нѣтъ, нѣту Бога.

— Алешка, есть Богъ?

— Есть Богъ.

— Иванъ, а безсмертіе есть, ну тамъ какое нибудь, ну, хотъ маленькое, малюсенькое?

— Нѣтъ и безсмертія.

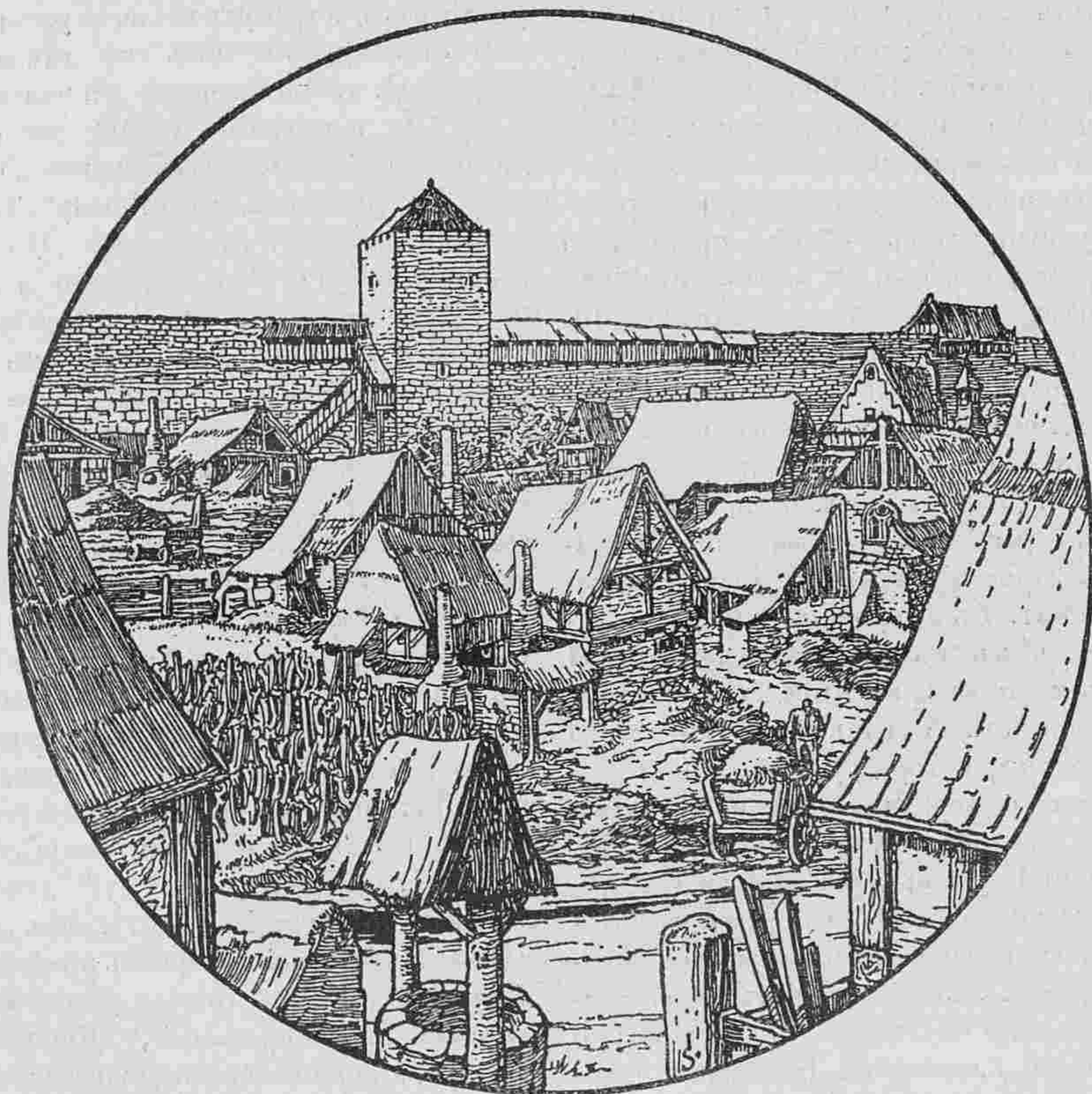
¹⁾ Братья Карамазовы, 702.

— Никакого?

— Никакого.

— То - есть совершеннѣйшій нуль Карамазова Достоевскій надбляетъ спо-

Какъ видите, яблоко не далеко упало отъ дерева. И Федора Павловича



1. Замтлеръ (I. Sattler).

Иллюстрація къ „Исторіи прирейнскихъ городовъ“ Бооса.

или нѣчто? Можетъ быть нѣчто какое есть? Все-же вѣдь не ничто.

— Совершенный нуль.

— Алешка есть безсмертіе?

— Есть.

— И Богъ, и безсмертіе?

— И Богъ, и безсмертіе.

— Гм: Вѣроятно, что правъ Иванъ“...

собностью искать высшую идею“. Вѣдь разговоръ, согласитесь, характернѣйшій. „Вѣроятно, что правъ Иванъ“, это только объективное заключеніе, которое всегда навязывалось Достоевскому и котораго онъ такъ боялся. Но здѣсь важно и то, что Достоевскій нашелъ нужнымъ отличить Федора Павловича. Чи-

тателю, можетъ быть, кажется, что, если и есть безсмертіе, то во всякомъ случаѣ не для такой погани какъ Ѳедоръ Павловичъ и что навѣрно найдется какой нибудь такой законъ, который положитъ конецъ этому отвратительному существованію. Но Достоевскій о взглядахъ читателя мало заботится. Ракитина онъ держитъ за версту отъ своей высшей идеи, а старика Карамазова подпускаетъ къ ней,—принимаетъ его, хоть отчасти, въ почетное общество каторжниковъ. Соотвѣтственно этому все безобразное, отвратительное, трудное, мучительное, словомъ, все проблематическое въ жизни находитъ себѣ страстного и талантливѣйшаго выразителя въ Достоевскомъ. Онъ, словно нарочно, растаптываетъ на нашихъ глазахъ дарованіе, красоту, молодость, невинность. Въ его романахъ больше ужасовъ, чѣмъ въ дѣйствительности. И какъ мастерски, какъ правдиво эти ужасы описаны! У насъ нѣтъ ни одного художника, который умѣлъ-бы такъ рассказать о горечи обиды и униженія, какъ рассказываетъ Достоевскій. Въ исторіи Грушеньки и Настасьи Филипповны ничто такъ не поражаетъ читателя, какъ вынесенный этими женщинами позоръ. „...Пріѣдетъ вотъ этотъ, рассказываетъ Настасья Филипповна о Тоцкомъ, ...опозорить, разобидить, распалить, развратить, уѣдетъ—такъ тысячу разъ въ прудъ хотѣла кинуться“¹⁾... А сколько вынесла Грушенька, вспоминая свою обиду. „Вотъ теперь, говоритъ она, пріѣхалъ этотъ обидчикъ мой, сижу теперь и жду вѣсти. А знаешь, чѣмъ мнѣ былъ этотъ обидчикъ? Пять лѣтъ тому назадъ завелъ меня сюда Кузьма,—такъ я сижу, бывало, отъ людей хоронюсь, чтобъ меня не видали и не слышали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю,

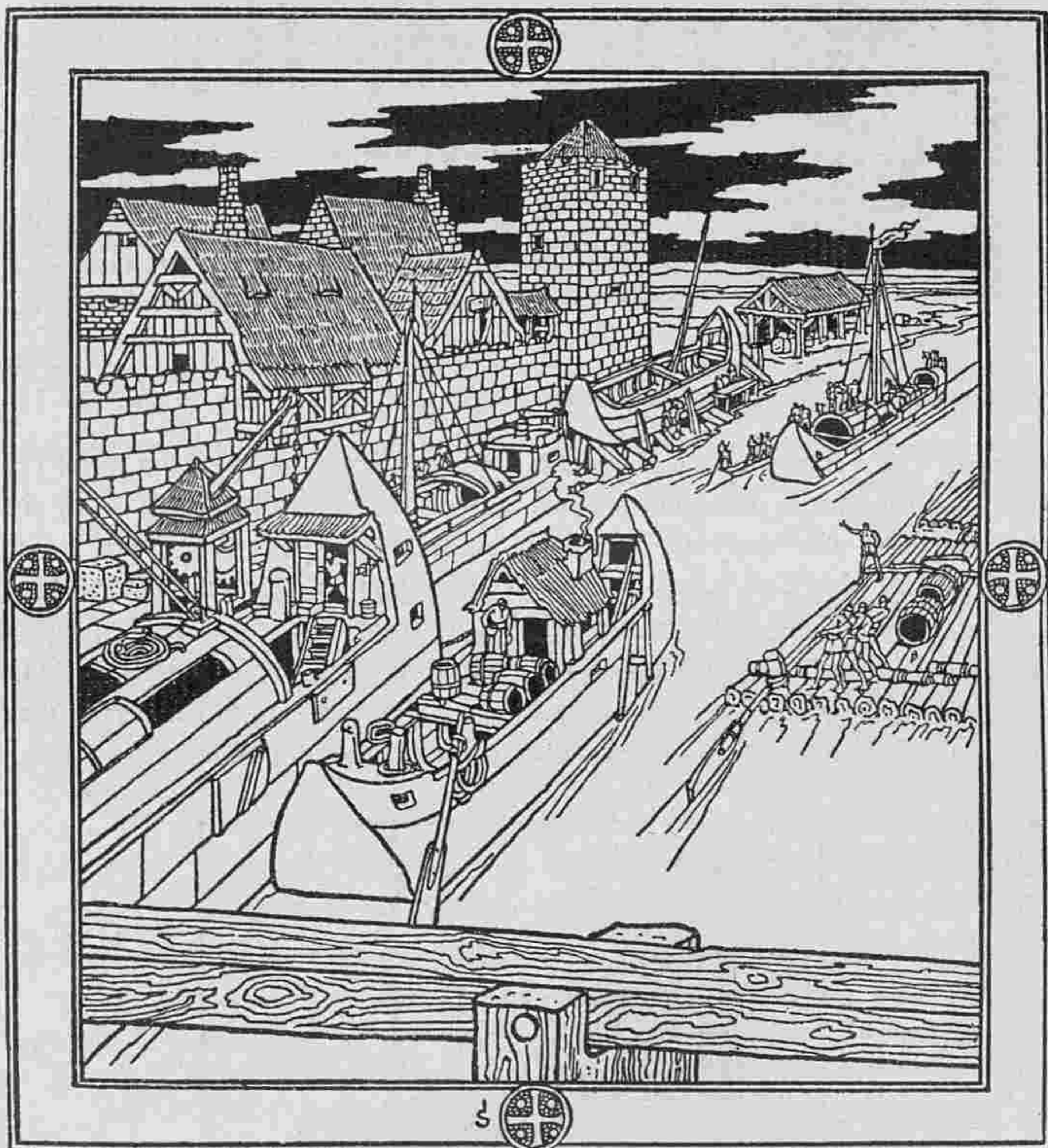
¹⁾ Идіотъ, 184.

ночей на пролетъ не сплю — думаю: и ужъ гдѣ онъ теперь мой обидчикъ? Сѣдется, должно быть съ другой надо мной, и ужъ я-жъ его, думаю, только-бы увидѣть его, встрѣтить когда; то ужъ я-жъ ему отплачу, ужъ я-жъ ему отплачу! Ночью, въ темнотѣ, рыдаю въ подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю „Ужъ я-жъ ему, ужъ я-жъ ему отплачу“! Такъ бывало и закричу въ темнотѣ. Да какъ вспомню вдругъ, что ничего-то я ему не сдѣлаю, а онъ-то надо мной сѣдется теперь, а можетъ быть и совсѣмъ забылъ и не помнитъ, такъ кинусь съ постели на полъ, зальюсь безсильною слезой и трясусь—трясусь до разсвѣта. Потру встану злѣе собаки, рада весь свѣтъ проглотить. Потомъ, что-жъ ты думаешь: стала я капиталъ копить, безъ жалости сдѣлалась, растолстѣла — помнѣла, ты думаешь, а? Такъ вотъ нѣтъ же, никто того не видитъ и не знаетъ во всей вселенной, а какъ сойдетъ мракъ ночной, все такъ-же, какъ и дѣвчонкой, пять лѣтъ тому назадъ, лежу иной разъ, скрежещу зубами и всю ночь плачу: „ужъ я-жъ ему, да ужъ я-жъ ему!“ думаю. Слышалъ ты все это?“¹⁾ Вотъ, какъ „рождаются“ убѣжденія у героевъ и героинь Достоевскаго! Я не говорю уже о Раскольниковѣ, Карамазовѣ, Кириловѣ Шатовѣ... Всѣ они испытали неслыханныя униженія. Какъ художественно выталкиваютъ Долгорукаго („Подростокъ“) изъ игорнаго дома, какъ оплевываютъ подпольнаго человѣка! Достоевскій собиралъ всѣ, имѣвшіяся въ его распоряженія средства, чтобъ вновь съ невѣдомой силой ударить по сердцу читателя, но на этотъ разъ уже не затѣмъ, чтобы читатель сталъ добрѣе и великодушно согласился по воскресеньямъ и въ празд-

¹⁾ Братья Карамазовы, 420.

ничные дни называть послѣдняго человека своимъ братомъ. Теперь задача другая. Теперь нужно вырвать отъ нау-

даже у самаго завятаго и убѣжденнаго позитивиста, у самаго „хорошаго“ человека хватило-бы совѣсти вспоминать о



1. Замтлеръ (I. Sattler).

Иллюстрація къ „Исторіи прирейнскихъ городовъ“ Бооса.

ки, отъ „эфики“, какъ выражаются Ракитинъ и Димитрій Карамазовъ, признаніе, что благополучное устройство большинства, будущее счастье человечества, прогрессъ идеи, и т. д. словомъ, все то, чѣмъ до сихъ поръ оправдывались гибель и позоръ отдѣльныхъ людей — не можетъ разрѣшить главнаго вопроса жизни. И точно—въ виду изображенной Достоевскимъ дѣйствительности, едва-ли

своихъ идеалахъ. Когда столь оклеветанный всѣми „эгоизмъ“ приводитъ къ трагедіи, когда борьба одинокаго человеческого существа превращается въ непрерывную пытку, ни у кого не хватитъ безстыдства говорить высокими словами. Умолкаютъ даже и вѣрующія души... Но тутъ мы сталкиваемся уже не съ ученіемъ позитивистовъ или идеалистовъ, не съ философскими теоріями,



*I. Замтлеръ (I. Sattler).
Иллюстрація къ „Анабаптистамъ“.*

не съ учеными системами. Людей можно образумить, философовъ и моралистовъ можно сдержать въ ихъ погонѣ за синтезомъ и объединеніемъ въ систему указаніемъ на судьбу трагическихъ людей. Но, что подѣлаешь съ жизнью? Какъ заставить ее считаться съ Раскольниковыми и Карамазовыми? У нея вѣдь ни стыда,

ни совѣсти нѣтъ. Она равнодушно глядитъ на человѣческую комедію и человѣческую трагедію. Этотъ вопросъ переводитъ насъ отъ философіи Достоевскаго къ философіи его продолжателя Нитше, впервые открыто выставившей на своемъ знамени страшныя слова: апоѳеозъ жестокости.



*I. Замтлеръ (I. Sattler).
Изъ серіи рисунковъ „Мой домикъ“.*



1. Заммлеръ (I. Sattler).

XVIII.

Мы прослѣдили исторію перерожденія убѣжденій Достоевскаго. Въ основныхъ чертахъ она сводится къ попыткѣ реабилитаціи правъ подпольнаго человека. Если мы теперь обратимся къ сочиненіямъ Нитше, то, несмотря на то, что съ внѣшней стороны они такъ мало похожи на то, что писалъ Достоевскій, мы прежде всего найдемъ въ нихъ несомнѣнные и ясно выраженные слѣды тѣхъ настроеній и переживаній, которыя насъ поразили въ творествѣ этого послѣдняго. И Нитше былъ въ молодости романтикомъ, заоблачнымъ мечтателемъ. Объ этомъ говоритъ намъ не только первое его произведеніе—„Рожденіе трагедіи“, но даже и статьи „Шопенгауеръ, какъ воспитатель и „Вагнеръ въ Байретѣ“, непосредственно примыкающія къ „Menschliches, Allzumenschliches“, сочиненію, въ которомъ онъ въ первый разъ въ жизни, еще робко и осторожно, позволяетъ себѣ взглянуть на міръ и людей собственными глазами. За этотъ опытъ ему пришлось расплатиться дорогой цѣной. Большинство его друзей, въ томъ числѣ и самъ Вагнеръ, отвернулись отъ него. Никто изъ нихъ, какъ это всегда бываетъ, не заинтересовался причиной внезапнаго перелома, происшедшаго въ душѣ Нитше. Друзья лишь подняли крикъ, что онъ „измѣнилъ“ прежнимъ убѣжденіямъ и нашли, что этого вполне достаточно, чтобъ осу-

дить человека. Всѣ знали, что Нитше тяжело и мучительно боленъ. Но и въ этомъ не видѣли смягчающихъ вину обстоятельствъ. Вагнеръ, еще недавно превозносившій литературную дѣятельность Нитше, по прочтеніи „Menschliches, Allzumenschliches“ такъ вознегодовалъ, что не счелъ даже нужнымъ попытаться усовершенствовать своего молодого друга и ученика. Онъ просто замолчалъ и уже до самой своей смерти не возобновлялъ сношеній съ Нитше. Такъ что, въ самую трудную минуту своей жизни, когда человеку, по общему мнѣнію, наиболѣе всего нуждается въ нравственной поддержкѣ, Нитше оказался совершенно одинокимъ. Правда, общее мнѣніе въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, подъ видомъ несомнѣнной истины преподноситъ намъ несомнѣнное заблужденіе. Въ дѣйствительно трудныя минуты жизни поддержка друзей обыкновенно ничего не даетъ и не можетъ дать человеку и лишь тяготитъ его назойливымъ требованіемъ откровенности и признаній. Въ такіе моменты лучше всего оставаться одному. Хватить силъ вынести свое несчастье — выйдешь побѣдителемъ. Не хватитъ—все равно, никакой Вагнеръ не поможетъ. Я говорю, конечно, не объ обыкновенныхъ житейскихъ трудностяхъ, при которыхъ всегда два ума лучше, чѣмъ одинъ, а о тѣхъ случаяхъ, когда, по выраженію Достоевскаго, земля трещитъ подъ ногами. А вѣдь въ жизни они бываютъ гораздо

чаще, чѣмъ въ романахъ. Тутъ друзья ничѣмъ не могутъ помочь. Но друзья Нитше и не думали помогать ему. Они стали его врагами и, не желая дать себѣ трудъ понять человѣка, мстили ему презрѣніемъ. По словамъ же Нитше, на этотъ разъ особенно заслуживающимъ довѣрія, презрѣніе другихъ гораздо труднѣе вынести, чѣмъ собственное презрѣніе къ себѣ. ¹⁾ И точно, какъ-бы человѣкъ ни презиралъ себя, въ глубинѣ души его всегда живетъ еще надежда, что онъ все таки отыщетъ выходъ изъ своего труднаго положенія. Приговоръ-же людей безпощаденъ, неумолимъ, окончателенъ. Его между дѣломъ бросаютъ осужденному съ тѣмъ, чтобъ никогда уже вновь не пересмотрѣть его...

По собственному признанію Нитше, „Шопенгауеръ, какъ воспитатель“ и „Вагнеръ въ Байретѣ“ были имъ написаны, когда онъ уже не вѣрилъ ни въ философію Шопенгауера, ни въ искусство Вагнера. А между тѣмъ обѣ эти статьи—сплошной панегирикъ имъ. Для чего-же понадобилось такое притворство? Нитше объясняетъ, что, прощаясь со своими учителями, онъ хотѣлъ выразить имъ свою признательность и благодарность за прошлое. Я полагаю, что читатель найдетъ такой способъ выраженія благодарности незаслуживающимъ одобренія: нужно умѣть жертвовать ради истины своими друзьями и учителями. Вѣроятно, и самъ Нитше держался такого-же мнѣнія, если-же онъ все-таки выступаетъ открытымъ сторонникомъ Шопенгауера и Вагнера, хотя знаетъ, что пришло время проститься съ ними, то на это у него были иныя, можетъ быть менѣе красивыя, но несомнѣнно болѣе глубокія и серьезныя причины. Очевидно, дѣло было не въ учителяхъ,

¹⁾ Нитше, т. II, стр. 376.

а въ ученикѣ: Нитше-бы, пожалуй, менѣе церемонно распротился съ руководителями своей юности, если-бы самъ твердо зналъ, куда ему идти отъ нихъ. Мы видимъ, что признательность и благодарность не помѣшали ему впоследствии написать рѣзкую статью о Вагнерѣ, не помѣшали также называть Шопенгауера „старымъ фальшиво-монетчикомъ.“ Но это уже было подъ конецъ его литературной дѣятельности, въ 1886—88 году. Въ 1875 году онъ еще не смѣлъ думать, что нарождающіяся въ его душѣ мысли и настроенія, еще неопредѣленные и хаотическія, возможно будетъ противопоставить стройной и законченной, уже нашедшей себѣ признаніе философіи Шопенгауера и прогрессивнейшей на всю Европу славѣ Вагнера. Ему казалось тогда, что самое ужасное, что можетъ случиться съ человѣкомъ—это разрывъ съ учителями, измѣна прежней вѣрѣ и убѣжденіямъ. Онъ думалъ, что убѣжденія однажды на всю жизнь получаютъ человѣкомъ изъ рукъ достойныхъ учителей. Хотя онъ и много читалъ, но ему и въ голову не пришло, что такія полученныя готовыми отъ другихъ людей убѣжденія менѣе цѣнны, чѣмъ собственный, выработанный своими испытаніями, своими страданіями взглядъ на жизнь. То-есть, если хотите, онъ зналъ и это. Даже самъ высказывался въ этомъ смыслѣ, ибо въ книгахъ, которыя онъ читалъ (хотя-бы у Шопенгауера), объ этомъ не разъ и подробно говорится. Но, когда наступилъ „опытъ“, когда пришла неизвѣстность, Нитше, какъ и всѣ люди въ его положеніи, не догадался, что это—то, о чемъ говорится въ книгахъ. Онъ лишь съ ужасомъ почувствовалъ, что въ душѣ его зашевелилось нѣчто неслыханно безобразное и ужасное. Въ своихъ мукахъ, въ своей безнадежности онъ не узналъ про-



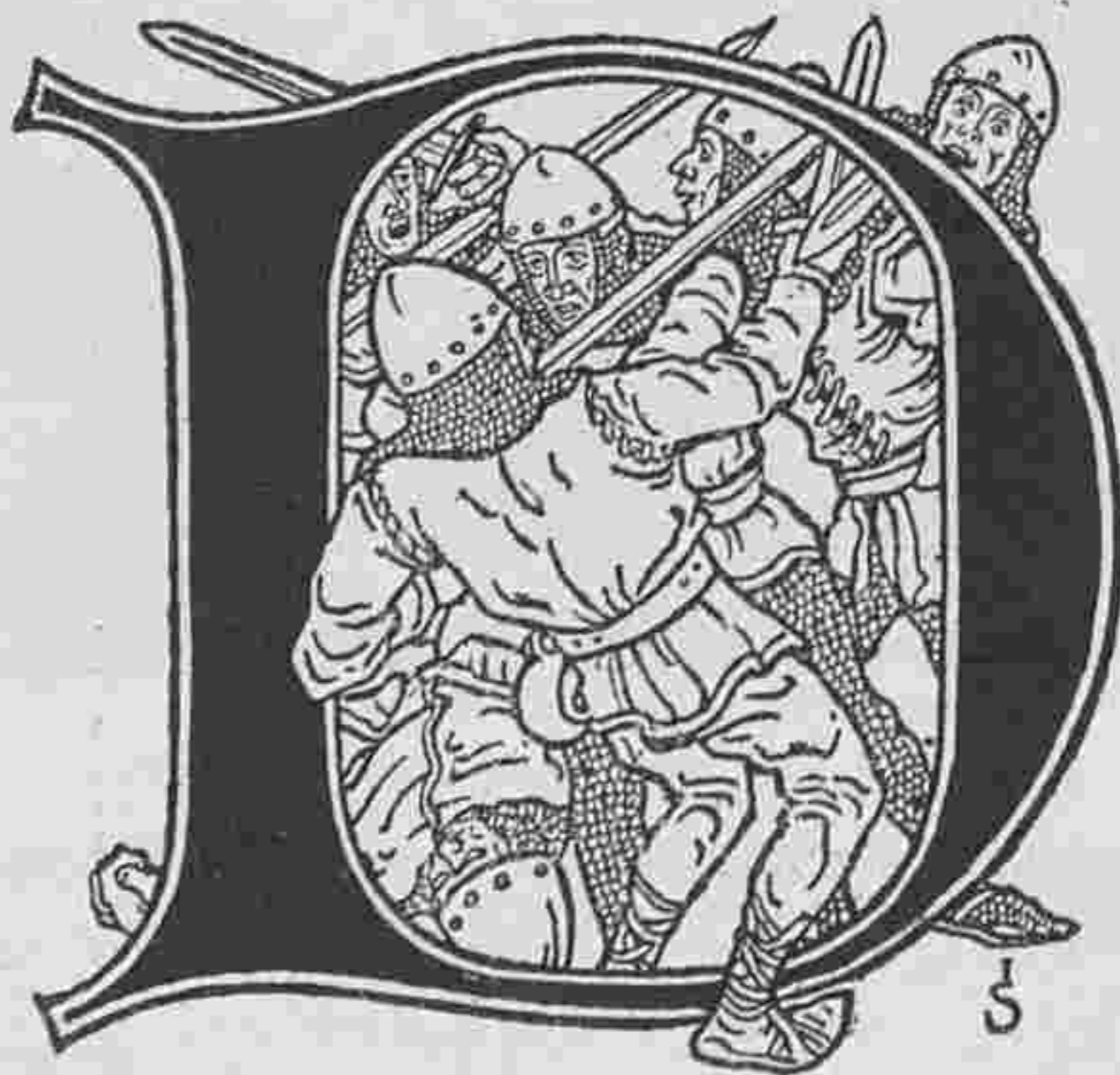
И. Замтлеръ (I. Sattler).
Иллюстрація къ „Анабаптистамъ“.
Ужинъ на „Zionsberg“.



I. Заммлеръ (I. Sattler).

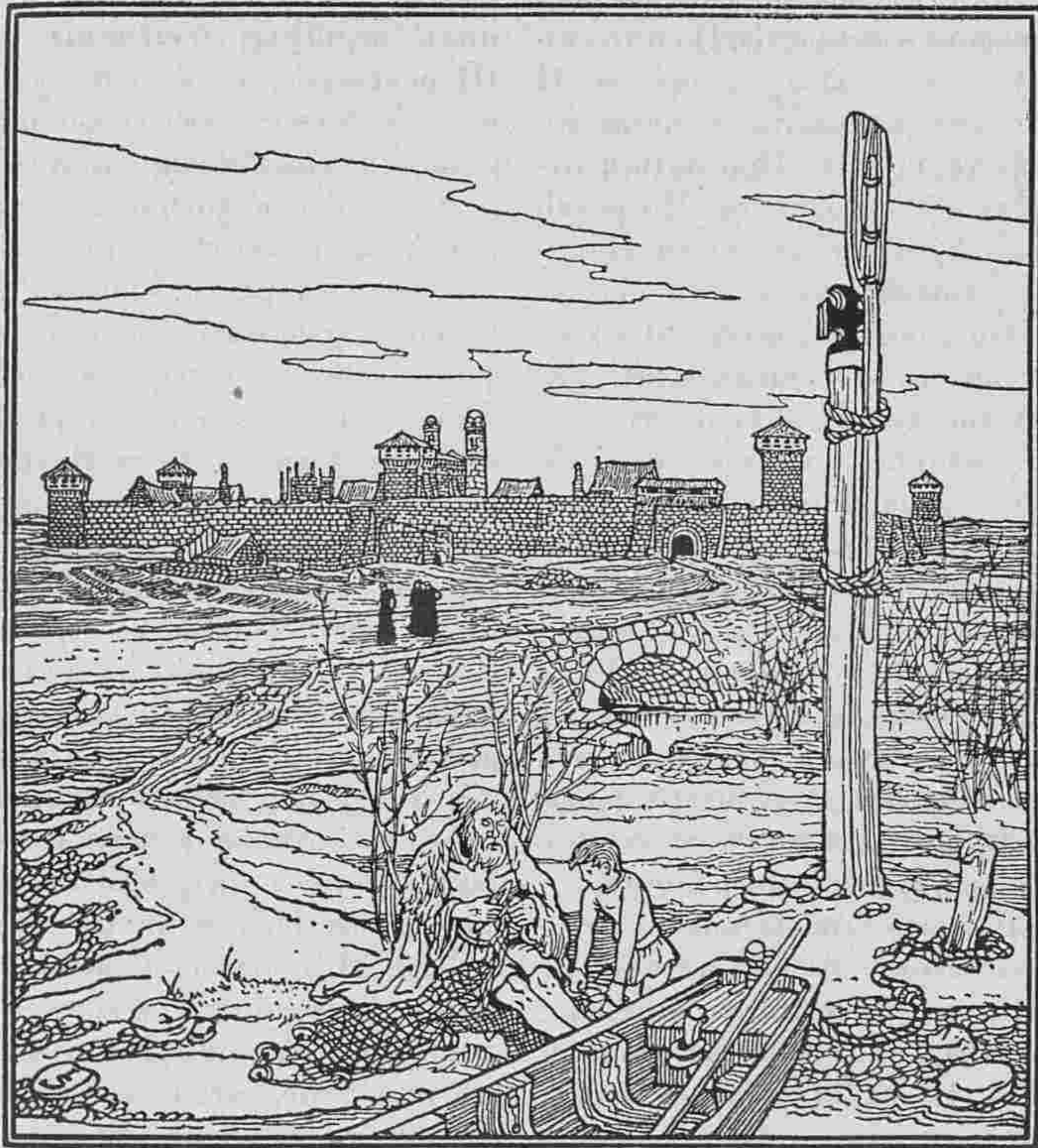
славленнаго „страданія“, которое онъ вслѣдъ за Шопенгауеромъ благословлялъ и призывалъ въ своемъ первомъ произведеніи—„рожденіи трагедіи“. Онъ такъ мало казался себѣ похожимъ на героя, на одного изъ многихъ интересныхъ грѣшниковъ, въ родѣ Тангейзера, такъ красиво позировавшихъ въ операхъ Вагнера. Въ его положеніи не было и слѣда трагической красоты, которой онъ привыкъ любоваться въ произведеніяхъ древнихъ писателей. Онъ не похитилъ съ небесъ для блага человѣчества огня. Онъ не разгадалъ, какъ Эдипъ, загадки Сфинкса. Онъ даже не былъ въ гротѣ Венеры. Наоборотъ, когда онъ оглядывался на свое прошлое, оно представлялось ему непрерывнымъ рядомъ позорнѣйшихъ униженій. Вотъ, въ какомъ свѣтѣ рисуется ему его служеніе искусству, т. е. исторія его отношеній къ Вагнеру: „въ одной партіи, говоритъ онъ въ афоризмѣ, называющемся „мученикъ противъ воли“, былъ человѣкъ, слишкомъ робкій и трусливый, чтобы противорѣчить своимъ товарищамъ: имъ пользовались для всевозможныхъ цѣлей, отъ него добивались чего угодно, такъ какъ онъ больше, чѣмъ

смерти, боялся дурного мнѣнія своихъ единомышленниковъ; это была жалкая и слабая душа. Товарищи понимали его и, пользуясь указанными его свойствами, сдѣлали изъ него героя, а подъ конецъ даже и мученика. Хотя слабый человѣкъ про себя всегда говорилъ „нѣтъ“, но вслухъ онъ произносилъ „да“, — даже на эшафотѣ, когда умиралъ за убѣжденія своей партіи: подлѣ него стоялъ одинъ изъ его старыхъ товарищей, который такъ тираннизировалъ его взглядомъ и словомъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ достойно встрѣтилъ смерть и съ тѣхъ поръ считается мученикомъ и великимъ характеромъ“¹⁾. Если въ этихъ словахъ резюмируется „прошлое“ Нитше, то можно-ли повѣрить, что при прощаніи съ нимъ человѣкъ испытывалъ чувство благодарности и признательности? Не вѣроятнѣе-ли, что статьи „Вагнеръ въ Байретѣ“ и „Шопенгауеръ, какъ воспитатель“ были написаны лишь потому, что Нитше все еще продолжалъ чувствовать на себѣ взглядъ Вагнера (а можетъ быть и не одного Вагнера) и не въ силахъ былъ бороться съ его гипнотизирующимъ



I. Заммлеръ (I. Sattler).

¹⁾ Сочин. т. II, стр. 86.



I. Замтлеръ (I. Sattler).

Иллюстрація къ „Исторіи прирейнскихъ городовъ“ Бооса.

вліяніемъ. Да и какъ бороться? Для этого прежде всего нужно было вырвать изъ себя уваженіе къ себѣ, назвать свое прошлое настоящимъ имениемъ, признаться, что газетные критики, которыхъ онъ привыкъ считать жалкими и недостойными людишками, были правы, называя его „литературнымъ лакеемъ Вагнера“. Иными словами, нужно обречь себя на существованіе послѣдняго „человѣка“. На такой ужасный шагъ человѣкъ не сразу рѣшается. Нитше все еще надѣется, что можетъ быть еще полезнымъ своей партіи, хотя-бы тѣмъ, что слова-

ми будетъ поддерживать ея принципы и стремленія. По крайней мѣрѣ доброе имя будетъ сохранено, по крайней мѣрѣ никто не узнаетъ, какъ онъ отвратительно и постыдно несчастенъ. Это чего нибудь да стоитъ. Нитше былъ гордымъ человѣкомъ. Онъ не хотѣлъ выставлять на показъ свои раны, онъ хотѣлъ скрыть ихъ отъ постороннихъ взоровъ. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячія хвалебныя статьи въ честь Шопенгауера и Вагнера, которыхъ въ душѣ онъ уже почти ненавидѣлъ, ибо

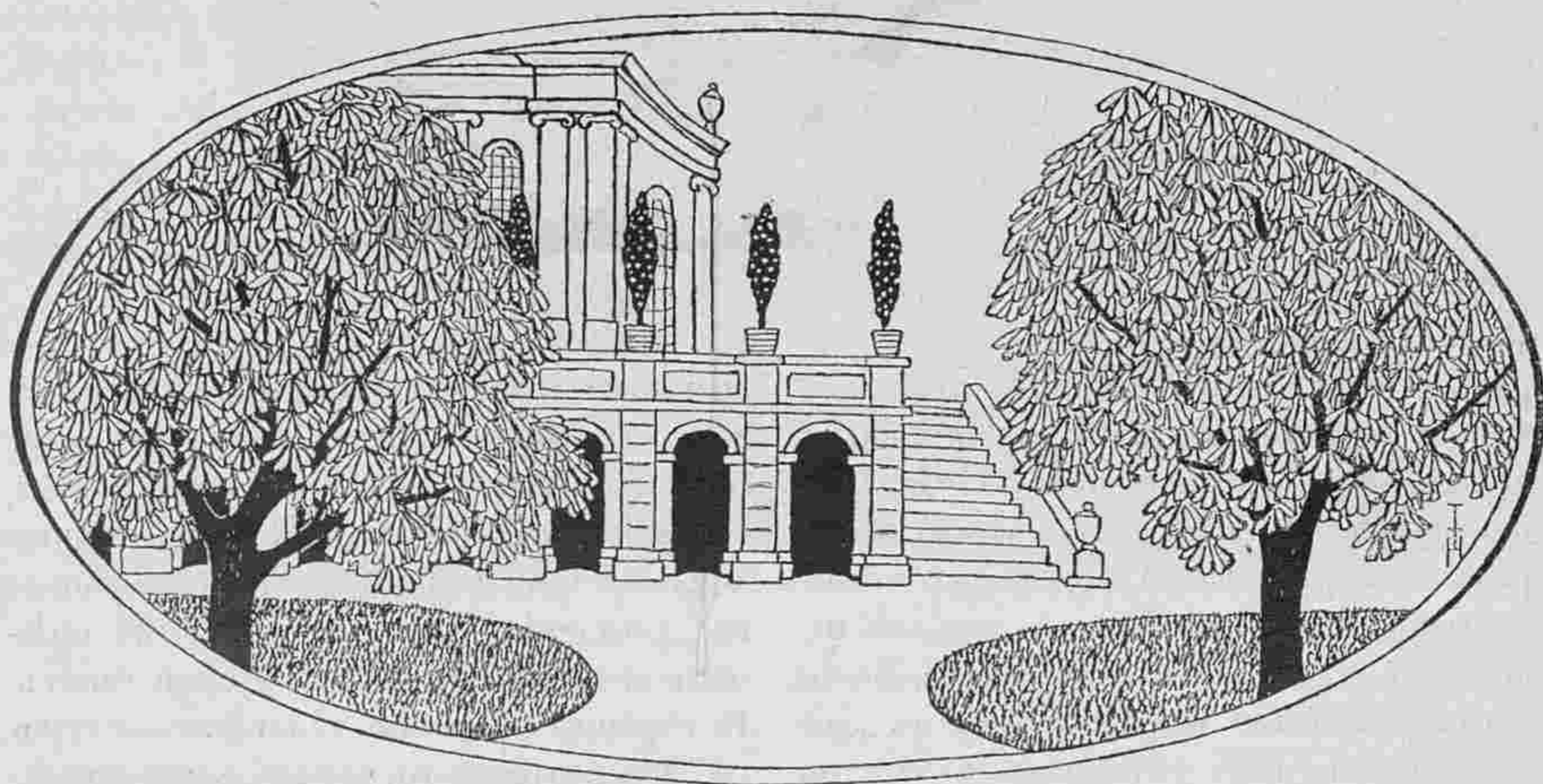
считалъ ихъ главными виновниками своего страшнаго несчастія. Но и то сказать, кому нужна была *его* правда? И что могъ-бы онъ разсказать, если-бы хотѣлъ говорить правду? Признаться открыто въ своей негодности? Но развѣ мало на свѣтѣ негодныхъ людей? И развѣ такое признаніе могло когонибудь поразить или заинтересовать? Вѣдь, въ сущности, ничего особеннаго и не произошло. Нитше думалъ о себѣ, что онъ достойный человѣкъ, предназначенный для важнаго и значительнаго дѣла. Оказалось, что онъ ошибся, что онъ былъ ничтожнымъ и жалкимъ человѣкомъ. Такіе случаи часто бываютъ въ жизни. О нихъ никто и не вспоминаетъ. Такъ, напримѣръ, самому-же Нитше пришлось убѣдиться, что Давидъ Штраусъ, почитавшійся нѣмцами за великаго философа и образцоваго стилиста, на самомъ дѣлѣ лишь „образованный филистеръ“, плохо владѣющій обыкновеннымъ литературнымъ языкомъ. Развѣ когонибудь, и самого Нитше, это открытіе поразило, ужаснуло? Нѣтъ, конечно. На землѣ и безъ Давида Штрауса осталось достаточно примѣчательныхъ философовъ и образцовыхъ стилистовъ. Если-бы Нитше объективно разсудилъ, то могъ-бы легко убѣдиться, что и его собственный случай не имѣетъ особеннаго значенія.

А если-бы онъ къ тому-же еще припомнилъ основныя положенія философіи Шопенгауера, то могъ-бы вполне утѣшиться въ своемъ несчастіи. Вѣдь „воля“ осталась неизмѣнной, стоитъ-ли думать о томъ, что индивидуумъ, т. е. одинъ изъ милліардовъ случаевъ ея объективации, оказался раздавленнымъ? Но обыкновенно „основныя положенія философіи“ мгновенно испаряются изъ памяти, какъ только человѣкъ серьезно столкнется съ жизнью. Если Нитше и вспоминалъ Шопенгауера, то не затѣмъ уже, чтобъ искать у него утѣшенія, или поддержки, а чтобы предать его проклятію, какъ своего злѣйшаго врага. „Такое слово я скажу моимъ врагамъ: что значитъ всякое человѣкоубійство въ сравненіи съ тѣмъ, что вы сдѣлали мнѣ! То, что вы сдѣлали мнѣ—хуже всякаго убійства; вы отняли у меня невозвратное: такъ говорю я вамъ, враги мои. Вы убили мои видѣнія и милыя чудеса моей юности. Вы отняли у меня товарищей моихъ, блаженныхъ духовъ. Въ память о нихъ я возлагаю здѣсь этотъ вѣнокъ и это проклятіе. Это проклятіе вамъ—мои враги“¹⁾. Эти слова Заратустры относятся къ Вагнеру и Шопенгауеру. Нитше проклиняетъ своихъ учителей за то, что они погубили его юность...

¹⁾ Соч. т. VI. Das Grablied.



1. *Zammler* (I. Sattler).
Ex-libris.



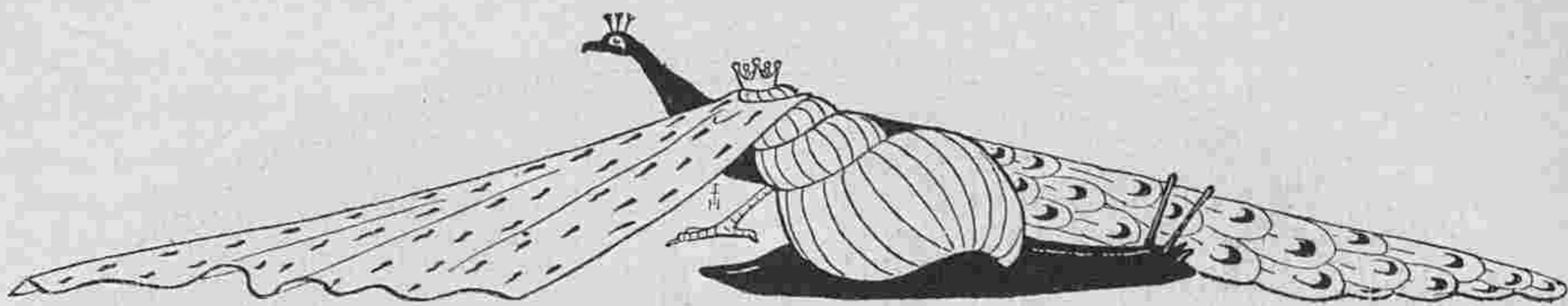
Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).

XIX.

Но, спросимъ опять: *wozu solch Lärm?* Что такое случилось? Нитше погибаетъ? Развѣ это достаточное основаніе, чтобы проклинать философію Шопенгауера и музыку Вагнера? Если мы вспомнимъ первыя произведенія Нитше, если мы прислушаемся къ „ученію“ Заратустры о сверхчеловѣкѣ, то намъ покажется, что въ сущности Нитше рѣшительно не было никакой нужды такъ волноваться. Не удалась одна жизнь—нѣтъ въ томъ никакой бѣды. Природа производитъ индивидуумовъ милліонами и ея задача не въ сохраненіи и развитіи отдѣльныхъ экземпляровъ, а въ совершенствованіи вида, породы. Такъ говорилъ Шопенгауеръ. Такъ или почти такъ говорилъ и Заратустра. Что съ того, что погибли юношескія мечтанія одного профессора? Развѣ человѣчеству это грозитъ какойнибудь опасностью?

Нитше отлично понималъ, что принятые имъ отъ Шопенгауера философ-

скія положенія заключаютъ въ себѣ его приговоръ. Если-бы онъ хоть вправѣ былъ считать себя примѣчательнымъ человѣкомъ! Но, въ свое оправданіе, онъ не могъ даже сослаться на свои необыкновенныя дарованія. Какъ видно изъ приведеннаго въ предыдущей главѣ афоризма „мученикъ по неволѣ“, въ ту пору онъ самъ видѣлъ въ себѣ лишь жалкаго прислужника Вагнера. Зачѣмъ-же существовать такому ничтожеству? Не лучше-ли тихо и незамѣтно ступешаться, уступить мѣсто въ жизни болѣе достойнымъ представителямъ человѣческой породы? Теперь именно Нитше представлялся случай осуществить высокія требованія общепринятой нравственности, взятыя подъ свое покровительство философіей Шопенгауера, и доказать не на словахъ, а на дѣлѣ, что идея самопожертвованія и самоотреченія—не пустой звукъ, а великая сила, способная воодушевить человѣка и дать ему смѣлость покорно вынести самую мучительную судьбу. Но Нитше поступилъ какъ



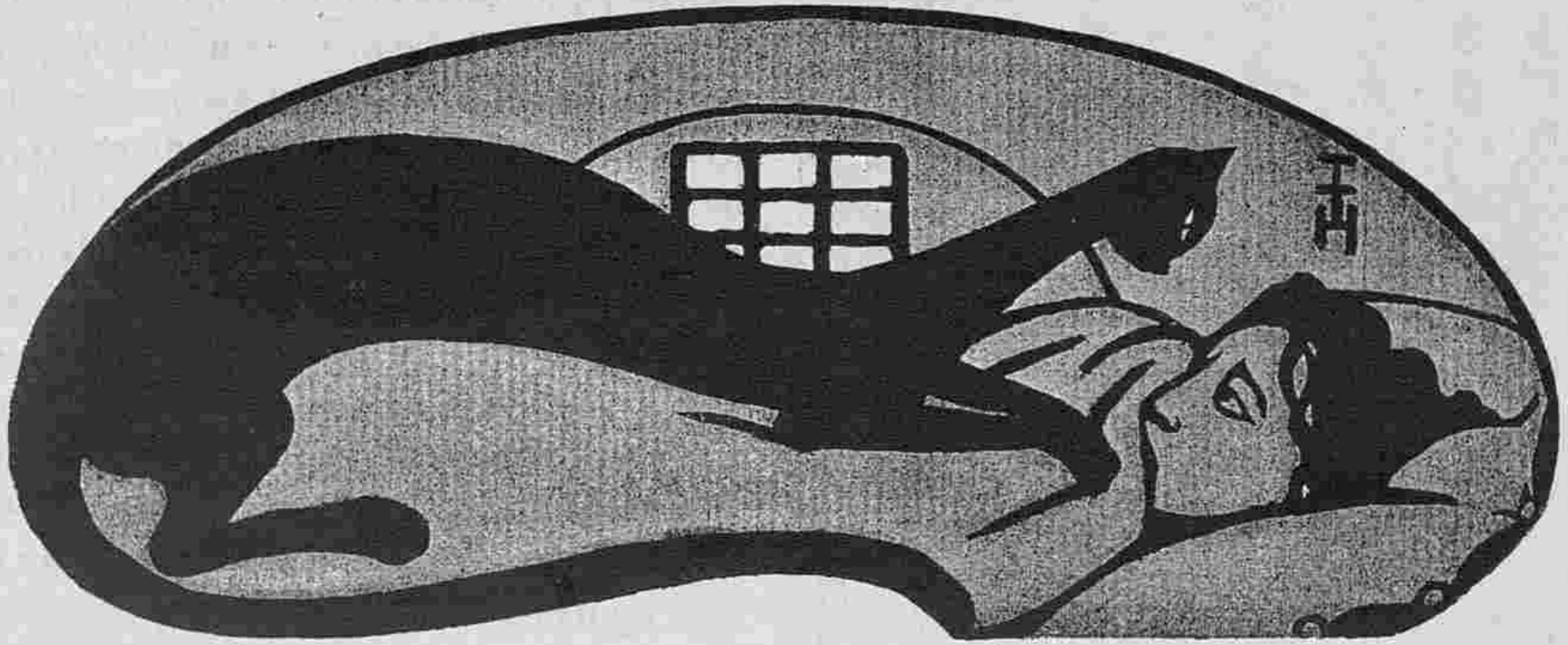
Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).

разъ обратно тому, чего отъ него требовали его прежнія „убѣжденія“, полученные отъ великаго воспитателя, Шопенгауера. Въмѣсто того, чтобы покориться и радоваться въ своемъ несчастіи прошлымъ успѣхамъ и новымъ надеждамъ челоуѣчества—что наиболѣе-бы соотвѣтствовало выраженнымъ въ „рожденіи трагедіи“ убѣжденіямъ—Нитше рѣшается своей судьбой провѣрять справедливость и истинность завѣщанныхъ намъ тысячелѣтіями и столько разъ блестяще оправданныхъ лучшими умами челоуѣчества, идеаловъ. Уже въ „Menschliches, Allzumenschliches“ онъ поднимаетъ вопросъ о „цѣнности неэгоистическихъ мотивовъ, объ инстинктахъ состраданія, самоотреченія, самопожертвованія, которые именно Шопенгауеръ такъ долго золотилъ, обожествлялъ, опотусторонивалъ (verjenseitigt), пока они, наконецъ, не стали для него цѣнностями an sich¹⁾. И для разрѣшенія этого вопроса онъ уже не обращается, какъ прежде, когда писалъ свои первыя произведенія, къ философамъ, поэтамъ, проповѣдникамъ, словомъ, къ ученіямъ, передававшимся людьми изъ поколѣнія въ поколѣніе. Онъ чувствуетъ, что во всемъ этомъ онъ не найдетъ отвѣта для себя, словно всѣ учителя челоуѣчества сговорились молчать о томъ, что для него важнѣе всего. И о своихъ собственныхъ сочиненіяхъ, въ которыхъ онъ когда-то выступалъ съ такой гордостью и увѣренностью все-

знающаго и всепонимающаго судьбы, онъ долгое время не смѣетъ обмолвиться ни однимъ словомъ. Только въ послѣдствіи, черезъ много лѣтъ онъ дѣлаетъ въ предисловіи или, вѣрнѣе, въ послѣсловіи къ „рожденію трагедіи“ попытку оцѣнить свой первый литературный опытъ. И странно устроено челоуѣческое сердце! Несмотря на то, что эта книга кажется ему во многихъ отношеніяхъ дурно написанной, несмотря на то, что онъ превосходно видитъ всѣ ея недостатки („...но книга, въ которой вылились мой юношескій пылъ и подозрительность, что за невозможная книга должна была вырасти изъ такой неюношеской задачи“¹⁾), онъ не можетъ не питать къ ней отеческой нѣжности. А между тѣмъ, онъ, собственно говоря, долженъ былъ-бы ненавидѣть ее такъ-же, какъ сочиненія Шопенгауера и музыку Вагнера. Она вѣдь была наиболѣе полнымъ выраженіемъ той отчужденности отъ жизни, той болзни дѣйствительности, словомъ, того романтизма, который, благодаря специфически оранжерейному воспитанію Нитше, такъ всецѣло и въ такой ранней молодости овладѣлъ его довѣрчивой душой. И не только „рожденіе трагедіи“—всѣ первыя произведенія Нитше, вплоть до „Menschliches, Allzumenschliches“, по той же причинѣ должны-бы были быть ненавистны ихъ автору. Всѣ они—романтизмъ чистѣйшей воды, т. е. болѣе или менѣе граціозная игра готовыми поэ-

¹⁾ Соч. т. VII, стр. 292.

¹⁾ Соч. т. I, стр. 3.



Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).

тическими образами и философскими понятиями. Для молодого Нитше слово Шопенгауера—законъ. „Я принадлежу, пишетъ онъ въ 1875 году, когда ему уже было тридцать лѣтъ, и когда дѣйствительность стала уже предъавлять къ нему свои первыя грозныя требованія, къ числу тѣхъ читателей Шопенгауера, которые, прочитавъ первую страницу его сочиненій, уже навѣрное знаютъ, что прочтутъ все, что онъ писалъ и вообще внимательно прислушаются къ каждому его слову. Онъ сразу приобрѣлъ мое довѣріе и теперь оно не меньше, чѣмъ было девять лѣтъ тому назадъ. Я понимаю его, какъ будто онъ писалъ нарочно для меня“¹⁾. Какъ видите, Нитше плохо помѣстилъ свое довѣріе. И вообще съ „довѣріемъ“ нужно обращаться осторожнѣй—Шопенгауеръ-же менѣе всего годится въ учителя юношеству уже въ виду тѣхъ вопросовъ, о которыхъ у него идетъ рѣчь и до которыхъ молодому человѣку, даже даровитому, обыкновенно очень мало дѣла. Не лучше обстояло дѣло и съ музыкой. И Вагнеръ, съ его операми, опасенъ для

несозрѣвшихъ людей, принуждая ихъ до времени входить въ чуждыя и недоступныя имъ сферы. Впослѣдствіи самъ Нитше вполне ясно созналъ это. „Я былъ влюбленъ въ искусство, пишетъ онъ, съ истинной страстью и въ концѣ концовъ во всемъ существующемъ не видалъ ничего, кромѣ искусства—въ тѣ годы, когда обыкновенно инныя страсти волнуютъ душу человѣка“¹⁾.

Впрочемъ, собственно говоря, довѣріе къ ученію Шопенгауера и увлеченіе Вагнеромъ вовсе не всегда такъ фатально губительны для человѣка. Если-бы жизнь Нитше прошла безъ случайныхъ осложненій, то, можетъ быть, онъ до глубокой старости сохранилъ-бы въ душѣ чувства любви и преданности къ своимъ учителямъ. Романтизмъ далеко не всегда уродуетъ и коверкаетъ человѣческую судьбу. Наоборотъ, часто онъ счастливо оберегаетъ людей отъ столкновенія съ дѣйствительностью и способствуетъ сохраненію на долгіе годы того прекрасодушія, той ясности и свѣтозарности взглядовъ, того довѣрія къ жизни, которая мы выше всего цѣнимъ

¹⁾ Соч. т. I, стр. 398.

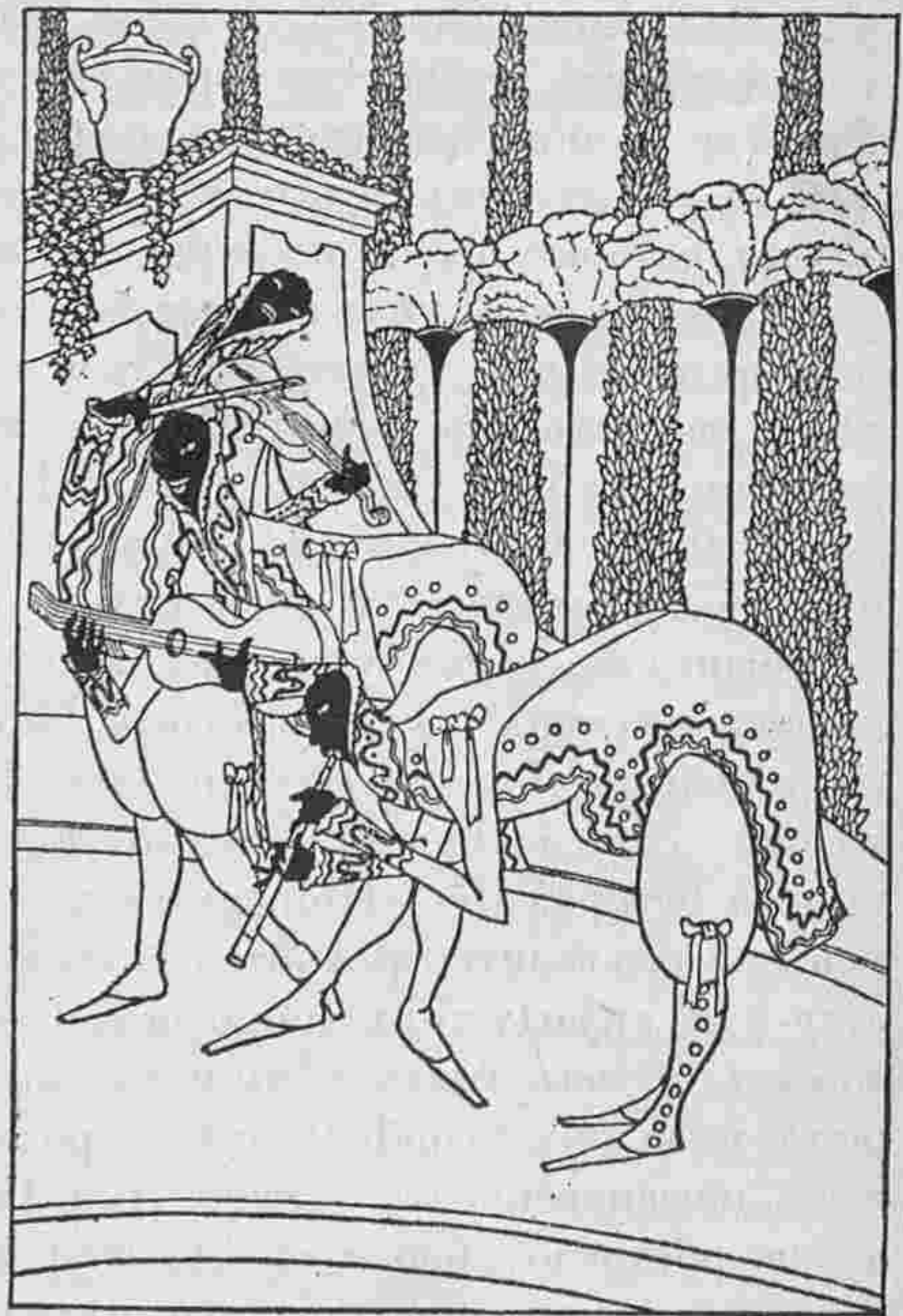
¹⁾ Соч. т. XI, стр. 130.



Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).
Иллюстрація.

въ философахъ. И Нитше могъ-бы до конца дней своихъ развивать тѣ идеи, которыя положены имъ въ основаніе „рожденія трагедіи“. Онъ могъ-бы учить людей мириться съ ужасами жизни, могъ-бы, какъ дѣлалъ его предшественникъ, прославлять „философа, художника и святого“. И навѣрное-бы снискалъ себѣ великое уваженіе среди современниковъ и славу въ потомствѣ: вѣдь называетъ-же пр. Рилль его „рожденіе трагедіи“ гениальнымъ произведеніемъ. Правда, можетъ въ этомъ отзывѣ нѣмецкаго профессора позволительно видѣть нѣкоторую политическую хитрость. Можетъ быть пр. Рилль, не находя удобнымъ все сплошь порицать въ Нитше и желая имѣть видъ безпристрастнаго и справедливаго судьи, предпочитаетъ пре-

увеличенно похвалить ту книгу Нитше, которая наиболѣе похожа на то, что пишутъ всѣ, съ тѣмъ чтобъ развязать себѣ руки и уже потомъ свободно нападать на остальные его произведенія. Но все же несомнѣнно, что если - бы Нитше продолжалъ писать въ духѣ „рожденія трагедіи“, то ему пришлось - бы лишь настолько отдѣлаться отъ общепринятыхъ убѣжденій и взглядовъ, насколько это разрѣшается существующими представленіями о дозволенной и желательной оригинальности. Онъ-бы, конечно, въ началѣ своей писательской дѣятельности имѣлъ и противниковъ, но подъ конецъ достигъ-бы той виртуозности изложенія, которая покоряетъ и враговъ и наиболѣе всего обезпечиваетъ чело-вѣку радостное уваженіе окружающихъ



Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).
Иллюстрація.

его ближнихъ. Несомнѣнно, что при иныхъ обстоятельствахъ Нитше писалъ бы иное, и пр. Рилль могъ-бы съ спокойной совѣстью называть всѣ его произведения гениальными.

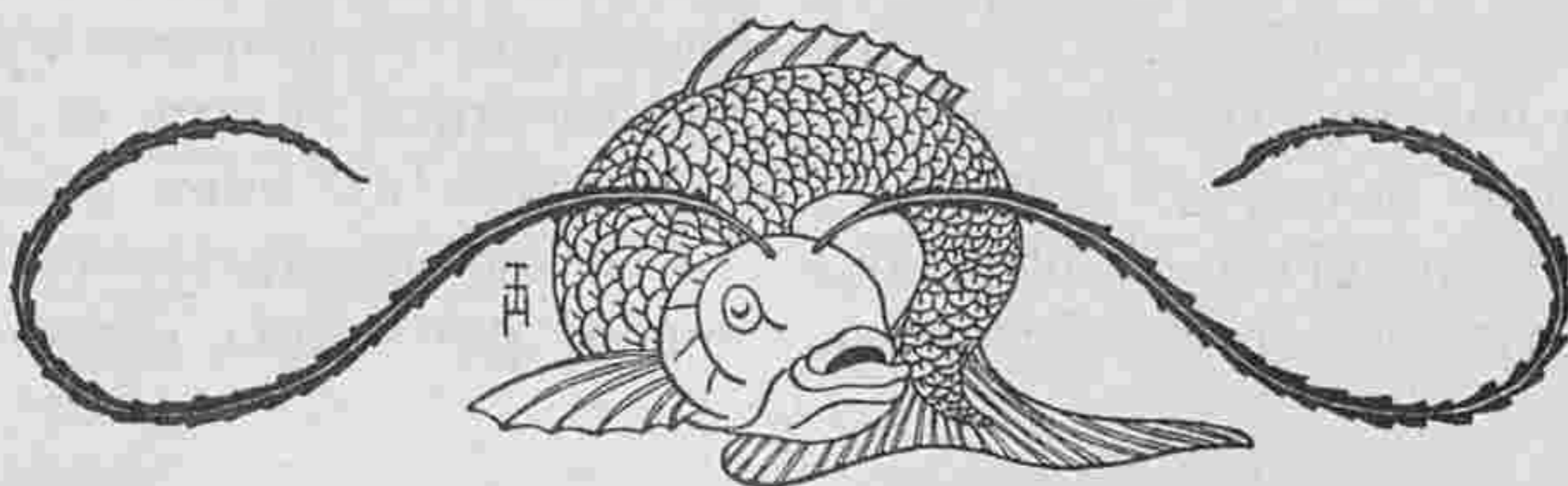
Но судьба рѣшила иначе. Въмѣсто того, чтобы предоставить Нитше спокойно заниматься будущимъ всего человѣчества и даже всей вселенной, она предложила ему, какъ и Достоевскому, одинъ маленькій и простой вопросъ—о его собственномъ будущемъ. И проникновенный философъ, безтрепетно глядѣвшій на ужасы всего міра, смутился и потерялся, какъ заблудившееся въ лѣсу дитя, предъ этой несложной и почитающейся легкой задачей. Въ этомъ дѣлѣ его прошлая ученость оказалась для него бесполезной, даже тягостной. „Все торжественное опротивѣло мнѣ, пишетъ онъ. Что мы такое?“¹⁾ А между тѣмъ это „торжественное“ было то, чѣмъ онъ жилъ до сихъ поръ, что онъ считалъ величайшей мудростью и въ распространеніи чего видѣлъ свое провиденціальное назначеніе. Теперь это нужно бросить. Но, что-же тогда останется? Какъ взглянуть въ лицо всѣмъ людямъ, что сказать Вагнеру, какъ быть наединѣ съ самимъ собою? Нѣкоторое время Нитше дѣлаетъ попытки примирить свою новую дѣйствительность со старыми „убѣжденіями“. Какъ уже указано, онъ пишетъ статьи о Вагнерѣ и Шопенгауерѣ, надѣясь, что привычка возьметъ свое и онъ снова сживется съ такъ необходимой ему теперь вѣрой въ идеалы. Но расчетъ былъ ошибоченъ. Притворное

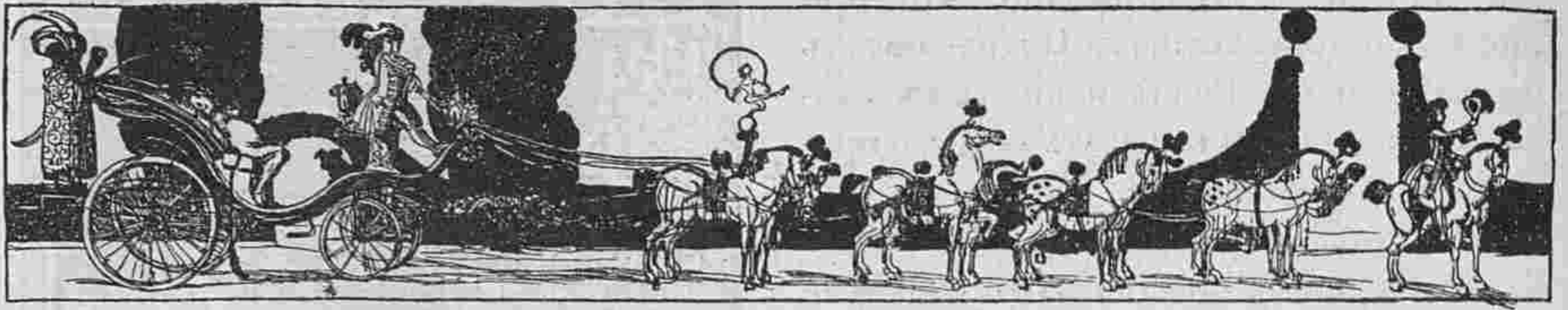
¹⁾ Соч. т. XI, стр. 153.



Т. Т. Гейне (Th. Th. Heine).
Иллюстрація.

служеніе и для человѣка въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ—дѣло очень нелегкое. Для Нитше-же, въ его ужасномъ положеніи, оно обратилось въ настоящую пытку. Онъ увидѣлъ, что жить по старому невозможно. И зная, что его ждетъ, зная, что друзья и, главнымъ образомъ, Вагнеръ никогда не простятъ ему измѣны, онъ отвернулся отъ старыхъ боговъ и пошелъ по новому пути, хотя и новый путь ничего, кромѣ опасностей, мучительныхъ сомнѣній и вѣчнаго одиночества ему не сулилъ...





Ю. Дицъ (J. Diez).

XX.

И съ чѣмъ вышелъ онъ на новый путь? Что имѣлъ онъ взамѣнъ прежнихъ убѣжденій? Отвѣтъ заключается въ одномъ словѣ: ни чего. Ничего, кромѣ отвратительныхъ физическихъ страданій въ настоящемъ, позорныхъ, унижительныхъ воспоминаній о прошломъ и безумнаго страха передъ будущимъ. У него не могло быть никакой надежды, ибо на что способенъ разбитый, больной человѣкъ, потратившій лучшіе годы жизни на бесполезныя, ненужныя, ничего ему не принесшія занятія? До 30 лѣтъ онъ, какъ нашъ Илья Муромецъ, сиднемъ сидѣлъ, созерцая чужіе идеалы. Теперь нужно встать и идти—но ноги отказываются служить, а благодѣтельные старцы съ волшебнымъ напиткомъ не являются и не явятся: въ наше время чудесъ не бываетъ. Въ довершеніе всего болѣзнь приняла такіе размѣры, что ему пришлось бросить свои обычныя, наполнявшія день, профессорскія занятія и всѣ 24 часа въ сутки оставаться празднымъ, наединѣ съ своими размышленіями и воспоминаніями. Даже ночь не приносила ему отдыха и покоя, такъ какъ онъ страдалъ бессоницей, обычной спутницей трудныхъ нервныхъ болѣзней. —И вотъ такой человѣкъ становится писателемъ, позволяетъ себѣ обратиться къ людямъ со своимъ словомъ.

Является естественный вопросъ—имѣетъ ли право такой человѣкъ писать? Что можетъ онъ рассказать намъ? Что онъ страдаетъ, страдалъ? Но мы слышали уже довольно жалобъ отъ поэтовъ и молодой Лермонтовъ давно уже высказалъ открыто ту мысль, которую другіе держали про себя. Какое дѣло намъ, страдалъ Нитше или нѣтъ? И затѣмъ—поэты дѣло иное. Они вѣдь не просто жалуются; кто сталъ-бы ихъ слушать если-бы они „просто“ жаловались! Они облакаютъ свои жалобы въ звучные и красивые стихи, изъ ихъ слезъ вырастаютъ цвѣты. Мы любимъ цвѣтами и не думаемъ о слезахъ; божественная гармонія стиха заставляетъ насъ радоваться даже самому печальному напѣву. Но Нитше-философъ: онъ не умѣетъ и не долженъ пѣть. Ему приходится говорить—и неужели онъ рѣшится предложить людямъ монотонный и однообразный рассказъ о тѣхъ ужасахъ, которые ему пришлось испытать? Или и въ философіи есть свои цвѣты и своя поэзія, которыя и составляютъ ея *raison d'être* и эта наука наукъ есть тоже искусство—искусство выдавать за истину разнаго рода интересныя и занимательныя вещи? Послушаемъ объясненій Нитше. Въ этихъ дѣлахъ не многіе могутъ сравниться съ нимъ разнообразіемъ и многосторонностью опыта. Онъ самъ подробно расскажетъ намъ, какъ онъ пи-

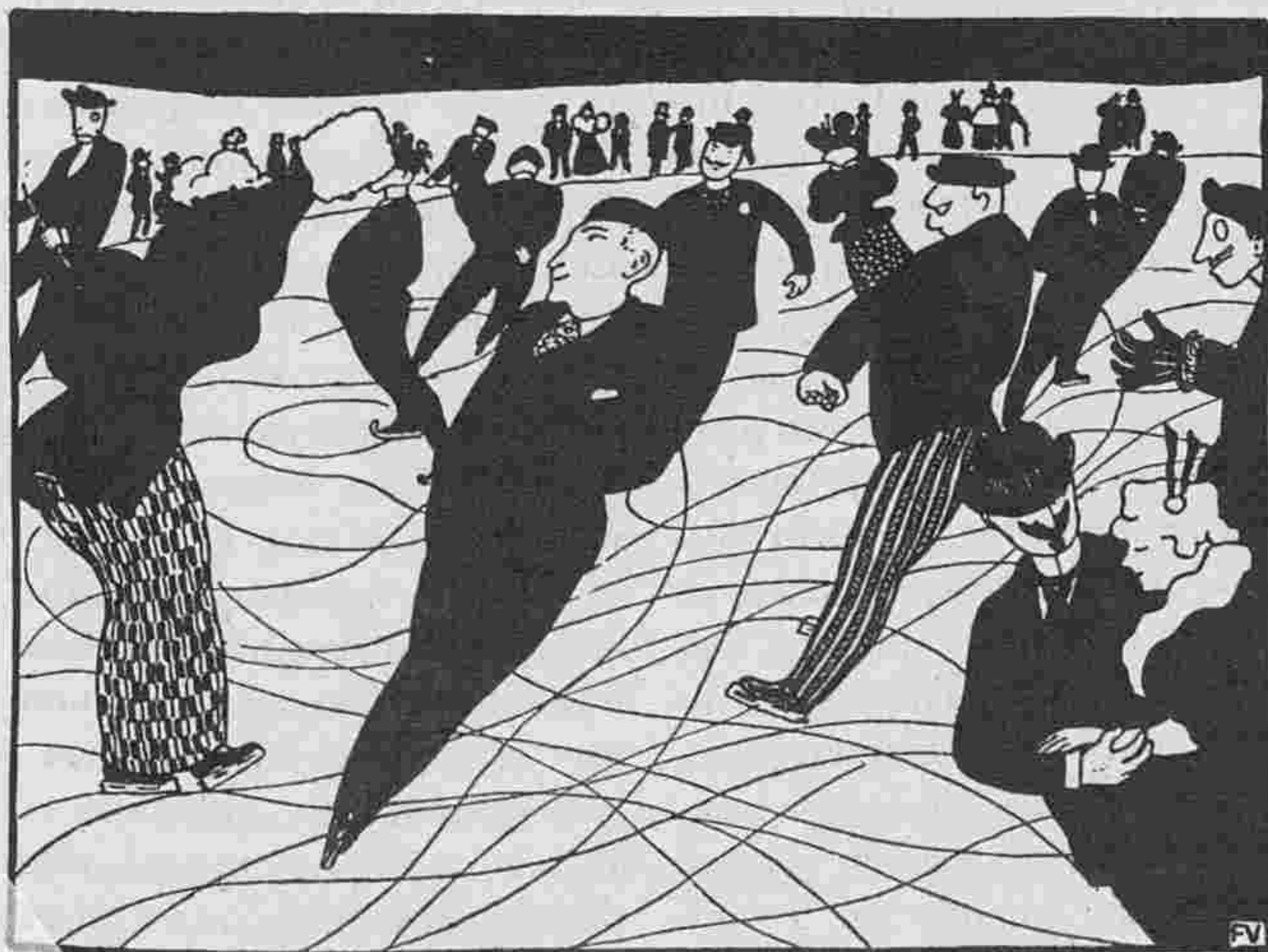


II. Эλλᾶ (II. Hellen).
Pointe-sèche.

салъ свои книги. „Тотъ, кто можетъ хоть отчасти угадать, пишетъ онъ, къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ всякое глубокое подозрѣніе, кому знакомы ужасъ и холодъ одиночества, на которое обрекаетъ насъ всякое, безусловно отличное отъ общепринятаго, міровоззрѣніе (jede unbedingte Verschiedenheit des Blicks), тотъ также пойметъ, какъ часто приходилось мнѣ, чтобъ излѣчиться отъ самого себя, чтобъ хоть на время забыться, искать себѣ убѣжища въ благоговѣніи предъ чѣмъ-нибудь, во враждѣ, въ научности, въ легкомысліи, въ глупости; и почему я въ тѣхъ случаяхъ, когда не находилъ готовымъ того, что мнѣ нужно было, искусственно добывалъ его себѣ—пускался на фальсификаціи, выдумывалъ (а что другое дѣлали поэты? И зачѣмъ вообще существуетъ все искусство?)“¹⁾ Недурное признаніе, не-

правда-ли? Искусство понимается, какъ умышленная фальсификація дѣйствительности, философіи-же рекомендуются тѣ-же приемы. Иначе нельзя вынести ужаса и холода одиночества. Но, развѣ фальсификація, особенно сознательная, въ такихъ случаяхъ можетъ помочь? Развѣ „свой“ взглядъ на жизнь становится менѣ безотраднымъ при такихъ ухищреніяхъ ума и совѣсти? И затѣмъ, развѣ намъ дано произвольно измѣнять „взглядъ“? Мы видимъ то, что видимъ, что лежитъ предъ нами и никакія усилія воли не могутъ представить намъ черное бѣлымъ и наоборотъ. Нитше, по видимому, думаетъ иначе. Въ предисловіи къ 3-му тому сочиненій онъ говоритъ: „тогда-то (т. е. во время болѣзни научился я тѣмъ уединеннымъ рѣчамъ, которыя знакомы лишь одинокимъ и много страдавшимъ людямъ: я говорилъ безъ свидѣтелей или, вѣрнѣе, совершенно не думая о свидѣтеляхъ и все о вещахъ, до которыхъ мнѣ не

¹⁾ Соч. т. II, предисловіе.



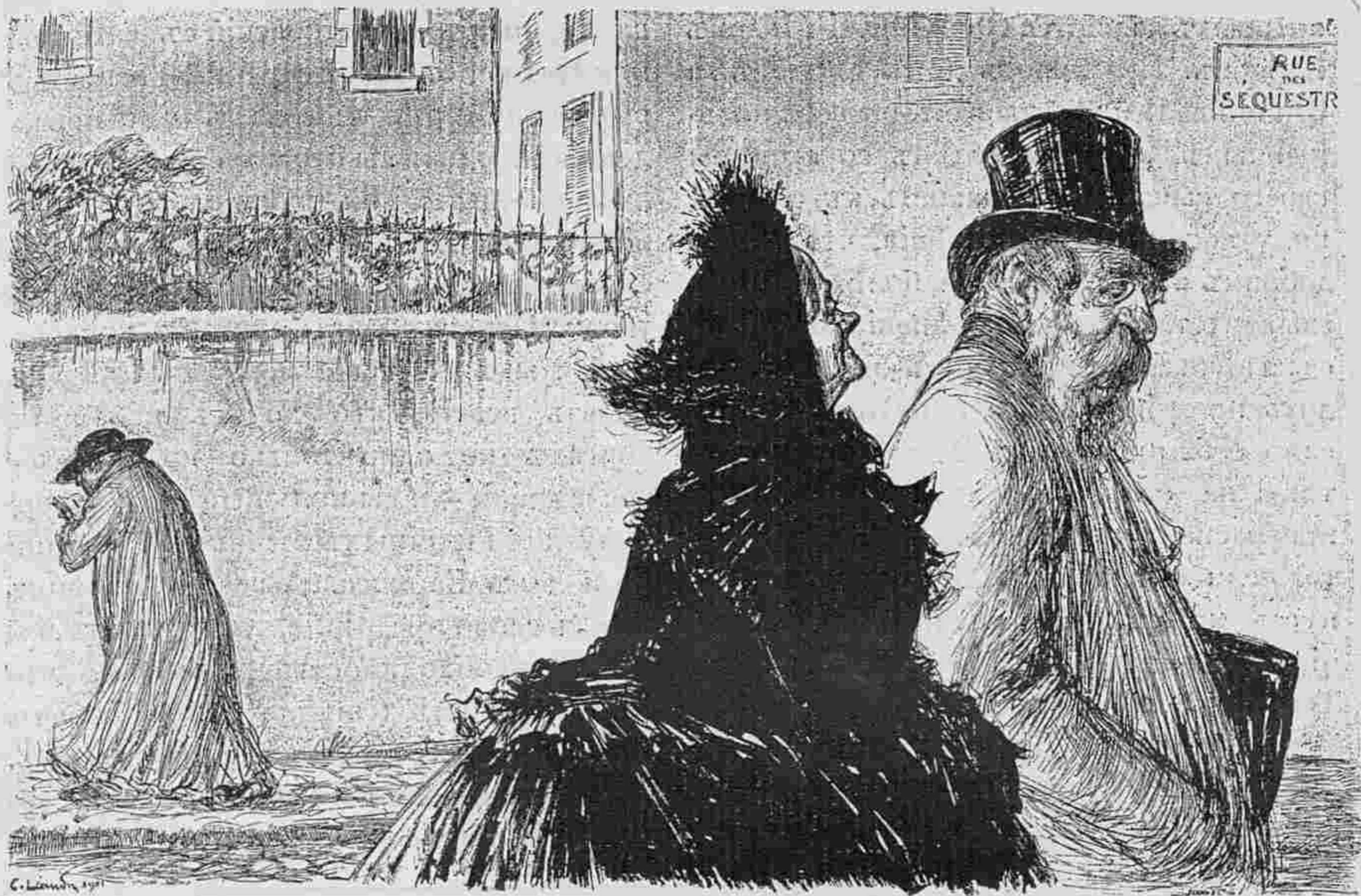
Ф. Валлотонъ (F. Vallotton).
Китокъ.



было никакого дѣла, но такъ, какъ будто онѣ имѣли для меня значеніе. Тогда я научился искусству представляться бодрымъ, объективнымъ, любопытствующимъ и прежде всего здоровымъ и насмѣшливымъ: у больного, я полагаю, это признакъ хорошаго вкуса. Тѣмъ не менѣе, отъ болѣе тонкаго и сочувственнаго взгляда не укроется то, что составляетъ особую привлекательность этой книги (Menschliches, Allzumenschliches): онъ замѣтитъ, что здѣсь больной и обездоленный человѣкъ говоритъ такъ, какъ будто-бы онъ не былъ больнымъ и обездоленнымъ. Здѣсь человѣкъ стремится во что-бы то ни стало сохранить равновѣсіе, спокойствіе—даже благодарность къ жизни; здѣсь царитъ строгая, горячая, всегда бодрая, всегда возбужденная воля, поставившая себѣ задачей защищать жизнь противъ страданій и отклонять всѣ заключенія, которыя, подобно ядовитымъ губкамъ, вырастаютъ на всякаго рода болотистой почвѣ—страданія, разочарованія, пресыщенія, одиночества“...

Теперь мы знаемъ, какъ Нитше писалъ свои книги. Повидимому, ему не дано было вырваться изъ власти идей. Когда-то онъ, защищая Вагнера и Шопенгауера, говорилъ о вещахъ, до которыхъ ему не было никакого дѣла, но съ такимъ видомъ, какъ будто онѣ имѣли для него значеніе, теперь-же, выступая на новомъ поприщѣ „адвоката жизни“ онъ снова, повидимому, подавляетъ въ себѣ всѣ протесты, все личное, все свое съ тѣмъ, чтобы прославлять своего новаго кліента. Онъ снова лицемѣритъ, снова играетъ роль, но на этотъ разъ уже не безсознательно, не съ чистой совѣстью, какъ въ молодости: теперь онъ даетъ себѣ отчетъ въ своемъ поведеніи. Теперь онъ знаетъ, что иначе нельзя и не только не приходитъ въ

ужасъ, когда ему приходится говорить вслухъ „да“, въ то время, когда все его существо твердитъ „нѣтъ“, но даже гордится этимъ искусствомъ и находитъ въ немъ особую прелесть. Онъ отклоняетъ всѣ заключенія, вырастающія на почвѣ разочарованія, страданія, одиночества т. е. именно тѣ заключенія, которыя единственно и могли являться у человѣка въ его обстоятельствахъ. Кто-же или что-же такое живетъ въ немъ, чему даны такія суверенныя права надъ его душой? Можетъ быть это старый разумъ, однажды уже сыгравшій надъ Нитше такую злую шутку и потому лишенный всѣхъ прежнихъ правъ, вновь силой или хитростью занялъ свое прежнее, первенствующее положеніе? Или опять совѣсть и стыдъ предъ людьми соблазняютъ Нитше къ чуждой ему вѣрѣ и убѣждаютъ больного и обездоленнаго притворяться здоровымъ и счастливымъ? Фактъ необычайной важности! Мы уже теперь должны отмѣтить, что во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, вплоть до самыхъ послѣднихъ, въ которыхъ Нитше выступаетъ рѣшительнѣйшимъ имморалистомъ и безбожникомъ, въ которыхъ онъ беретъ своимъ девизомъ страшныя слова, служившія въ средніе вѣка таинственнымъ паролемъ одной изъ магометанскихъ сектъ, столкнувшихся въ Св. Землѣ съ крестоносцами: „нѣтъ ничего истиннаго, все дозволено“,—во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, все время и неизмѣнно Нитше апеллируетъ къ какой-то высшей инстанціи, называемой имъ то просто жизнью, то „совокупностью жизни“ и не смѣетъ говорить отъ своего собственнаго имени. Получается впечатлѣніе, которое лучше всего резюмируется насмѣшливыми словами Достоевскаго: „все дозволено и шабашъ!... только, если захотѣлъ мошенничать, то зачѣмъ-бы еще, кажется, санкція исти-



С. Леандръ (C. Léandre).

ны?"¹⁾ Для поклонниковъ категорическаго императива, пристрастіе Нитше къ санкціи истины могло-бы служить лучшимъ опроверженіемъ всего его ученія и меня очень удивляетъ, что до сихъ поръ никто еще не выступилъ противъ него съ этимъ, на видъ непобѣдимымъ, аргументомъ. Тѣмъ болѣе, что встрѣчающіяся у Нитше и такъ часто ставившіяся ему въ упрекъ противорѣчія въ его сужденіяхъ имѣютъ своимъ главнымъ источникомъ это преклоненіе предъ новымъ „молохомъ абстракціи“, замѣнившимъ теперь собою многочисленныхъ старыхъ. Я впрочемъ не хочу этимъ сказать, что санкція истины или лучше сказать всякая вообще послѣдняя санкція на сторонѣ тѣхъ, которые возвѣщаютъ, что *не* все позволено и воздерживаются отъ мошенничества въ томъ,

разумѣется, смыслѣ (вѣдь и такія оговорки еще нужны!), въ которомъ это слово употребляется Достоевскимъ. Болѣе того, я уже указывалъ, что въ преклоненіи Достоевскаго предъ каторгой явно сквозитъ сознаніе, что именно санкція-то, которой, какъ своей неотъемлемой и нераздѣльной прерогативой похвалялись до сихъ поръ идеалисты, присвоена себѣ этими послѣдними совершенно незаконно. Шиллеръ когда-то безъ всякихъ колебаній, даже безъ мысли о томъ, что какія нибудь колебанія возможны, вложилъ въ уста своего Филиппа II слѣдующія слова:

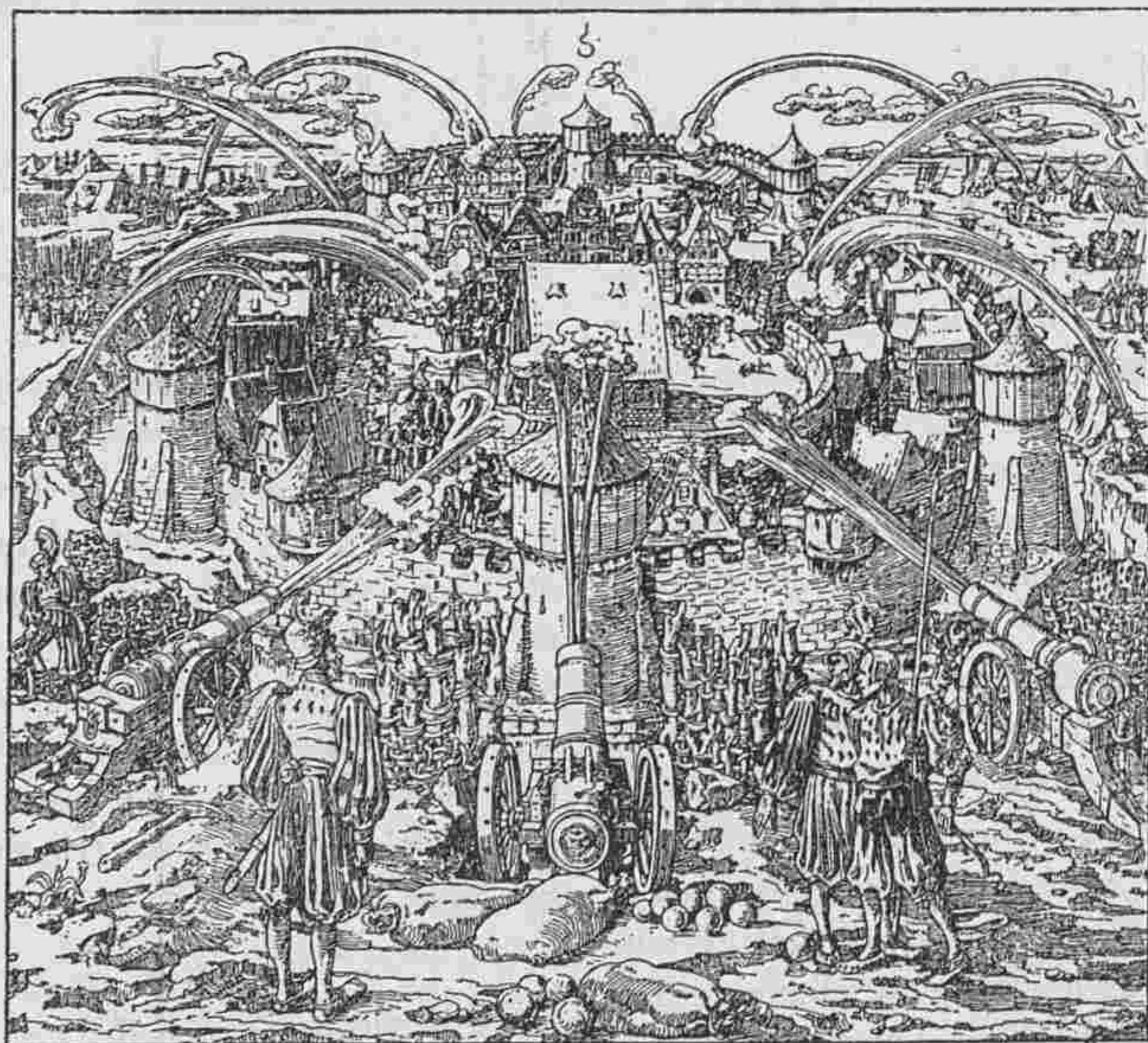
Gern mag ich hören,
Dass Karlos meine Räte hasst, doch mit
Verdruss entdeck ich, dass er sie verachtet.

Въ этой фразѣ были какъ-бы разъ навсегда опредѣлены и закрѣплены отношенія тѣхъ типовъ, представителями

¹⁾ Братья Карамазовы, 769.

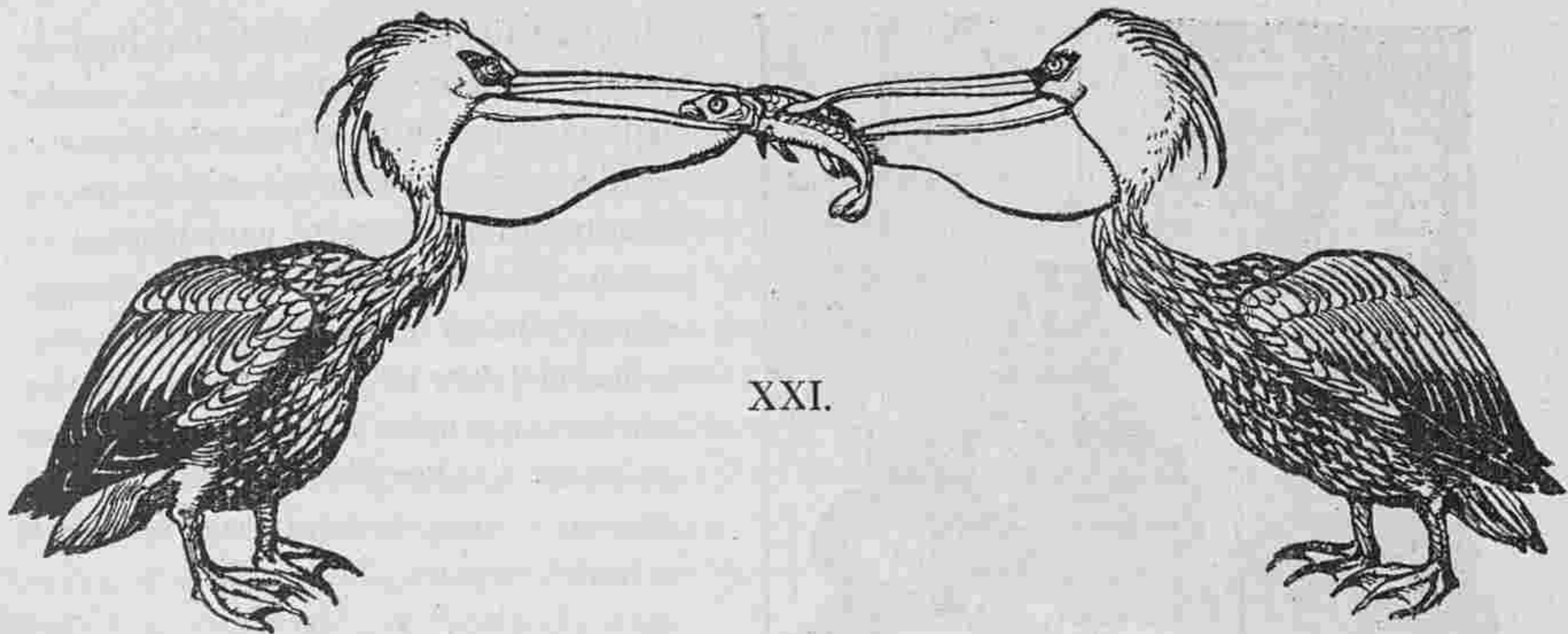
которыхъ являются Филиппъ II-й и донъ Карлосъ. Презираетъ донъ Карлосъ, а Филиппъ II-й чувствовалъ-бы себя польщеннымъ, если-бы видѣлъ со стороны своего сына хоть ненависть къ себѣ. И ни у кого не было сомнѣнія, что между добромъ и зломъ, говоря болѣе общимъ языкомъ, такого рода отношенія сохраняются на вѣки вѣчныя: зло не въ силахъ побѣдить презрѣнiе добра и потому втайнѣ само себя презираетъ. Т. е. санкція истины на сторонѣ донъ Карлоса и его прекраснодушія. Что-же до Филиппа—то, если онъ хочетъ „мошеничать“, то пусть оставитъ надежду на всякую санкцію. Такъ было во времена Шиллера. Теперь-же обстоятельства измѣнились. Теперь донъ Карлосы ждутъ отъ Филипповъ, какъ милостыни—ихъ ненависти, но кромѣ презрѣнiя ничего не добивают-

ся. Примѣръ—Достоевскій съ каторгой или Нитше, съ такой страшной ясностью выразившій эту мысль въ уже приведенныхъ однажды словахъ Заратустры: „знаешь-ли ты, мой другъ, слово презрѣнiя и муки твоей справедливости—быть справедливымъ къ тѣмъ, кто презираетъ тебя“. Переведите эти слова на конкретный языкъ—а такіе переводы обязанъ дѣлать всякій, кто хочетъ найти въ книгахъ не одно только эстетическое наслажденіе—и вы получите новую формулу для взаимныхъ отношеній Филиппа и донъ Карлоса. Уже не Филиппъ знаетъ слово презрѣнiя, уже не онъ мучается необходимостью признать, что справедливость (санкція истины) не съ нимъ, а съ его врагами, а, наоборотъ, всѣ эти удовольствія выпадаютъ на долю донъ Карлоса.



Verlag von J. A. Stargardt Berlin
M. D. C. C. X. C. V. I.

И. Заммлеръ (I. Sattler).



XXI.

Ю. Дицъ

J. Diez.

Но оставимъ въ сторонѣ споръ о санкціи и о томъ, чего собственно добиваются люди, когда они такъ страстно, злобно и безпощадно стремятся доказать безспорность и исключительность своихъ правъ на нее. Намъ занимаетъ теперь иное. Что дѣлать намъ съ сочиненіями писателя, который по собственному, неоднократно выраженному признанію, писалъ въ своихъ книгахъ такъ, какъ будто-бы онъ былъ не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ? Русскому читателю манера Нитше, правда, не въ диковинку. У насъ есть Достоевскій, который говоритъ такъ, какъ будто бы онъ былъ не подпольнымъ человѣкомъ, не Раскольниковымъ, не Карамазовымъ, который симулируетъ и вѣру, и любовь, и кротость, и что хотите. У насъ есть гр. Толстой, писавшій изъ „тщеславія, корыстолюбія и гордости“, какъ онъ самъ въ порывѣ поздняго раскаянія рассказываетъ въ „Исповѣди“. Такъ что прямо отвергнуть Нитше намъ нельзя, если-бы мы и хотѣли, ибо пришлось-бы вслѣдъ за нимъ отвергнуть также и Достоевскаго, и гр. Толстого. Приходится, значитъ ставить вопросъ—чего стоитъ такого рода симуляція и, затѣмъ, нужна-ли она. Тутъ предоста-

вимъ слово опять самому Нитше. Въ предисловіи къ „Menschliches, Allzumenschliches“, изъ котораго мы дѣлали уже выписки въ предыдущей главѣ, встрѣчается замѣчаніе, какъ будто-бы вполне выясняющее и оправдывающее такого рода странные приемы: „...Тогда, говоритъ Нитше, выработалъ я себѣ новый принципъ: больной еще не имѣетъ права быть пессимистомъ, тогда началъ я терпѣливую и упорную борьбу съ антинаучной основной тенденціей всякаго рода романтическаго пессимизма, истолковывающаго, раздувающаго отдѣльныя, личныя переживанія до степени общихъ сужденій, даже приговоровъ мірозданію.. словомъ, тогда я заставилъ себя повернуться въ иную сторону. Оптимизмъ, въ цѣляхъ возстановленія силъ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи снова приобрести право быть пессимистомъ—понимаете-ли вы это? Подобно тому, какъ врачъ переводитъ своего больного въ совершенно иную обстановку... такъ я, въ качествѣ врача и больного въ одномъ лицѣ, принудилъ себя къ совершенно иному, еще не испытанному, душевному климату“¹⁾. Но развѣ эти сообра-

¹⁾ Соч. т. III, стр. 9.



— On ne protège pas assez le commerce et l'industrie : Aussi vous n'avez jamais vu un grand passementier enterré au Panthéon.

К. Гюарь (С. Нюард).
„Провинція“.

женія достаточно оправдывают авторское притворство? Допустимъ, что больной и въ самомъ дѣлѣ не имѣетъ права быть пессимистомъ (завидное право!) и что оптимизмъ, какъ переменна душевнаго климата, можетъ быть точно полезенъ для воспитанника Шопенгауера и Вагнера. Но читатели, которымъ попало въ руки первое издание обоихъ томовъ „Menschliches, Allzumenschliches“, еще не снабженныхъ пояснительными предисловіями (написанными только черезъ 8 лѣтъ), какъ могли-бы они догадаться, что имѣютъ дѣло не просто съ книгами, т. е. выраженными убѣжденіями автора, а съ искусственно созданной, пригодной лишь для извѣстнаго рода болѣзней, атмосферой? Ни заглавія сочиненій, ни изложенныя въ нихъ мысли ничего подобнаго не выдавали.

И если-бы литературная дѣятельность Нитше ограничилась лишь первыми четырьмя томами его сочиненій — то самый тонкій и сочувственный взглядъ не уловилъ-бы въ нихъ цѣлей автора. Даже теперь, когда у насъ имѣются длинныя предисловія, когда мы знаемъ послѣдніе четыре тома его сочиненій, когда намъ извѣстна біографія Нитше, критики упорно остаются при убѣжденіи, что въ „Menschliches, Allzumenschliches“ и „Morgenröthe“ Нитше является послѣдовательнымъ позитивистомъ. Такъ что, повидимому, эти книги не достигли своей цѣли. Опыты лѣченія нужно было производить не публично, а у себя дома, никого о нихъ не оповѣщая. И Нитше ли была неизвѣстна эта элементарная истина? Приведенное объясненіе, слѣдовательно, можетъ имѣть для насъ только значеніе біографической справки и менѣе всего можетъ пролить свѣтъ на тѣ способы отысканія истины, которыми пользовался Нитше въ этотъ періодъ своей жизни. А между тѣмъ въ „Menschliches Allzumenschliches“ онъ уже высказываетъ очень опредѣленно, хотя и не смѣло, тѣ сужденія свои о нравственности, которыхъ онъ уже держался до конца жизни: въ предисловіи къ „Zur Genealogie der Moral“ онъ самъ на это указываетъ. И разъ мы желаемъ дойти до источника нитшевскаго міровоззрѣнія, разъ мы хотимъ узнать, какъ „родились“ его новыя убѣжденія (а вѣдь въ этомъ все наше дѣло), мы не вправѣ видѣть въ его „позитивистическихъ“ произведеніяхъ только опыты самолѣченія. Въ нихъ уже нужно искать и въ нихъ есть уже все то, что впоследствии привело Нитше къ формулѣ „по ту сторону добра и зла“, къ апоѳеозу жесто-

кости, къ прославленію эгоизма, къ учению о вѣчномъ возвращеніи, къ *Wille zur Macht*—и даже къ идеалу сверхчеловѣка. При внимательномъ ихъ изученіи мы убѣждаемся, что они иногда намъ болѣе говорятъ объ ихъ авторѣ, нежели страстныя рѣчи Заратустры и тотъ безудержъ надорваннаго творчества, который проявился въ „Антихристъ“. Тамъ что исторію о самоубіеніи приходится принять съ большими ограниченіями и даже пока совсѣмъ отвергнуть.

Гораздо болѣе важнымъ и потому заслуживающимъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія является другое объясненіе, на которое мы уже вскользь обращали вниманіе читателя. Нитше говорить, что въ „*Menschliches, Allzumenschliches*“ онъ поставилъ себѣ задачей „защищать жизнь противъ страданій и отклонять всѣ заключенія, которыя, подобно ядовитымъ губкамъ, выростаютъ на всякаго рода болотистой почвѣ—страданія, разочарованія, пресыщенія, одиночества“. Это уже несомнѣнно методъ отысканія истины—хотя, конечно, и отрицательный. Намъ остается только провѣрить его годность. Точно-ли онъ приводитъ, можетъ привести къ „истинѣ“ или наоборотъ (вѣдь съ методами и это бываетъ)—уводитъ отъ нея? Обратимся опять къ опыту Нитше. Разсуждая о Сократѣ и его ученіи, онъ говоритъ: „Философы и моралисты обманываютъ себя, полагая, что возможно вырваться изъ *decadence*’а, объявивъ войну этому послѣднему. У нихъ нѣтъ силъ

спасти, всѣ приемы, которые они изберутъ, какъ средства спасенія, будутъ сами лишь выраженіемъ *decadence*’а—они мѣняютъ лишь форму, но сущность остается той-же. Сократъ былъ лишь однимъ недоразумѣніемъ. Стремленіе къ ясному дневному свѣту, къ разумности во что-бы то ни стало, желаніе сдѣлать жизнь свѣтлой, холодной, осторожной, сознательной, безъинстинктивной, противоборствующей инстинктамъ—все это было только болѣзью, новой болѣзью, а отнюдь не возвращеніемъ къ „добродѣтели“, къ „здоровью“, къ „счастью“... Быть принужденнымъ бороться съ инстинктами—это формула *decadence*’а: пока жизнь развивается, счастье равнозначуще инстинкту“¹⁾. Все это отно-

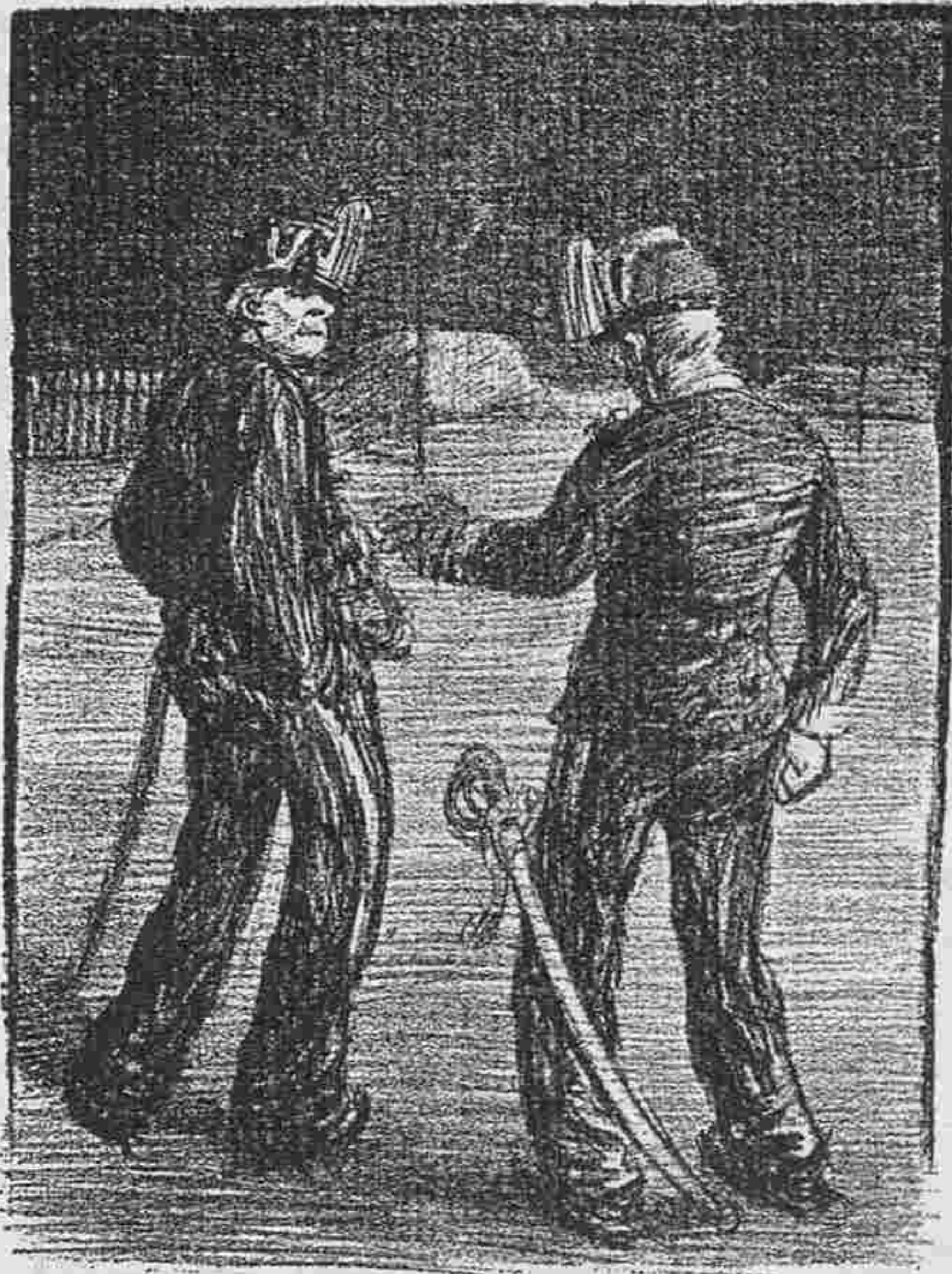
¹⁾ Соч. т. VIII стр. 74.



CES MESSIEURS DU CERCLE.

— Pour peu qu'on ait habité les grandes villes, il est bien difficile de se coucher avant dix heures un quart!

Ж. Гюаръ (C. Huard),
„Провинція“.



Vidalène, tu me fais de la peine.. Tu ne veux pas m'attendre parce que tu crois que je suis saoul, tu as honte de moi.

Ж. Гюаръ (С. Huard).
„Провинція“.

сится къ Сократу и къ его проповѣди борьбы съ самимъ съ собою или „теоріи исправленія“, какъ выражается Нитше. Поборотъ въ себѣ decadence считается безусловно невозможнымъ. Сократъ - декадентъ и всѣ его попытки спастись будутъ лишь новымъ выраженіемъ декадентства, упадка. Онъ не годится въ учителя и самое его ученіе должно быть цѣлкомъ отвергнуто. Ну, а самъ Нитше? Помимо того, что въ оставшихся послѣ него бумагахъ сохранились замѣтки, въ которыхъ онъ самъ признаетъ себя духовно близкимъ Сократу („Сократъ, нужно признаться въ томъ, такъ близокъ мнѣ, что мнѣ приходится постоянно бороться съ нимъ“²⁾),

²⁾ Соч. т. X, стр. 452.

въ томъ-же восьмомъ томѣ, въ которомъ осуждается мораль исправленія, какъ безнадежный способъ спасти безнадежно погибшихъ людей, мы встрѣчаемъ, въ предисловіи къ статьѣ о Вагнерѣ, слѣдующія слова: „я, такъ-же какъ и Вагнеръ, сынъ нашего времени, decadent: только я понималъ это и боролся съ этимъ, философъ во мнѣ боролся съ этимъ“¹⁾. Но вѣдь самая борьба, какъ мы сейчасъ видѣли, есть только „болѣзнь“, только новое выраженіе декадентства. Значить, вся дѣятельность Нитше сходитъ на нѣтъ и онъ, несмотря на попытки самоизлѣченія, остался тѣмъ-же декадентомъ, какими были, по его словамъ, Сократъ и Вагнеръ? Какъ выйти изъ этого основного противорѣчія? Признать - ли, что Нитше несправедливо осудилъ современность, а съ нею Вагнера и Сократа, или, наоборотъ, согласиться, что борьба съ декадентствомъ есть тоже декадентство и отнести самого Нитше къ разряду безнадежныхъ, ненужныхъ людей? Вопросъ, какъ видите, существенный, огромный — но изъ за огромности вопроса не слѣдуетъ забыть отмѣтить характерную психологическую черту. По поводу Сократа Нитше необыкновенно рѣшительно выступилъ съ сужденіемъ о бесплодности всякаго рода попытокъ къ борьбѣ съ „декадентствомъ“, и даже тысячелѣтняя, никѣмъ доселѣ не оспаривавшаяся слава мудреца не заставила его смягчить свой приговоръ о знаменитомъ грекѣ. Когда-же дѣло коснулось его самого—теоріи словно не бывало. Оказывается, что не только можно бороться съ декадансомъ, но что за такой борьбой обезпеченъ вѣрный успѣхъ — хватило

¹⁾ Соч. т. VIII стр. IX.

бы лишь мужества, настойчивости и энергій. „Сама жизнь, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Нитше, вознаграждаетъ насъ за нашу упорную волю къ жизни, за такую длинную борьбу, какъ та, которую велъ я тогда съ собою противъ пессимизма жизненной усталости... Мы получаемъ за это отъ нея великій даръ, величайшій изъ всѣхъ, которые она въ состояніи дать—намъ возвращается наша жизненная задача“¹⁾. Но, Сократъ-ли не проявлялъ мужества и энергій? А ему это не пошло въ прокъ! Нитше-же спасся и считаетъ себя вправѣ вновь принять на себя великую миссію учителя людей, для которой оказался негоднымъ Сократъ.—Я сопоставилъ здѣсь два противорѣчивыхъ сужденія Нитше не затѣмъ, конечно, чтобъ уличать его въ непоследовательности. Здѣсь важно лишь то обстоятельство, что онъ, имѣя всѣ „объективныя“ данныя причислить себя къ погибшимъ людямъ, декадентамъ, Сократамъ—не только не причислил себя къ этой категоріи, но наоборотъ торжественно и увѣренно отдѣлилъ себя отъ нея. Въ этомъ сказалась не черта Нитше, а черта общечеловѣческая. Никто изъ насъ, несмотря ни на какую виѣшнюю очевидность, не подпишетъ себѣ нравственнаго приговора. Это неотъемлемное свойство человѣческой природы, о которомъ большинство людей, благодаря разнаго рода возвышеннымъ ученіямъ, ничего и не слыхало. Не слыхалъ объ этомъ и Нитше, пока учился у Вагнера и Шопенгауера. Но уже въ „Menschliches, Allzumenschliches“ онъ даетъ себѣ объ этомъ ясный отчетъ, „есть-ли у человѣка змѣиное жало или нѣтъ, объ этомъ можно узнать не прежде, чѣмъ когда кто нибудь наступитъ на него пятой. Женщина или мать ска-

зала-бы: не прежде, чѣмъ когда кто нибудь наступитъ ногой на любимаго человѣка или ея дитя.—Нашъ характеръ гораздо больше опредѣляется отсутствіемъ извѣстнаго рода переживаній, чѣмъ тѣмъ, что мы пережили“¹⁾. Такъ было у самого Нитше. Пока обстоятельства складывались благоприятно, могли бы кто нибудь (и онъ самъ въ томъ числѣ) заподозрить въ этомъ кроткомъ, мягкомъ, умѣвшемъ быть такъ глубоко и безкорыстно преданнымъ человѣкѣ „змѣиное жало“ или, оставивъ метафо-

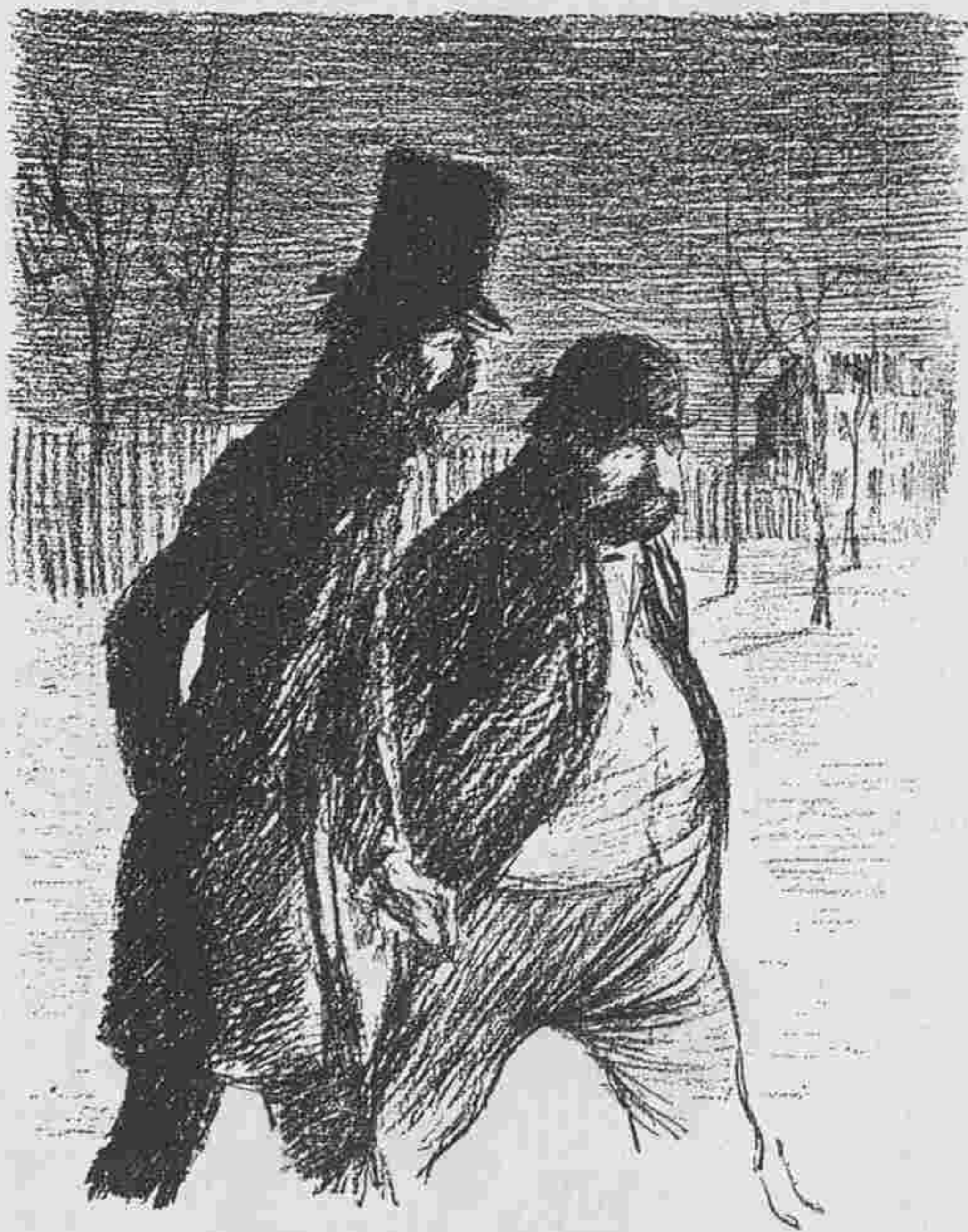
¹⁾ Соч. т. III, стр. 33



Н. Гюаръ (С. Нюард).
„Въ Парижѣ“.

¹⁾ Соч. т. III, стр. 10.

ры, ту крайнюю степень эгоизма, которая привела подпольнаго человѣка къ дилеммѣ: существовать-ли міру или пить чай ему, подпольному герою? Могъ-ли кто-нибудь, повторяю, глядя на Нитше, съ такимъ самоотверженіемъ и съ такой осмысленной настойчивостью отдавашаго всю душу свою служенію наукѣ и искусству, предположить, что не наука, и не искусство, и не міръ, и не человѣчество служило для него главной цѣлью? И что въ тотъ моментъ, когда волею судебъ предъ Нитше предстанетъ уже не теоретически, а практически вопросъ—что сохранить, воспѣтыя-ли имъ чудеса человѣческой культуры или его одинокую, случайную жизнь, онъ принужденъ будетъ отказаться отъ завѣт-



France est épatante j'sais bien, mais j'trouve Flore mieux élevée.

К. Гюаръ (С. Huard).
„Провинція“.

нѣйшихъ идеаловъ своихъ и признать что вся культура, весь міръ ничего не стоятъ, если нельзя спасти одного Нитше? Эта мысль казалась ему безумной; онъ до конца своей жизни не могъ цѣлкомъ принять ее и чѣмъ упорнѣе она его преслѣдовала, тѣмъ страстнѣе онъ стремился избавиться отъ нея или, по крайней мѣрѣ, поставить ее въ зависимость отъ какого нибудь идеала. Она пугала его тѣми опустошеніями, которыми она несла съ собой людямъ, она представлялась ему чудовищной по своей бесплодности, ибо кромѣ уничтоженія и отрицанія, кромѣ нигилизма, она, по видимому, ничего не могла дать. Но отречься отъ нея было не такъ легко. Нитше не первый и не послѣдній боролся съ ней. Мы видѣли, какія неимоверныя усилія дѣлалъ гр. Толстой, чтобъ вырвать съ корнемъ, выкорчевать изъ своей души всѣ остатки эгоизма. Или Достоевскій. Но эгоизмъ не только не ослабѣвалъ, а усиливался, и все въ новой формѣ предъявлялъ свои права: у него, какъ у сказочнаго змѣя, вмѣсто каждой отрубленной головы являлись двѣ новыя. Такъ было и съ Нитше. Онъ торжественно заявляетъ: „ты долженъ воочию убѣдиться, что несправедливость сильнѣе всего проявляется тамъ, гдѣ мелкая, узкая, бѣдная, элементарная жизнь не можетъ удержаться отъ того, чтобы ради своего сохраненія не подкапываться изподтишка, но неизмѣнно и неустанно, и не оспаривать права всего болѣе высокаго, великаго, богатаго“¹⁾. Въ этихъ словахъ выражается не личное сужденіе Нитше, какъ можетъ

¹⁾ Соч. т. II, 11.

показаться съ перваго взгляда. Здѣсь оригинальна только форма, мысль-же стара, какъ міръ. Укажите мнѣ философа или моралиста, который не считалъ-бы своей обязанностью превозносить богатую и высокую жизнь въ ущербъ бѣдной и узкой? Только въ Евангеліи сказано: блаженны нищіе духомъ, но современная да и не только современная, а всякая, когда-либо существовавшая наука, понимала эти слова очень условно или, если уже говорить прямо, вовсе ихъ не понимала и съ привычной почтительностью обходила ихъ, какъ обходятъ на большихъ собраніяхъ старыхъ, заслуженныхъ, но никому не нужныхъ и приглашенныхъ лишь для приличія гостей. Всѣ знали, что блаженны богатые духомъ, а нищіе жалки и нынѣ и во вѣки вѣковъ. Въ сужденіи Нитше заключается лишь эта давно всѣмъ извѣстная аксіома. Онъ, возставшій противъ всего, не только не дерзнулъ оспаривать ее, но безусловно принялъ ее за догматъ, за *poli me tangere*. Но, если онъ на словахъ отдалъ дань такъ глубоко вкоренившемуся въ насъ предрасудку, то всей своей жизнью онъ осуществилъ прямо противоположный принципъ. Вѣдь нищій-то духомъ былъ онъ самъ. Вѣдь онъ-то и подкапывался, онъ-то и подвергалъ сомнѣнію все великое, высокое и богатое, и единственно затѣмъ, чтобы оправдать свою жалкую и бѣдную жизнь—хотя этотъ мотивъ всегда у него необыкновенно тщательно и послѣдовательно скрывается. Въ дневникѣ 1888 года онъ самъ такъ объясняетъ смыслъ „*Menschliches, Allzumenschliches*“: „это была война, но война безъ пороку и дыма, безъ военныхъ приемовъ, безъ паѳоса, безъ



— Tout ce que vous voudrez, mais sous l'Empire les trains n'avaient pas de ces retards!

К. Гюаръ (С. Huard).
„Провинція“.

искалѣченныхъ членовъ—все это было-бы еще идеализмомъ. Здѣсь лишь спокойно кладется одно за другимъ на ледъ рядъ заблужденій: идеаль не опровергается, а замораживается. Здѣсь, на примѣръ, замерзаетъ „геній“; немного дальше—„святой“; еще дальше герой обращается въ толстую ледяную сосульку; подъ конецъ замерзаетъ „вѣра“, такъ называемое „убѣжденіе“; значительно охлаждено и состраданіе—почти всюду окончѣвается „*Ding an sich*“¹⁾. Это удивительно мѣткая характеристика „*Menschliches, Allzumenschliches*“: въ немногихъ словахъ—полный итогъ двухъ большихъ книгъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ—это только вариация на обсуждающуюся нами сейчасъ тему о „бѣдной, элементарной жизни“, дерзающей подвергать сомнѣнію

¹⁾Förster—Nietzsche. Das Leben Friedrich Niefzsche's; т. II, стр. 296.

законность правъ всего болѣе высокаго, богатаго и т. д. Нитше „замораживаетъ“ все, что отъ вѣка чтилось людьми, осмѣиваетъ героя, генія, святого. И когда же? Въ 1876-8 годахъ, когда въ немъ едва только теплились послѣдніе остатки жизни, когда всѣ свои силы онъ, по собственному признанію, растратилъ, расточилъ безъ пользы для себя и для другихъ. Какъ видите, „убѣжденіе“ или, если хотите, теорія—одно, а практика—другое. Помнится, гр. Толстой ужасно возмущался такимъ отдѣленіемъ теоріи отъ практики. Должно быть, говорилъ онъ, есть ужасно много глупыхъ теорій, если можетъ существовать такое мнѣніе. Еще-бы не много! Я спросилъ-бы, есть-ли хоть одна „умная“ теорія? И могъ-ли бы гр. Толстой быть тѣмъ, что онъ есть, если-бы онъ держался своихъ теоретическихъ взглядовъ въ жизни? Если-бы онъ точно „отрекся отъ себя“ и гдѣ нибудь въ тиши, далеко отъ всѣхъ глазъ, никѣмъ не видимый, никому не слышный, проводилъ свои дни за плугомъ или въ благочестивой бесѣдѣ съ сосѣдями-мужиками? Или, что было-бы съ Нитше, если-бы онъ добровольно подчинился выводамъ своего „ума“? Но, къ счастью, выводамъ мало кто покоряется. Есть въ глубинѣ человѣческой души иная, могучая, неудержимая сила. Она владѣетъ нами и смѣется надъ „свободой воли“, которая—въ томъ значеніи, какое ей обыкновенно

придаютъ—привела-бы насъ къ самымъ безумнымъ поступкамъ. Эта „воля“ соблазнила Нитше осудить Сократа. Да кого только Нитше (и гр. Толстой) не осуждалъ? И что было-бы съ человѣческимъ родомъ, если-бы всѣ такого рода осужденія не оставались пустыми звуками, а имѣли бы власть надъ дѣйствительной жизнью? Но свободная воля, вольна только надъ тѣмъ человекомъ, которому она принадлежитъ. И, въ единственномъ случаѣ, когда ея приговоры могли-бы что нибудь значить—она благо-разумно отказывается отъ своихъ правъ, словно инстинктомъ чуя, что она ничего, кромѣ бѣды, принести не можетъ.

Этимъ и разрѣшается противорѣчіе въ сужденіи Нитше о Сократѣ и о самомъ себѣ. Его слова о Сократѣ были теоріей. Какое намъ до нея дѣло? Но въ своихъ сочиненіяхъ онъ намъ рассказываетъ свою жизнь, ту бѣдную жизнь, которая подкапывалась подъ все высокое и великое, которая, ради своего сохраненія, подвергала сомнѣнію все, чему поклонялось человѣчество. Это дѣло иное. Тутъ свободная воля умолкла, тутъ чуть слышенъ обычный шумъ, сопровождающій всегда разсужденія о „богатой жизни“. Можетъ быть, среди этой тишины донесутся до насъ новыя слова, можетъ быть, откроется правда о человѣкѣ, а не опостылѣвшая и измучившая всѣхъ человѣческая правда.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Л. Шестовъ.





Г. Тома (H. Thoma).

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗГОВОРЫ.

(Опытъ религиозно-философскаго міросозерцанія).

Разговоръ пятый.

I.

Послѣ холодной, невѣрной весны наступило наконецъ лѣтнее тепло, щедрое, всеблагое. Гора, на которой расположена наша санаторія, обсохла отъ тумановъ и закуталась въ зелень и въ благоуханіе. Хотя здѣшніе врачи въ своихъ книгахъ утверждаютъ, что чихотка легче излечивается въ сыромъ, закаляющемъ климатѣ Германіи, чѣмъ подѣ избѣживающими лучами итальянскаго солнца, однако теперь, съ наступленіемъ жаркихъ дней, они ободрились и гонятъ больныхъ въ зелень, на свѣтъ солнца. Мы всѣ покупаемъ складныя кресла, удобныя для лежанія, и послѣ обѣда происходитъ всеобщее переселеніе изъ галлерей въ паркъ. Всѣ дороги и лужайки пестрятъ импровизованными постелями, на которыхъ нѣмцы возлагаютъ цѣлыми колоніями, а англичане попарно или въ одиночку. Владиміръ Ивановичъ неузнаваемъ. Онъ оправился отъ простуды, не лихорадитъ и даже слегка прибавился въ вѣсѣ. Мы облюбовали на ближайшей лужайкѣ мѣсто подѣ сосной, защищающей насъ отъ солнца, и проводимъ тамъ большую

часть дня. Въ тонѣ нашихъ разговоровъ произошла какая-то очень тонкая и важная перемена. То неуловимое сопротивление, то легкое упирание, которое я до сихъ поръ чувствовалъ въ мысляхъ и словахъ своего собесѣдника, теперь безслѣдно исчезло. Въ чемъ-то самомъ большомъ и завѣтномъ онъ безповоротно со мною согласился, и теперь я могу спокойно идти впередъ, зная, что онъ за мною слѣдуетъ съ такимъ-же спокойнымъ довѣріемъ. Я сталъ замѣчать, что съ каждымъ разомъ бесѣды эти доставляютъ намъ все больше внутренняго удовлетворенія. Насъ не покидаетъ чувство правоты и неразрывной съ нею радости.

Стоялъ палящій послѣобѣденный зной. Больные, лежа на раскидныхъ стульяхъ въ тѣневой части деревьевъ и подѣ защитою зонтиковъ, не просто отдыхали, а съ величайшею дисциплиною не мѣшали отдыхать другъ другу, чтобы въ условленный часъ—ровно въ четыре—всѣмъ сразу проснуться и продолжать прерванное сномъ благодушно-дешевое время препровожденіе. Мы съ Владиміромъ Ивановичемъ пріютились въ тѣни душистыхъ хвойныхъ вѣтвей, по временамъ передвигая свои

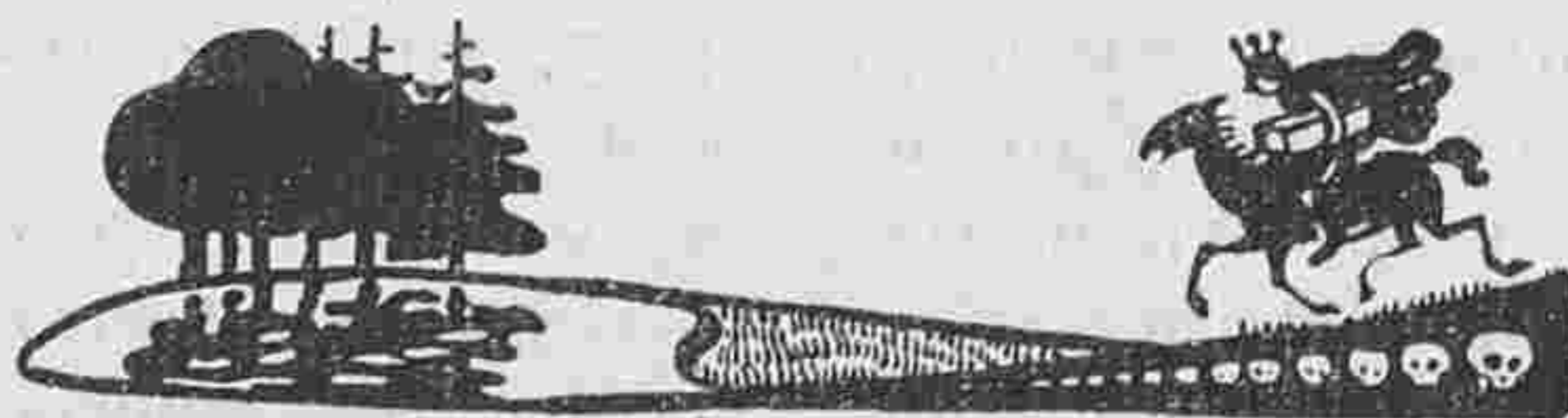


*И. Ташнеръ (I. Taschner).
Иллюстр. къ сказкамъ. бр. Гриммъ.*

стулья и медленно, вслѣдъ за солнцемъ, по направленію часовой стрѣлки, вращаясь вокругъ своей сосны. Слишкомъ яркое солнце обезцвѣчивало всѣ краски и только клумбы съ кровавой розанелью пламенѣли неестественно ярко, напоминая страстное слово, вдругъ прозвучавшее среди всеобщаго оцѣпененія. Я первый прервалъ молчаніе.

— Эта жизнь въ саду, сказалъ я, напоминаетъ мнѣ дѣтскія мечты о раѣ. Меня всегда занималъ вопросъ о томъ, зачѣмъ Богъ посадилъ среди рая дерево жизни, если отъ плодовъ его никто не ѣлъ? Но въ нашемъ, человѣческомъ раю, насажденномъ нашими собственными трудами и неотъемлемомъ, мы всѣ ѣдимъ отъ этихъ плодовъ. Въ нашемъ раю дерево познанія добра и зла называется наукой,

а дерево вѣчной жизни—религіей. Это удивительное дерево отличается отъ всѣхъ другихъ дѣвѣтъ, что оно цвѣтетъ чрезвычайно рѣдко, чуть-ли не одинъ разъ въ тысячу лѣтъ. Фальшивые цвѣты, вѣрнѣе, цвѣтущая плѣсень, въ видѣ безчисленныхъ сектъ и ересей, непрестанно окутываетъ его стволъ и вѣтви, и весьма часто этотъ яркій мохъ и плѣсень принимаются за новые цвѣты. Создаются непрерывно новыя религіи, но всѣ онѣ погибаютъ вмѣстѣ со своими творцами и раньше ихъ. Мнѣ вообще кажется, что истинная религія не создается, или не такъ создается, какъ произведеніе искусства или какъ научная теорія. Очень медленно и гдѣ-то на большой глубинѣ ветшаютъ и разлагаются ткани старой религіи и складываются



*И. Ташнеръ (I. Taschner).
Иллюстр. къ сказкамъ. бр. Гриммъ.*



*И. Ташнеръ (I. Taschner).
Иллюстр. къ сказкамъ. бр. Гриммъ.*

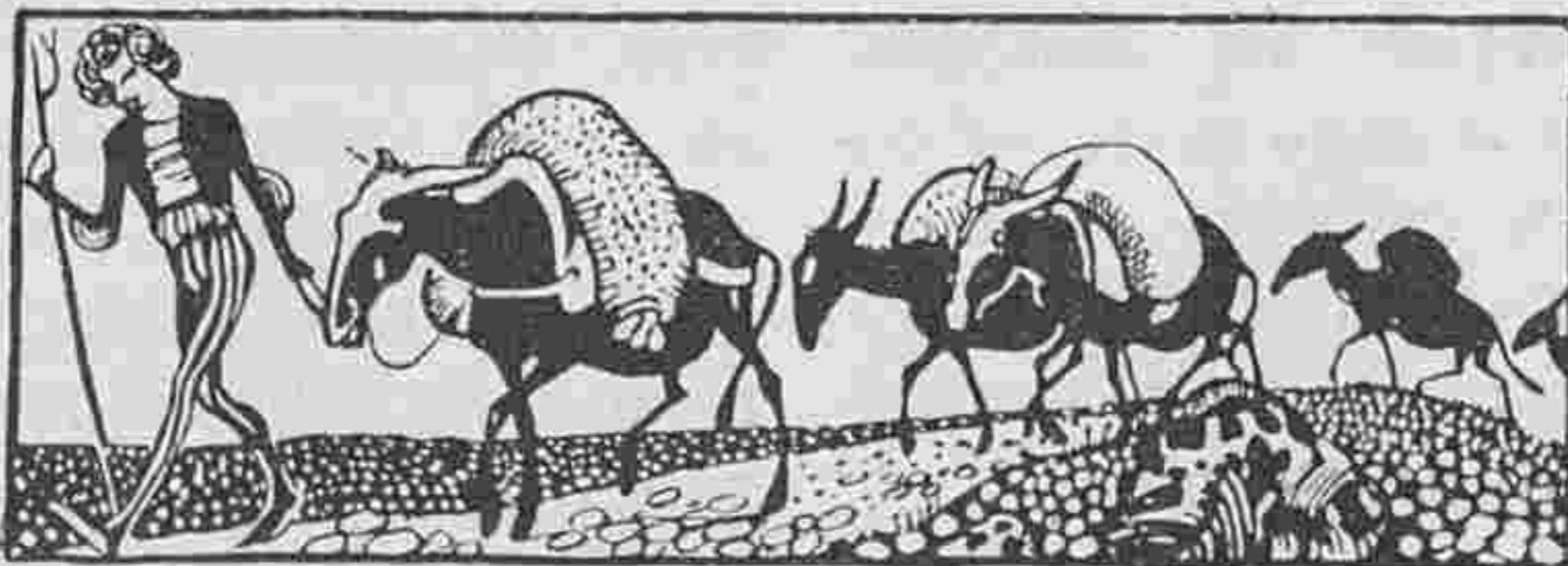
ткани новой. Необходимо, чтобы пере-рожденію подверглись самыя основныя отношенія души къ міру и къ себѣ са-мой. И еще необходимо, чтобы со-вершенно кончилась переходная пора броженій и чтобы новое содержаніе души пришло въ устойчивое равновѣсіе. И когда весь этотъ тайный процессъ окончился, когда цвѣтъ и строй души измѣнились, достаточно одного вдохно-веннаго слова, одного порыва чистаго сердца, чтобы на деревѣ вѣчной жизни внезапно расцвѣлъ и вспыхнулъ тыся-челѣтній цвѣтокъ.

— И я знаю,—съ улыбкой отвѣтилъ мнѣ Владиміръ Ивановичъ,—что по ва-шей мысли время расцвѣта уже близко.

— Да,—отвѣтилъ я,—такова моя увѣ-

ренность. Въ противоположность мно-гимъ, называющимъ наше время вѣкомъ отрицанія и безбожія, я, наоборотъ, чув-ствую, что мы живемъ наканунѣ вели-чайшаго духовнаго праздника, на ко-торомъ присутствовать дано только из-браннымъ поколѣніямъ. Люди и книги нашихъ дней окружены атмосферой чего-то утонченно-религіознаго, какъ будто тысячелѣтній цвѣтокъ, раньше чѣмъ распуститься уже наполнилъ своимъ ароматомъ небо и землю.

— А материализмъ нашихъ дней?— прервалъ меня мой собесѣдникъ. А то, что вы зовете культомъ комфорта и спор-та? И вообще вся наша газетно-рекламно-биржевая культура,—неужели все это окружено атмосферой религіозности?



*И. Ташнеръ (I. Taschner).
Иллюстр. къ сказкамъ. бр. Гриммъ.*

— Вы мнѣ указываете,—отвѣтилъ я,—на толпу, на гниющую почву, а я говорю о цвѣтахъ, питающихся этой почвой. То, что называется современной культурой, купля и продажа мнѣній и чувствъ, маскирующихъ грубую чувственность, все это, конечно, презрѣнно и вызываетъ гнѣвъ и негодование. Но исключительно гнѣваться и негодовать на людей можетъ только тотъ, кто въ узорахъ человѣческихъ судебъ не провидитъ рисунка божественнаго. Люди творятъ и пишутъ много лжи, но сами они—іероглифы, которыми написана истина. И когда этотъ скрытый рисунокъ мелькнетъ передъ нами, наше отношеніе къ узору жизни мѣняется, и даже грубая чувственность, и даже грубый матеріализмъ зажигаются внутреннимъ лучемъ. Я хорошо знаю, что прежняя религіозность выдохлась въ людяхъ, что новая еще не народилась, но я чувствую, что она нарождается. Можетъ быть, преждевременно говорить о новой религіи, ибо для рожденія религіи необходимо, чтобы въ кругъ божественныхъ идей еще вступила личность, обаятельная своимъ существомъ и своей судьбой. Но религія безъ личности, новое религіозное міросозерцаніе несомнѣнно у порога. Всѣ элементы, изъ которыхъ оно создается, уже налицо. Мы сами не знаемъ, какъ прекрасна стала наша жизнь. На тѣхъ-же улицахъ, въ тѣхъ-же домахъ, гдѣ хлещетъ волна культурной пошлости, живутъ мечтатели и труженики, которые, не сговорившись между собою и даже часто не сознавая цѣли своихъ трудовъ, готовятъ священные предметы для будущаго служенія. И въ этой полусознательности залогъ ихъ великой искренности.

— Отъ вашихъ словъ вѣтъ большою вѣрою въ людей,—сказалъ Владиміръ Ивановичъ.

— Чѣмъ пристальнѣе я вглядываюсь въ современныя сумерки,—отвѣтилъ я,—тѣмъ явственнѣе выступаютъ передо мною какія-то вѣчныя черты. Каждая религія даетъ намъ два верховныхъ блага, безъ которыхъ жизнь была-бы хаотично - мутна. Во-первыхъ, религія даетъ намъ мистическое оправданіе міра, объясненіе страданій и зла и примиреніе съ ними въ легендѣ о Богѣ, а во вторыхъ, верховный законъ нравственной дѣятельности. Легенда и путь жизни— вотъ два хлѣба, созерцательный и практической, которые религія предлагаетъ своимъ дѣтямъ. Легенда, это-то верховное благо жизни, которое не отъ міра сего, которое, какъ свѣтъ солнца, какъ дыханіе, дается людямъ даромъ, безъ ихъ усилій и заслугъ, по благодати божіей и созерцается въ одной только вѣрѣ (или увѣренности), безъ участія жертвы или подвига. Передъ божественной легендой всѣ равны, и религія, какъ легенда, сама не признаетъ ни добра, ни зла, ни праведника, ни грѣшника, но всѣмъ свѣтитъ одинаково. Религія, какъ путь жизни, отрицаетъ войну, но она-же, какъ мистическое примиреніе со зломъ, сопровождаетъ обоихъ противниковъ на поле битвы и какъ-бы сама съ собою сражается. Религія, какъ законъ нравственности, отвергаетъ убійство, но она, какъ легенда о творцѣ міра, сопровождаетъ убійцу на ступени эшафота и цѣлуетъ его въ искривленную предсмертной судорогой уста. Религіозная легенда воплощаетъ въ себѣ самый строй человѣческой души, и уже подъ строгимъ надзоромъ этой легенды строится другое благо религіи, то, которое отъ міра сего и содержитъ верховный нравственный законъ.

И вотъ я не только утверждаю, что мы такъ-же нуждаемся въ мистическомъ примиреніи съ жизнью и высшемъ за-



II. Элла (P. Helleu).
Pointe-sèche.

конѣ нравственности, какъ наши отцы и предки, но я увѣренъ, что это примиреніе и законъ въ насъ уже живыи только ждуть своего выраженія. У насъ свой собственный душевный строй и перенесенная съ берега Ганга, въ Элладу, въ Іудею наша душа звучала-бы не въ униссонъ съ жившими тамъ душами. Наша душа настроена для новой легенды и новой морали, и въ пантеонѣ религіознаго познанія имѣеть право на свой собственный придѣлъ.

Прислушайтесь къ строю своей души и скажите, правъ-ли я. Во всѣ времена человекъ мирился со страданіями и зломъ жизни въ идеѣ объ искупленіи. Жизнь принималась, какъ первородный грѣхъ или первобытное зло, которые человекъ долженъ искупить страданіями и въ этой вѣрѣ таилось двойное примиреніе: со зломъ, которое ведетъ къ радости искупленія, — со страданіями, которыми оно искупается. Причину первобытнаго зла религіозная легенда прозрѣвала въ волѣ міровой, а первороднаго грѣха въ волѣ человеческой. Буддизмъ считалъ зломъ самую волю къ жизни, законъ причинности, силу созиданія, весь трудный, обманчивый путь Samsara и ни въ чемъ, кромѣ искупленія, не находилъ утѣшенія. „Какъ великое море, ученики, проникнуто однимъ вкусомъ, вкусомъ соли, точно также, ученики, и это ученіе проникнуто только однимъ вкусомъ—вкусомъ искупленія“. Греческая легенда сняла съ человека часть великой тяжести и рядомъ съ безжалостной судьбой, виновницей нашихъ бѣдствій, сдѣлала властелинами жизни еще прекрасныхъ, счастливыхъ боговъ, если и не воодушевленныхъ любовью къ людямъ, то благожелательныхъ и уступчивыхъ. Еврейская легенда шла еще дальше: она совершенно сняла съ Бога отвѣтственность за страданія жизни

и всецѣло возложила ее на человека, который собственнымъ грѣхомъ изгналъ себя изъ рая блаженства и осудилъ на страданія. Примиреніе заключалось въ сознаніи своей личности (если страдать, то по своей волѣ) и возможности замолить первородный грѣхъ передъ всеблагимъ Богомъ. Христіанство и тутъ превратило робкое мерцаніе въ ослѣпительный свѣтъ. Никто иной, какъ самъ Богъ, изъ безкорыстной любви къ людямъ, беретъ на себя ихъ грѣхи и собственными страданіями искупаетъ ихъ. По отношенію къ христіанской легендѣ слова „примиреніе съ жизнью“, кажутся блѣдными и незначущими. Она устраняетъ грѣхъ и освящаетъ страданія, которыя добровольно вкусилъ Господь изъ любви къ міру. Искупленная отъ первороднаго грѣха, искупанная въ священной крови Бога, душа не только освобождается отъ тяжести первобытной вины, но становится легче всего, что на землѣ, пріобрѣтаетъ неудержимое стремленіе къ небу. Прежняя цѣль страданій—необходимость искупленія—изчезла, и жизнь окрылилась новою цѣлью—добровольнымъ желаніемъ подражать Богу. Жить, какъ жилъ воплотившійся Господь, страдать, какъ страдалъ Господь, любить, какъ любилъ Господь.

— Здѣсь въ самомъ дѣлѣ конецъ пути, — воскликнулъ Владиміръ Ивановичъ.

— Конечно, отвѣтилъ я. Въ христіанской легендѣ таились блага, которыя лишь медленно могли быть усвоены душою и претворены въ кровь жизни, и одному Богу извѣстно, когда и какъ совершался этотъ таинственный процессъ. Но онъ совершился, и вотъ современный человекъ съ изумленіемъ сознаетъ, что онъ не только считаетъ первородный грѣхъ уже искупленнымъ, но что самое понятіе о грѣхѣ какъ-то

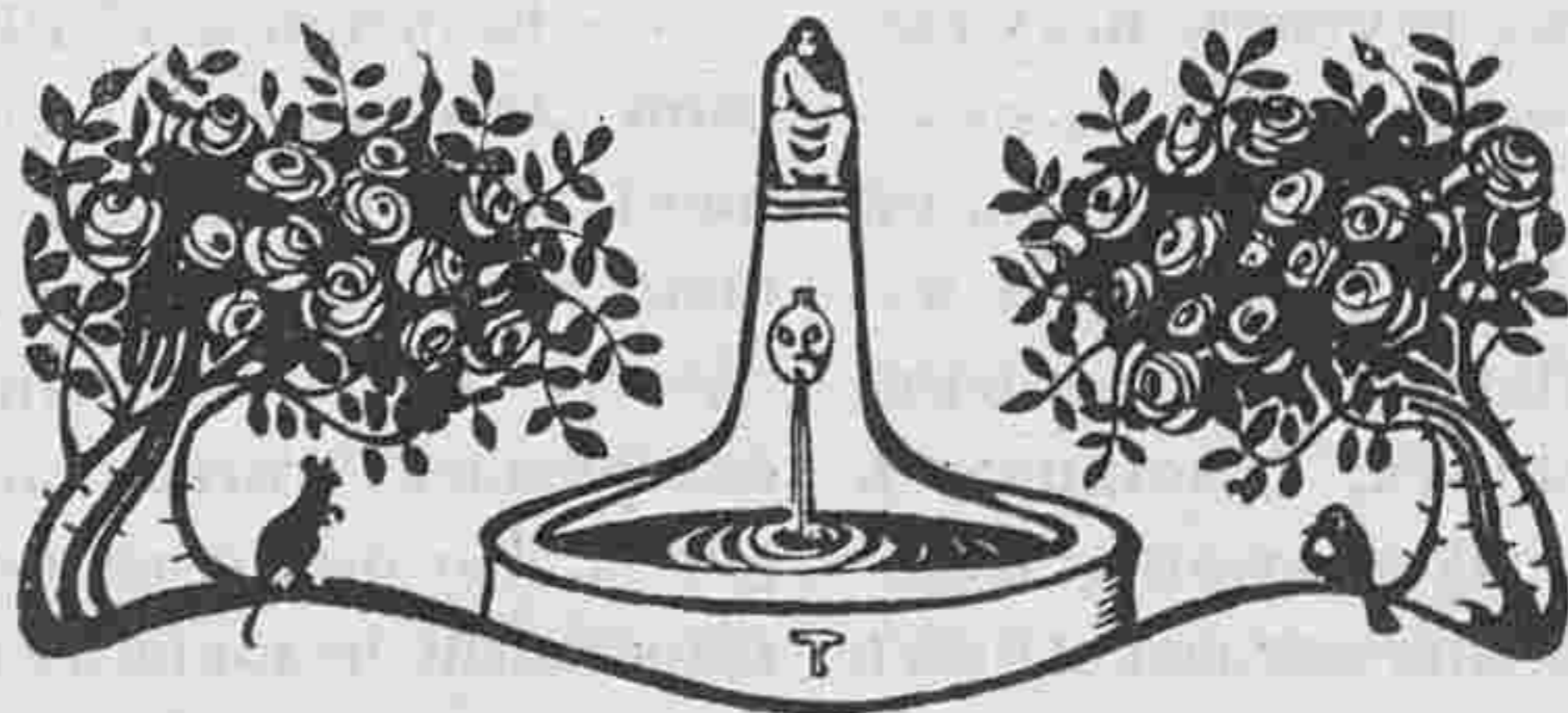
испарилось въ немъ, безслѣдно улетучилось, какъ облако, которое еще недавно было прекрасно тѣмъ, что отражало лучи солнца, а теперь навсегда растаяло среди красоты лазури. Такое отрицаніе грѣха, какъ я сказалъ, сокровеннымъ зерномъ уже заложено было въ христіанской легендѣ Вѣдь что такое вся христіанская легенда, какъ не вѣра въ непостижимую любовь Бога къ міру, столь безпредѣльную, что Богъ, движимый ею, приноситъ Сына Своего въ жертву Себѣ Самому за созданный Имъ міръ на алтарѣ этого-же міра. Искупленіе отъ грѣха раскрывается здѣсь, какъ искупленіе отъ возможности грѣха. Жертва Агнца предназначена Отцомъ еще прежде созданія міра, и моментъ Голгоѣы сливается воедино съ днемъ мірозданія. Уже изъ рукъ любвеобильнаго Отца міръ вышелъ искупленный отъ возможности грѣха и очищенный божественною жертвой.

Впрочемъ, нужно сознаться, что современный человѣкъ рѣдко мыслить связь между своимъ душевнымъ строемъ и религіозными легендами прошлаго. Но понятіе о грѣхѣ, какъ о чемъ-то отвѣтка запретномъ и подлежащемъ искупленію, какъ-то потеряно имъ, какъ-то



вышло изъ его сознанія. Еще менѣе мы постигаемъ первобытный грѣхъ. Оглядываясь на отдаленнѣйшее прошлое вселенной, мы не открываемъ момента, когда-бы на нее могло лечь это грѣховное пятно. Міръ въ состояніи разрѣженной газообразной матеріи былъ чистъ отъ грѣха. Но и появленіе на землѣ органической жизни, трепеть перваго сердца, открытіе первой пары глазъ не

было паденіемъ, а, наоборотъ, первую ступенью въ той лѣстницѣ, которая ведетъ къ богопознанію. И, поднимаясь со ступени на ступень, отъ слѣпой прожорливости червя до кротости умирающаго Сократа, мы постоянно видимъ совершенствованіе и какъ бы присутствуемъ при какомъ-то вселенскомъ солнечномъ восходѣ. Мы не можемъ отказаться отъ увѣренности, что исторія міра есть повѣсть не о паденіи, но о возникновеніи и ростѣ. Возможно, что со временемъ она превратится въ повѣсть объ упадкѣ и умираніи, но если старость и смерть сами по себѣ не грѣхъ, то невозможно указать, что-же собственно должно быть названо грѣхомъ въ исторіи жизни.



И. Ташнеръ (I. Taschner).
Иллюстраціи къ сказкамъ бр. Гриммъ.



Ю. Дицъ (J. Diez).

II.

— Сознаюсь, — сказалъ послѣ раздумья Владиміръ Ивановичъ, — что понятіе о грѣхѣ выпало также изъ моего сознанія. Въ прежніе годы, когда я столько силы тратилъ на развратъ и на игру, я часто думалъ объ этомъ. Бывало, сознаю, что гибну, что какое-то низшее существо во мнѣ тянетъ меня въ омутъ. Хочу противиться, упереться, но подъ ногами нѣтъ опоры, потому что знаю, что въ низкихъ желаніяхъ этого низшаго существа нѣтъ грѣха. Ему отрадно напиться и непотребничать, — во имя чего стану я отказывать ему въ наслажденіи, въ которомъ нѣтъ грѣха? Но какъ совмѣстить все это? Нѣтъ грѣха, а есть зло. Нѣтъ грѣха, а есть преступленіе, преступная воля, звѣрская жестокость, коварство и сопровождающее ихъ чувство стыда и муки. И, конечно, есть страданія.

— Все это существуетъ, — отвѣтилъ я, — и зло, и преступленіе, и страданія. Но съ душевнымъ мракомъ случилось тоже самое, что съ мракомъ физическимъ. Въ древности, для того, чтобы объяснить чередованіе свѣта и темноты,

люди должны были допустить существованіе двухъ силъ, свѣтлой и темной, которыя борются между собою и поочередно одолеваятъ одна другую. Современная же наука признаетъ только силу свѣта; особенной силы темноты физика не изучаетъ, а темнота понимается какъ сравнительно скудный свѣтъ. Тоже самое произошло въ мірѣ нравственномъ. Болѣе глубокое изученіе духовной жизни убѣдило насъ, что движущая сила духа только одна — сила божественнаго свѣта, сила добра, сила разума. Міръ, купленный при самомъ своемъ рожденіи божественною жертвою, не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ поприщемъ растущаго добра. Но это условіе добра — его ростъ и совершенствованіе — необходимо предполагаетъ различныя степени его — отъ самой низкой до самой высокой. И вотъ низшая степень добра, въ сравненіи съ высшими, кажется намъ зломъ и преступленіемъ, тѣмъ большимъ зломъ, чѣмъ больше путь, который душа сблала, возвращаясь, падая съ высшихъ ступеней добра къ низшимъ, уже когда-то пройденнымъ ею или другими. Подобно тому, какъ яркій источникъ свѣта является причиною тѣ-

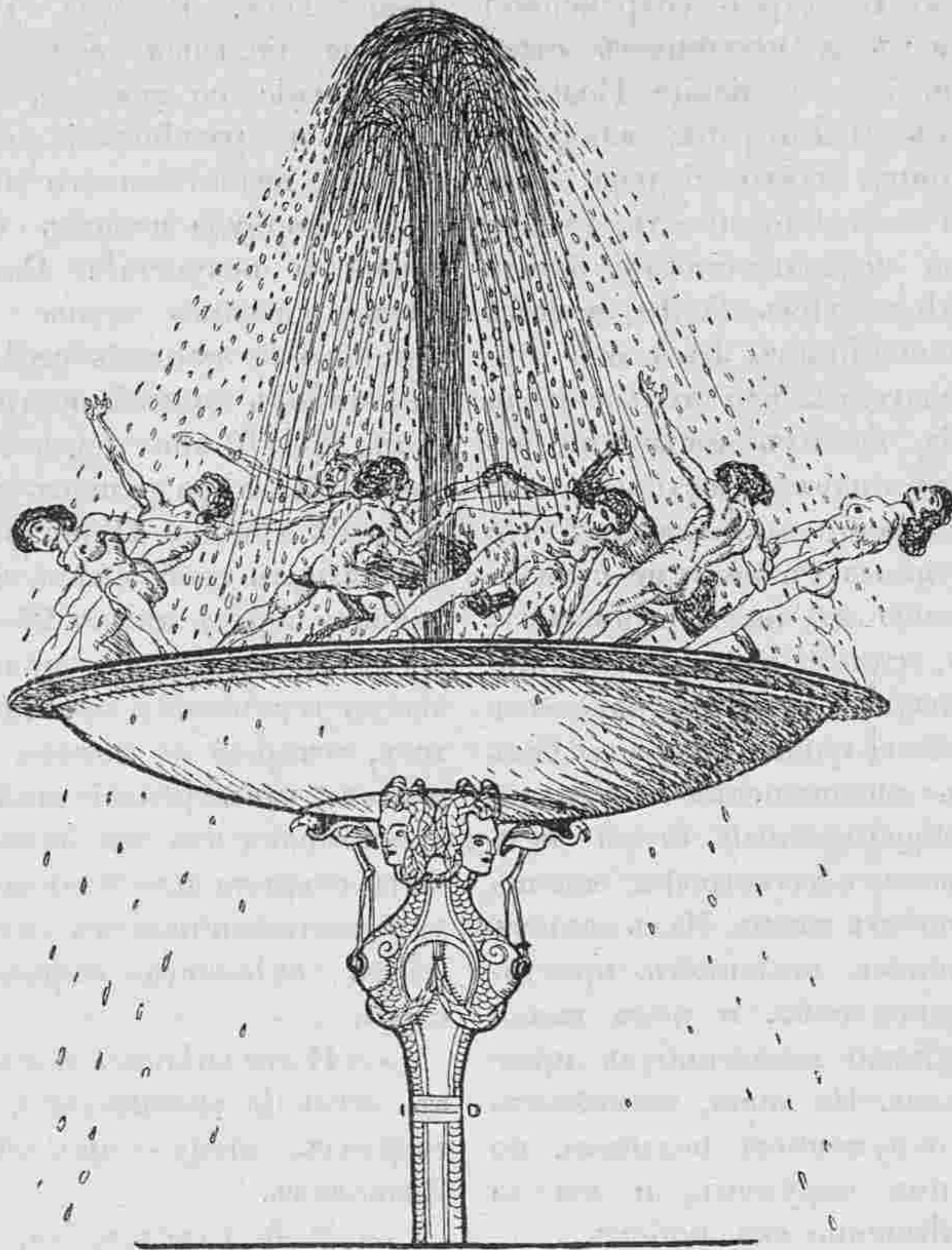
ней, такъ самая природа добра обуславливаетъ необходимость зла. И кто дѣйствительно любитъ добро жизни, тотъ уже какъ-то поневолѣ примирился съ ея зломъ. Вотъ это полное отреченіе, почти невѣдѣніе грѣха и взглядъ на зло, какъ на подчиненное начало жизни, какъ на тѣневую часть въ яркомъ рисункѣ мірозданія,—все это я и называю новымъ строемъ современной души, отличающимъ насъ отъ всѣхъ ранѣе жившихъ на землѣ.

— Въ этомъ примиреніи со зломъ,—сказалъ мой собесѣдникъ,—есть что-то и грустное. Оно какъ-бы обезсиливаетъ волю и мѣшаетъ намъ бороться съ тѣмъ, что мы сами признаемъ зломъ.

— Едва-ли это такъ,—возразилъ я.— Мнѣ кажется, что развѣнчавъ зло, мы этимъ самымъ лишили его прежней власти надъ душою. Въ средніе вѣка аскетизмъ, напрягая всѣ силы на борьбу съ грѣхомъ, видѣлъ въ дьяволѣ самостоятельное начало міра, недремлющаго врага, могучаго соблазнителя. И, окружая его ореоломъ силы, хотя-бы и злой, аскеты неожиданно для себя создали культъ сатанизма, черную мессу и шабашъ вѣдьмъ, ибо гдѣ сила, тамъ человѣкъ ставитъ алтарь и поклоняется. Аскеты на каждомъ шагу побѣждали бѣса, но онъ въ свою очередь одерживалъ побѣды, и люди праведной жизни посредствомъ заклинаній изгоняли его то изъ одного, то изъ другого грѣшника. Мы-же, признавая только силу свѣта и добра, сразу изгнали бѣса изъ всего человѣчества, нѣкогда имъ одержимаго, изъ всѣхъ міровъ, изъ всей вселенной, изгнали не только въ будущемъ, но и прошедшемъ. Нѣтъ, не двумя творцами созданъ міръ, не вмѣстѣ Сатаниломъ и Богомъ, а единымъ Богомъ. Злая воля не участвовала въ актѣ творенія. Богъ любви есть отецъ и свѣ-

товъ, и тѣней, и тамъ, гдѣ онъ царитъ, нѣтъ мѣста для царя тьмы. Мы побѣдили древняго врага тѣмъ, что перестали съ нимъ бороться и обратились въ сторону свѣта.

Но вы правы, говоря, что въ отрицаніи грѣха есть грустная сторона. Прежде, когда цѣль жизни заключалась въ искупленіи первороднаго грѣха, можно было не только стремиться къ этой цѣли, но и достигать ея. Человѣкъ могъ надѣяться, что, исполняя законъ Бога, онъ умилостивитъ его гнѣвъ. Но съ устраненіемъ понятія о грѣхѣ цѣлью жизни становится само божественное добро, или, вѣрнѣе, исканіе Бога въ мірѣ, и тутъ человѣкъ чувствуетъ, что онъ стоитъ на краю какой-то свѣтлой бездны. Мы стремимся къ какой-то верхней площадкѣ, господствующей надъ міромъ, но подъ нашими ногами лишь ступени да ступени. Онѣ всѣ освящены тѣмъ, что ведутъ на эту завѣтную площадку, но, увы, вѣчно ведутъ и никогда не приводятъ. Есть что-то несоизмѣримое между нами и горящей передъ нами божественной цѣлью. Міръ, стремящійся къ свѣту и свѣтъ, влекущій міръ, разносущны, и кто позналъ эту истину, тотъ уже никогда не освободится отъ безнадежной и неизцѣлимой грусти. Мнѣ кажется, что эта несоизмѣримость уже дана въ христіанской легендѣ и только въ нашемъ сознаніи достигла большей ясности. Когда еврейскій законъ былъ замѣненъ завѣтомъ любви, цѣлью жизни уже не могло остаться замаливаніе грѣха передъ Богомъ, ибо самъ Богъ „явился для уничтоженія грѣха жертвою своею“. Не угожденіе Богу и не умилостивленіе Его, а подражаніе Ему—вотъ отнынѣ цѣль человѣка. „Итакъ, подражайте Богу, какъ чада возлюбленныя“. „Кто говоритъ, что пребываетъ въ Немъ, тотъ долженъ поступать такъ, какъ Онъ



Ю. Дицъ (J. Diez).

поступалъ“. Но поставленная такимъ образомъ передъ человѣкомъ цѣль оказалась несоизмѣримой съ его природой. Ибо хотя Сынъ Божій вочеловѣчился, но Онъ принялъ на себя лишь страданія плоти, а не ея грѣхи: „въ Немъ нѣтъ грѣха“. Мы-же, люди, „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ“. Такимъ образомъ и по христіанской легендѣ грѣшный долженъ подражать Тому, въ Комъ нѣтъ грѣха,

что дѣлаетъ цѣль нашихъ стремленій бесконечно высокой, но недостижимой.

Мы должны признать несоизмѣримость между нами и нашею цѣлью. Но для того, чтобы вполне опредѣлить то, что я называю строемъ современной души, я долженъ прибавить, что безнадежная грусть, сопряженная съ сознаниемъ этой несоизмѣримости, по природѣ своей свѣтлая, похожая на примиряющую грусть древней трагедіи и ничего не имѣетъ общаго со скорбью

или отчаяніемъ. Въ стрѣбъ современной души оптимизмъ и пессимизмъ стремятся къ равновѣсію и сліянію. Подобно тому, какъ въ пѣснѣ рабъ, влюбленный въ царицу, всего больше любить въ ней ея недоступность, такъ и мы, сознавая недоступность нашей жизненной цѣли, тѣмъ болѣе любимъ ее, чѣмъ выше цѣлимъ. Въ своей гордости мы полагаемъ, что только цѣли столь высокія, что ихъ достиженіе является невозможнымъ, и достойны насъ. Въ своемъ смиреніи мы полагаемъ, что цѣли, односущныя съ нами, не стоили бы того, чтобы къ нимъ стремиться. Мнѣ кажется, если-бы намъ дали всеобъясняющую науку безъ ея роковыхъ *ignominus*, благодушное искусство безъ трагическихъ диссонансовъ и уравновѣшенный общественный строй безъ скрытыхъ въ немъ катастрофъ, мы перестали-бы любить жизнь. Надъ самымъ жалкимъ нашимъ шалашомъ простирается бездонное небо, и подъ самой ничтожной цѣлью какая-нибудь нравственная бездна. Не знаю, возможенъ-ли міръ, не окруженный безднами, но нашъ міръ ими окруженъ, и мы за это такъ болѣзненно его любимъ.

Таковъ душевный строй современнаго человѣка, выразившійся во многихъ сторонахъ дѣйствительной жизни, на примѣръ, въ новомъ отношеніи къ преступной волѣ и системѣ наказаній, но всего ярче въ искусствѣ. Какимъ безсильнымъ показался-бы намъ теперь художникъ, который возвелъ-бы зло въ самостоятельное начало жизни, и, рисуя падшихъ и преступныхъ, не открылъ-бы въ ихъ душѣ луча добра, не любилъ-бы ихъ самъ и не заставилъ-бы насъ полюбить ихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какимъ жалкимъ показался-бы онъ, если-бы сталъ изображать добро, какъ нѣчто достигнутое и са-

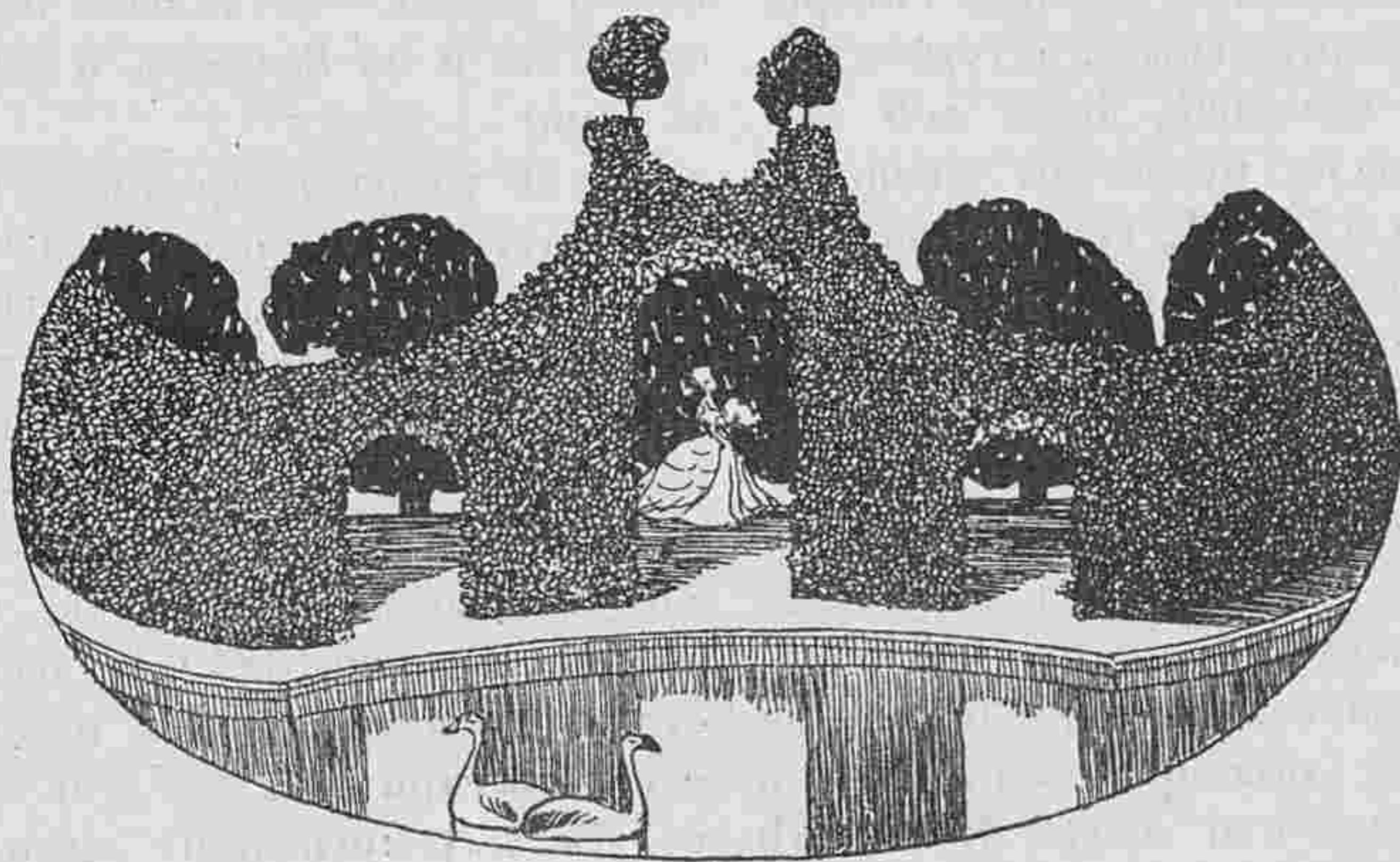
модовольное. Великая грусть жизни и еще большая любовь къ жизни, примиреніе со всякимъ зломъ во имя добра и развѣнчаніе всякаго добра во имя недостижимаго богоподобія,— вотъ формула нашихъ настроеній въ жизни и искусствѣ. Настроенная такимъ образомъ душа современнаго человѣка не найдетъ себѣ мѣста ни въ одномъ изъ донынѣ построенныхъ храмовъ, кромѣ, конечно, того храма, который былъ разрушенъ и снова созданъ въ три дня. Пришло время и намъ воздвигнуть свой алтарь и зажечь свою лампаду передъ ликомъ Вѣчнаго. Пришло время свести наши кажущіяся противорѣчія къ верховному примиряющему синтезу, который не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ религіозной легендой. И я повторяю, что эта легенда не должна быть открыта или измышлена, ибо она уже таится въ нашемъ сознаніи и лишь ждетъ внѣшняго выраженія, образа, слова.

— И это внѣшнее выраженіе найдено въ легендѣ мѣонической, — полу-подтвердилъ, полу-спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

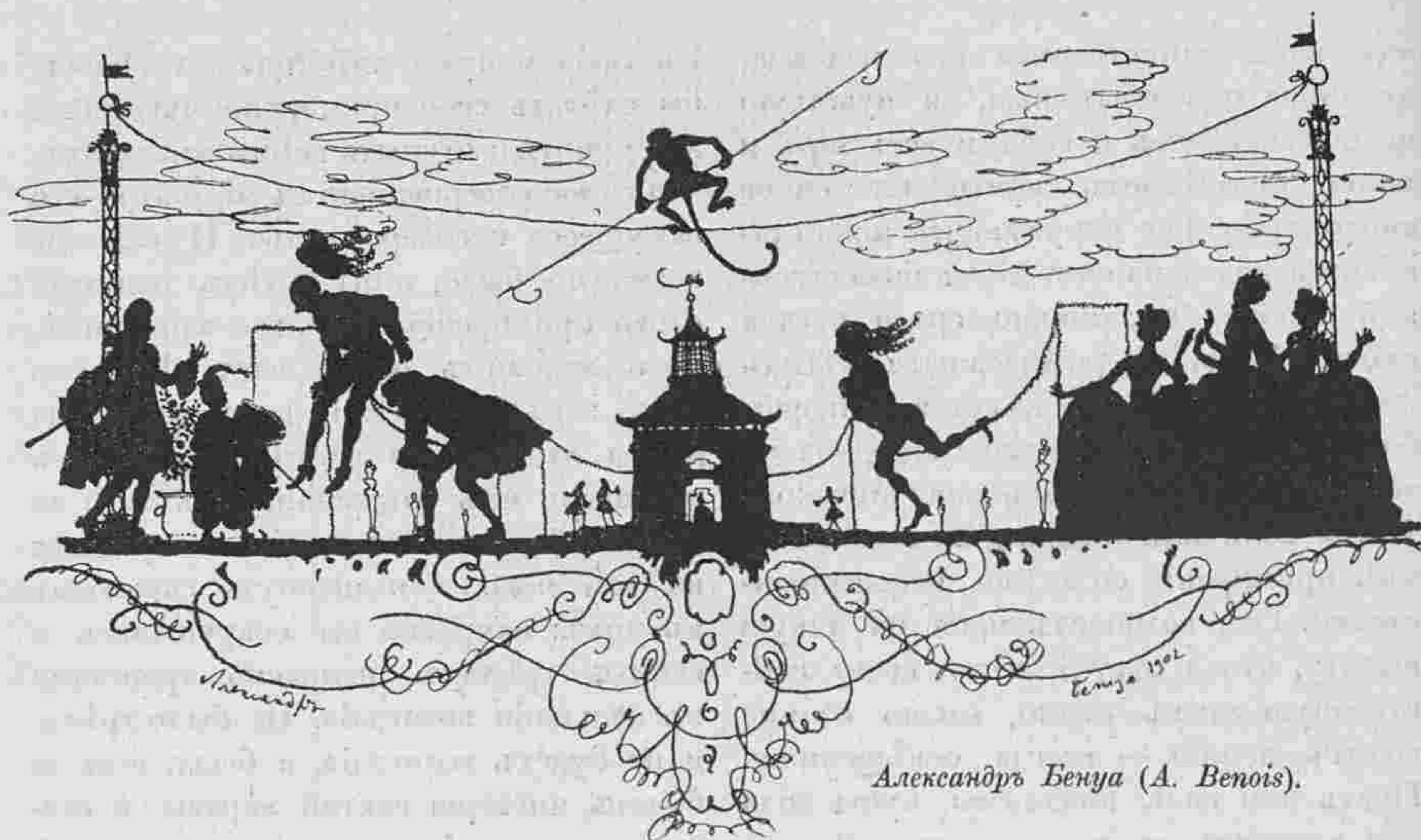
— Мнѣ кажется, да, отвѣтилъ я. По крайней мѣрѣ я нахожу въ мѣонической легендѣ если не разрѣшеніе всѣхъ загадокъ жизни, то объясненіе ихъ неразрѣшимости, если не избавленіе отъ смерти, то сознаніе ея разумной необходимости, если не избавленіе отъ страданій, то ихъ освященіе. Когда я созерцаю легенду о Единомъ, который въ актѣ безкорыстной любви создалъ множественный міръ и для этого принесъ въ жертву свое единство, когда я въ глубинѣ своей души открываю, что Единый, принеши себя въ жертву на алтарь міра, воскресъ въ этомъ мірѣ, какъ священная его цѣль, всегда влекущая и никогда не достижи-

мая, какъ единственная его надежда, желанная и несбыточная,—я чувствую преобразеннымъ и себя, и весь міръ и мною овладѣваетъ почти блаженное спокойствіе. Все окружающее меня становится для меня символомъ божественной любви, я замираю среди океана свѣта. Изъ всѣхъ религіозныхъ легендъ легенда мѣоническая кажется мнѣ наиболѣе не отъ міра сего. Ибо она не только не требуетъ отъ меня никакого усилія воли или подвига, но сама даетъ мнѣ примиреніе со всѣми несовершенствами. Она возноситъ меня на такую высоту, что я оттуда вижу свою собственную жизнь такую, какою солнце видитъ землю — всегда освѣщенной. Пусть мои силы ничтожны, пусть воля моя влачится въ грязи и съ трудомъ ведетъ за собою опьяненную отъ лѣни и сна мысль. Не все-ли равно, какой волной плеснула моя душа въ океанъ жизни, большой или ничтожной, свѣтлой или мутной, когда я могу созерцать то, что теперь созерцаю, и говорить слова, которыя теперь произношу.

Въ такія минуты мнѣ лишь хотѣлось-бы сдѣлать свое примиреніе чувствомъ всеобщимъ и открыть всѣмъ живущимъ, что самое совершенное въ мірѣ это—его кажущееся несовершенство. И если-бы возможно было, я-бы хотѣлъ шепнуть слово примиренія не только живущимъ, но и жившимъ ранѣе насъ. Подобно тому, какъ въ прежнія времена во имя злобы откапывали кости умершихъ и предавали ихъ сожженію, такъ мнѣ во имя любви хотѣлось-бы постучаться во всѣ могилы и шепнуть скрытымъ въ нихъ: напрасно вы сокрушались о своихъ грѣхахъ, напрасно трепетали въ ожиданіи возмездія. Не было грѣха, и не будетъ возмездія, а была, есть и будетъ мистерія святой жертвы и святого воскресенія, мистерія, въ которой мы всѣ одинаково участвуемъ, какъ ни различны наши роли. Но не знаю, право, понятно-ли вамъ то, что говорю. Вѣдь я еще не раскрылъ предъ вами, что такое мѣоническая легенда и даже не показалъ, какъ она рождается въ душѣ.



Ю. Дицъ (J. Diez).



Александр Бенуа (A. Benois).

III.

— Обо всемъ этомъ я догадываюсь, хотя, можетъ быть, смутно,—отвѣтилъ Владиміръ Ивановичъ.—Но пока вы говорили, я спрашивалъ себя, не идеализируете-ли вы людей? Нужна-ли имъ вообще религіозная легенда? Нуждаются-ли вообще люди помимо жизни еще въ примиреніи съ жизнью? Говорю не объ исключительныхъ натурахъ, но о среднемъ человѣкѣ. Вотъ всѣ они (и онъ указалъ рукою на спящихъ больныхъ) и я, и всѣ, кого я зналъ — развѣ кто-нибудь заботится о примиреніи или объ оправданіи жизни? Пока жизнь улыбается, она и безъ того желанна, и мирится съ нею излишне. Когда-же насъ обступаютъ страданія, мы стараемся побѣдить ихъ и вернуться къ прежнему довольству. А если надежды не осталось на побѣду, то не все-ли равно, примиримся-ли мы съ безнадежностью или нѣтъ? Я вполне принимаю все, что вы говорили о нашемъ духовномъ строе, но ваша рели-

гіозная легенда кажется мнѣ роскошью духа, прекрасной и нужной лишь немногимъ избраннымъ. Если она не отъ міра, то и не для міра. Другое дѣло верховный законъ нравственности. Онъ всѣмъ нуженъ, какъ хлѣбъ, и если ваше религіозное міросозерцаніе способно дать такой законъ, мы благословимъ васъ. Скажите, какъ надо жить, что нужно дѣлать,—не только по человѣчески, но и по божески, и мы пойдѣмъ за вами.

— Я глубоко несогласенъ съ вами,—отвѣтилъ я, относительно безпольности религіозной легенды, и объясняю вашъ взглядъ только тѣмъ, что легенда дѣйствуетъ на духъ непрерывнѣе и незамѣтнѣе, чѣмъ нравственный законъ. Воздухъ такъ-же необходимъ для тѣла, какъ и хлѣбъ, но мы этого не сознаемъ, потому что дышемъ постоянно и незамѣтно, а пищу принимаемъ два-три раза въ день и видимъ ее. Безъ религіозной легенды, безъ высшаго примиренія и оправданія, если и возможна жизнь, то скудная и слу-



II. Жанэ (P. Helleu).
Pointe-sèche.



*Е. Лансере (A. Lanceray).
Ex-libris.*

чайная. Конечно, блага жизни желанны сами по себѣ, и кто истомился жаждою, тотъ будетъ съ чувствомъ блаженства пить воду, не думая о первородномъ грѣхѣ и о возмездіи. Но повѣрьте, эти мысли о грѣхѣ, о возмездіи, о причинѣ зла, о смыслѣ страданій, всѣ эти отвлеченно-религіозныя мысли мелькаютъ въ душѣ вашей чаше, чѣмъ вы сами это сознаете. По поводу ничтожной встрѣчи или воспоминанія, среди дѣлового разговора или наединѣ, вы вдругъ спрашиваете себя о цѣли вселенной, о смыслѣ провидѣнія, и если вы въ эти безымянные мгновенія не находите отвѣта на свои вѣчные вопросы, вашей душѣ грозитъ медленное удушье въ видѣ усталости или озлобленія, или огрубѣнія, — не знаю, что хуже. Дать современнымъ людямъ возможность молиться, не заимствуя молитвы у другихъ поколѣній, значитъ брызнуть въ нихъ живой водой. Одного нравственнаго закона, одной истины отъ міра сего мало. Нравственный законъ — это твердый путь жизни, но душа слишкомъ часто устаеетъ среди пути и тогда ей нужно

мягкое отдохновеніе, нужна легенда не отъ міра сего. Сверхъ того, легенда важна тѣмъ, что подъ ея-же вліяніемъ вырастаетъ самый нравственный законъ. Легенда показываетъ намъ міръ въ его покоѣ, какъ воплощеніе божественной цѣли, какъ вѣчную гармонию свѣтовъ и тѣней. Нравственный законъ показываетъ каждому человѣку путь, ведущій отъ тѣней къ свѣту. Божественная цѣль легенды становится человѣческой цѣлью въ законѣ.

И вотъ объ этомъ нравственномъ законѣ, — второмъ и подчиненномъ элементѣ религіи — можно сказать то-же, что о легендѣ. Мы нуждаемся въ новомъ нравственномъ принципѣ, который не былъ-бы заимствованъ у другихъ поколѣній и отвѣчалъ-бы нашему душевному строю. Однако, и тутъ рѣчь не идетъ о томъ, чтобы измыслить, заново создать какую-то новую мораль. Наоборотъ, я утверждаю, что элементы новой морали уже существуютъ въ нашей жизни и лишь должны быть освѣщены въ сознаніи и выдѣлены въ ясно выраженный верховный законъ всей нашей дѣятельности. Считаю нужнымъ оговориться, что подъ новой моралью я вовсе не разумѣю перерѣшенія вѣко-

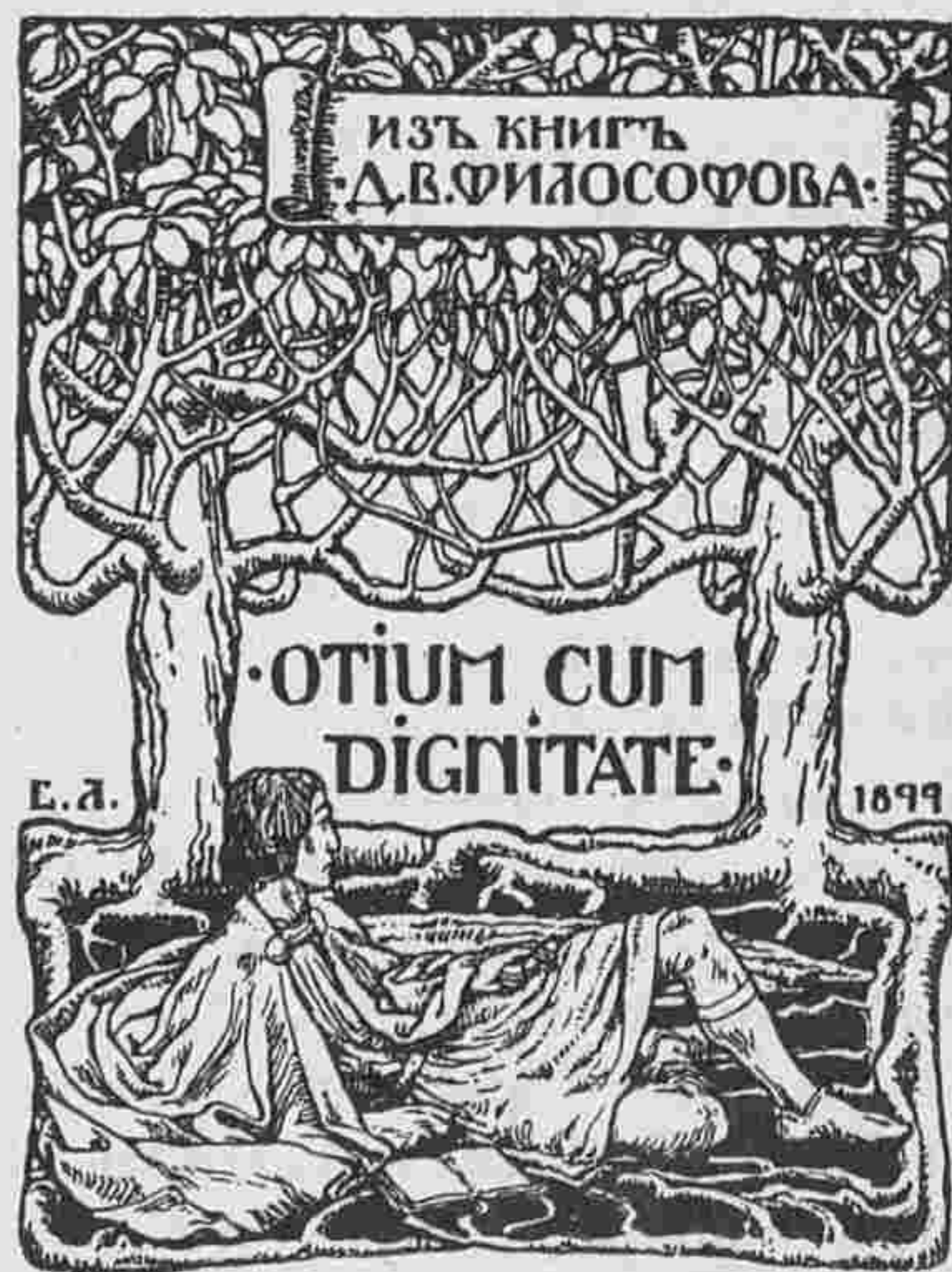


Е. Лансере (E. Lanceray).

вѣчнаго спора объ эгоизмѣ и альтруизмѣ. Завѣтъ Христа о любви къ ближнему кажется мнѣ даннымъ на всѣ времена, и „доколѣ не преидеть земля и небо, ни одна іота и ни одна черта не преидеть изъ этого закона, пока не исполнится все“. Этотъ завѣтъ Христовъ доказалъ, что между эгоизмомъ и альтруизмомъ нѣтъ принципиальнаго противорѣчія, ибо ближняго велѣно любить какъ самого себя, и поступать съ нимъ такъ, какъ мы хотимъ, чтобы онъ поступалъ съ нами. Но этимъ-же завѣтомъ показано, что въ рѣшеніи верховнаго вопроса морали: „что есть благо?“ отношеніе къ ближнему играетъ второстепенную, служебную роль. Ближнему я долженъ доставлять то, что я самъ для себя считаю благомъ, слѣдовательно первичный вопросъ о томъ, что такое благо, я рѣшаю не съ ближнимъ, а прежде всего съ самимъ собою, передъ лицомъ живущаго во мнѣ Бога и своей совѣсти. При созиданіи основныхъ опредѣленій морали, я по необходимости долженъ считать себя единственнымъ въ мірѣ субъектомъ, а всѣ остальные явленія и всѣхъ людей—объектами моей воли. Лишь твердо укрѣпившись въ этой позиціи единственнаго субъекта моральныхъ благъ, я уже могу стать на мѣсто своего ближняго, то-есть, мысленно помѣняться съ нимъ мѣстами. Умертвивъ ближняго, изъ мести или корысти, убійца поступаетъ безнравственно, ибо онъ этимъ поступкомъ доказываетъ, что считаетъ самъ для себя жизнь благомъ. Но побѣжденный германецъ, предпочитавшій убить жену и дѣтей, чѣмъ отдать ихъ въ рабство побѣдителю, и затѣмъ умерщвлявшій самого себя, поступалъ нравственно. Въ обоихъ этихъ случаяхъ опредѣленіе нравственности или безнравственности произвольное, служебное, въ зависимости отъ того,

что каждый самъ для себя считалъ благомъ. Вотъ по отношенію къ этому основному вопросу: „что есть благо“ я и говорю о новой морали современныхъ людей. Этотъ вопросъ мы рѣшаемъ не такъ, какъ наши предки, и поэтому мы вправѣ сказать, что живемъ подъ инымъ нравственнымъ закономъ, чѣмъ они.

На вопросъ: „что такое благо?“ вся современность прежде всего въ одинъ голосъ отвѣчаетъ, благо это—возможно полное удовлетвореніе возможно большаго числа потребностей. Что такое потребности, мы знаемъ по непосредственному показанію чувствъ. Есть потребности плоти и духа, разума и воли, и перечислять ихъ теперь я не стану. Богатство, знаніе, свобода, слава, — таковы тѣ главныя блага, къ удовлетворенію которыхъ стремится современная жизнь на всѣхъ путяхъ своей неукротимой, многообразной дѣятельности. Бездушный рантье и герой,



Е. Лансере (E. Lanceray).
Ex-libris.

жертвующій собою ради общаго блага, живутъ подъ однимъ и тѣмъ-же моральнымъ закономъ удовлетворенія потребностей. Оба они считаютъ богатство, знаніе, свободу абсолютными благами, но эгоистъ желаетъ ихъ для себя, а герой для народа или для человѣчества. Къ прежнимъ потребностямъ герой прибавляетъ новую—потребность въ сочувствіи людей, въ ихъ одобреніи, любви,—въ этомъ утонченнѣйшее изъ всѣхъ положительныхъ благъ жизни. Въ стремленіи къ удовлетворенію эгоизмъ не особый путь, но начало, низшая ступень того-же пути, который ведетъ къ солидарности и любви, и Ницше, будто-бы открывшій на этомъ пути удовлетворенія двѣ самостоятельныхъ морали—мораль господъ и мораль рабовъ—впалъ въ великое философское заблужденіе. Героическій идеалъ древней Греціи также естественно завершился завѣтомъ всеобщей любви и жалости, какъ одностороннее теченіе рѣки естественно переходитъ въ многообразное волненіе моря. Эта связь между эгоизмомъ и жалостью была постигнута еще Гомеромъ и она-то объединяющей идеей легла въ основу его вѣчной поэмы. Сравните первую пѣсню Иліады, въ которой Ахиллесъ изъ личной мести безжалостно бросаетъ на произволъ судьбы своихъ друзей, съ послѣдней пѣснью, въ которой тотъ-же Ахиллесъ проникается жалостью къ врагамъ, и вы убѣдитесь, что уже подъ стѣнами Трои прозвучало шопотомъ то слово, которое потомъ на весь міръ прогремѣло въ нагорной проповѣди. Впрочемъ, теперь мы ведемъ рѣчь только о современности. Скажите-же, долженъ-ли я привести вамъ доказательства того, что наша современность вся безъ остатка воодушевлена идеаломъ удовлетворенія потребностей, долженъ-ли я указать на науку,



К. Сомовъ (C. Somoff).
Ex-libris.

видящую въ борьбѣ за существованіе главный стимуль жизни, на развитіе промышленности, на культъ комфорта, на демократизмъ, стремящійся къ уравненію благъ, на все, что есть въ наше время мелкаго и возвышеннаго, пошлаго и самоотверженнаго? Или мое утвержденіе не нуждается въ доказательствахъ?

— Для меня оно слишкомъ очевидно, —отвѣтилъ мой собесѣдникъ.

— Вѣрно вамъ,—сказалъ я,—это наружное теченіе нашей морали, въ самомъ дѣлѣ, очевидно и какъ-то безспорно. Конечно, во всѣ времена люди стремились къ удовлетворенію потребностей, но въ наши дни стремленіе это достигло такой полноты, о которой нашимъ предкамъ не снилось. Отдѣльный человѣкъ сдѣлался цѣлью всѣхъ вещей, а на общество и государство мы стали смотрѣть, лишь какъ на средства къ достиженію этой цѣли. Всѣ основы прежней морали, всѣ устои государственные и общественные оказались подпорками и пристройками рядомъ съ великимъ фундаментомъ индивидуализма. Сверхъ того, идеалъ удовлетворенія расширилъ свою власть, охвативъ ею все человѣчество. Въ созиданіи благъ, въ приложеніи труда наступило великое раздѣленіе и дифференціація; въ пользова-

ни — же благами совершился процессъ объединенія, и скромный рабочій въ наши дни не только стремится быть причастнымъ ко всѣмъ благамъ науки и искусства, но еще мечтаетъ участвовать въ управленіи судьбами міра. Наконецъ, идеаль удовлетворенія оправданъ въ сознаніи людей, съ него смыто древнее клеймо грѣховности, и нужно сознаться, что въ этомъ подвигѣ освященія жизненныхъ благъ великую роль сыграла положительная наука и проповѣдь матеріализма. Возводя матерію въ верховный принципъ міра, положительная наука, повидимому, какъ-бы воюя съ идеализмомъ, на самомъ дѣлѣ расширила область идеального, обожествивъ тотъ элементъ міра, который донинѣ считался низшимъ и грѣховнымъ. А такъ какъ въ идеаль удовлетворенія духъ и плоть неразрывно связаны между собою, то положительная наука попутно оправдала и его. Все это даетъ намъ право сказать, что, несмотря на тяготѣніе всѣхъ вѣковъ къ идеалу удовлетворенія, только въ наше время этотъ идеаль достигъ полноты и сталъ всеобщимъ закономъ морали, и по объему власти, и по внутренней санкціи.

Но тотъ, кто идеаль удовлетворенія считалъ-бы единственнымъ закономъ нашей морали, обнаружилъ-бы полное непониманіе современной души. Подъ этимъ наружнымъ и безпорнымъ теченіемъ морали скрывается другое теченіе, столь-же всеобщее и могучее, въ которомъ и вы, и я, и всѣ мы принимаемъ участіе, но если я опредѣлю его, вы непременно усомнитесь и захотите со мною спорить. Второй идеаль морали, владѣющій всѣми нами, какъ среди пустыни неотступная мечта о водѣ, это — жажда отказаться отъ всѣхъ потребностей, отречься отъ богатства, знаній, свободы и славы, жажда нищеты,

невѣдѣнія, добровольнаго подчиненія, безвѣстнаго одиночества, чистоты, безстрастія. Вотъ я вижу, что вы собираетесь задать мнѣ рядъ вопросовъ: гдѣ, когда, въ чемъ сказался этотъ идеаль отреченія? Я самъ отвѣчу вамъ на нихъ. Идеаль этотъ прежде всего сказался въ той области, въ которой живутъ и цвѣтутъ всѣ идеалы, — въ литературѣ, но онъ проявляетъ склонность привиться и къ практической жизни. Особенно пышнымъ цвѣткомъ идеаль отреченія распустился въ русской литературѣ, немедленно послѣ созданія ея Пушкинымъ. Самъ Пушкинъ былъ слишкомъ стихійно-гармоничный и цѣльный художникъ для того, чтобы въ его душѣ преобладало какое-нибудь отдѣльное настроеніе. Но уже у первыхъ наслѣдниковъ его стихотворнаго и прозаическаго генія — у Лермонтова и Гоголя — неземная пѣсня объ отреченіи заглушаетъ всѣ остальные ихъ слова и молитвы. Лермонтовъ прямо начинаетъ свою дѣятельность съ пѣсни ангела о „блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ“, о душѣ, которая „долго на свѣтѣ томилась“ на тяжеломъ пути земныхъ, измѣнчивыхъ желаній и удовлетвореній и была полна „чуднымъ желаніемъ“ иного пути. Эту пѣсню Лермонтовъ поетъ до конца своихъ дней, убѣждая плачущую душу „быть къ земному безъ участія“, ничего не ожидая и не жалѣя и лишь горя желаніемъ „забыться и заснуть“. Гоголь пошелъ дальше. Онъ не только искалъ свободы и покоя, но и обрѣлъ ихъ, добровольно принялъ на себя самую тяжелую ношу подвижничества — голодную смерть. Достоевскій всю жизнь воспѣвалъ радость страданій и смиренія, и его дѣятельность похожа на готическій храмъ, который, упираясь фундаментомъ въ грязную землю — въ своеволие и распущенность карамазовщины — возно-



К. Сомовъ (C. Somoff).
Ex-libris.

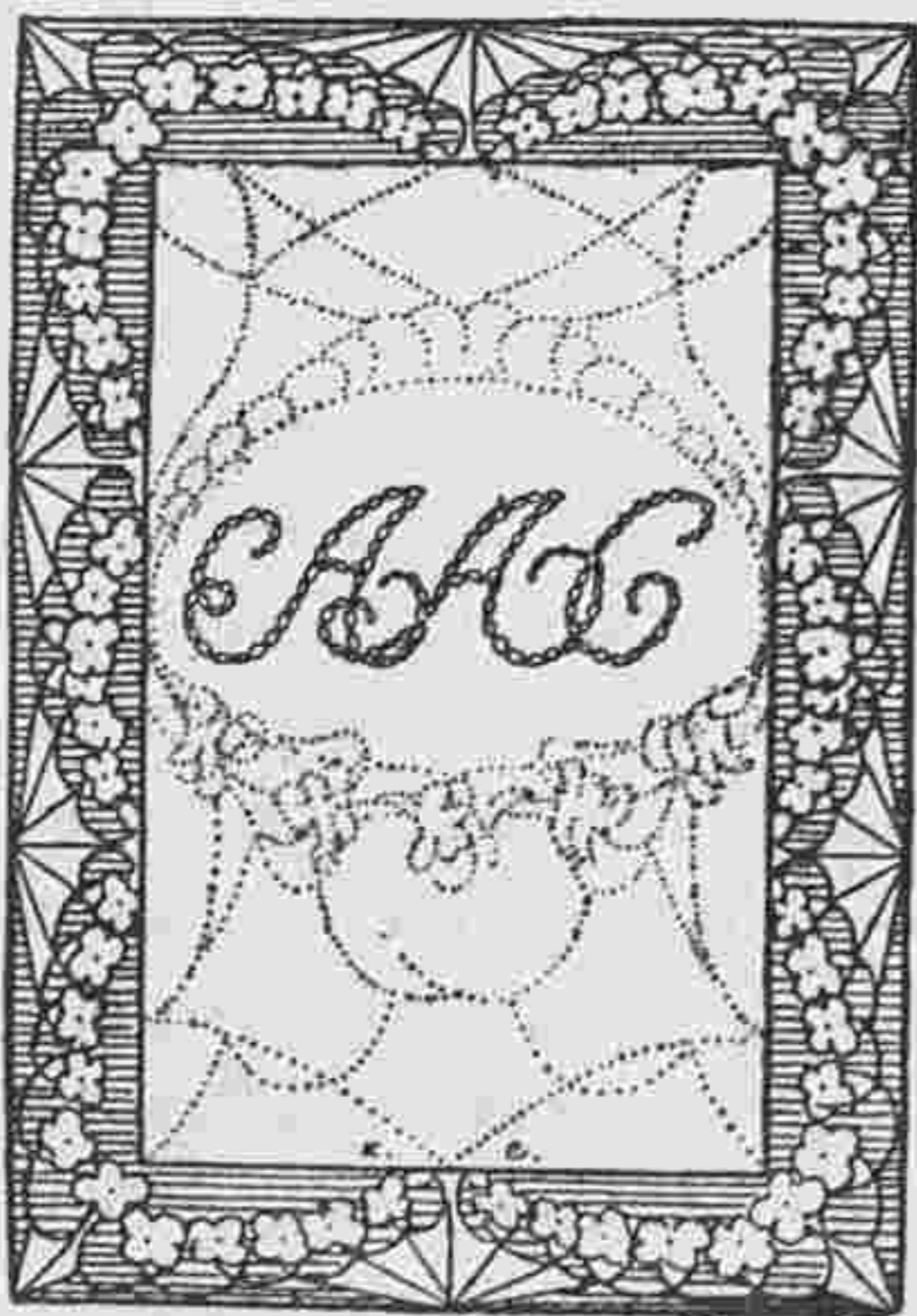
сится въ чистое небо отреченія двумя ажурными башнями — образомъ старца Зосимы и Алеши. О Толстомъ и говорить излишне. Его „Крейцера Соната“, проповѣдующая свободу отъ желаній, не только художественное произведеніе, но и уставъ цѣломудренной жизни, и дѣйствіе этой книги на современниковъ было оттого такъ сильно, что проповѣдь, заключенная въ ней, упала на сердца, и безъ того истомленная жаждой отреченія. И вотъ поразительное явленіе: тѣ изъ нашихъ писателей, въ творествѣ которыхъ нота отреченія звучала слабо, почти забыты, несмотря на свой даръ, и слава ихъ тускнѣетъ на нашихъ глазахъ, между тѣмъ какъ другіе, мечтавшіе „о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ“, приобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ все больше власти надъ душами. Въ литературѣ европейской идеаль отреченія казался не такъ откровенно, какъ у насъ, но

зато гораздо глубже, въ міровой скорби и непримиримомъ пессимизмѣ всѣхъ романтиковъ и реалистовъ, и въ мечтаніяхъ новыхъ школъ. Но помимо смутныхъ мечтаній искусства, жажда „свободы и покоя“ выразилась тамъ и въ яркихъ построеніяхъ философіи, и если кто нибудь усомнился-бы во внутренней связи между пессимизмомъ и аскетическимъ идеаломъ, то достаточно напомнить ему имя Шопенгауэра. Вы спросите меня: имѣлъ-ли этотъ идеаль отреченія вліяніе на дѣйствительность? Сознаюсь, на этотъ вопросъ отвѣтить трудно. Какъ сосчитать мечты людей, не оставившихъ слѣдовъ въ искусствѣ и въ философіи? Мнѣ кажется, нѣтъ въ мірѣ культурнаго человѣка, кто тайно не вздыхалъ-бы о цѣломудріи и безстрастіи. Во всякомъ случаѣ, относительно русскаго интеллигента можно навѣрно сказать, что послѣ мечты о народномъ благѣ, вторая мечта его, это—уйти изъ города, опроститься, отказаться отъ благъ культуры, стать цѣломудреннымъ, жить въ святости и отреченіи.

— У меня никогда не было другой мечты, кромѣ этой,—страстно воскликнулъ Владиміръ Ивановичъ.—Въ пору самаго буйнаго разгула я мечталъ о чистотѣ. И жена моя, и всѣ женщины, съ кѣмъ я сталкивался, всегда вздыхали о чистотѣ. Но мы не знали, какъ, живя въ мірѣ, уйти изъ міра. И какъ странно, что безъ вашихъ словъ я-бы умеръ, не вспомнивъ о мечтѣ всей своей жизни.

— Люди, подобно дѣтямъ, нуждаются въ томъ, чтобы раньше исполненія ихъ желаній открыли имъ, въ чемъ эти желанія состоятъ. Потѣни и прохладѣстосковалась душа современная, вотъ какъ въ эту минуту просить тѣни наше тѣло. Помните, мѣсяць тому назадъ, когда весь этотъ садъ былъ окутанъ въ дождь и

сумерки, когда поневоле приходилось весь день лежать въ тѣни,—помните, какъ мы мечтали о солнцѣ. А теперь солнце стоитъ надъ нашей головой и мы добровольно ищемъ тѣни. То-же случилось съ душою. Пока надъ людьми тяготѣла тѣнь нищеты, невѣжества, рабства, они молились о благахъ культуры, и когда эти блага надъ ними засіяли, человѣчество стало молиться о тѣни, о добровольномъ отреченіи, о добровольномъ воздержаніи. Молитва о тѣни! Мнѣ кажется, я слышу, какъ всѣ народы поютъ ее, передаютъ напѣвъ другъ другу и снова вступаютъ въ него. Конечно, мечта объ аскетизмѣ родилась не съ нами и было время — въ древней Индіи и у насъ въ средніе вѣка, — когда подвижничество привлекало къ себѣ всѣ лучшія силы. Но въ наше время мечта объ отреченіи возродилась въ новомъ, еще не бываломъ сочетаніи. Въ прежніе вѣка аскетизмъ постигался какъ страданіе, искупающее грѣхи міра, какъ бѣгство отъ міра, какъ проклятіе міру. Мы же жаждемъ чистоты, не какъ искупающаго страданія, а какъ возрождающей высшей радости. Въ наше время не можетъ



К. Сомовъ (С. Somoff).
Ex-libris.

быть рѣчи ни о вѣчномъ обѣтѣ, ни о разлукѣ съ міромъ. Мы молимся о тѣни, не проклиная солнца культуры. Прислушайте съ пророческимъ словомъ Лермонтова, и вы поймете мою мысль. Въ состояніи сво-

боды и покоя онъ не отворачивается ни отъ природы, ни отъ любви: забывшись и уснувши, онъ все-же хочетъ, чтобы надъ нимъ пѣлъ „слабый голосъ про любовь“ и „шумѣлъ темный дубъ“. Монастырскій затворъ вовсе не совпадаетъ въ его мечтахъ съ достиженіемъ „чуднаго желанія“. Тамара въ стѣнахъ монастыря отдается блаженству любви, а Мцыри бѣжитъ изъ монастыря, какъ изъ тюрьмы, на свободный просторъ...

Особенность нашей морали заключается въ томъ, что оба идеала — удовлетворенія и отреченія — кажутся намъ равносильными, равноцѣнными, равножеланными, между тѣмъ какъ въ прежніе вѣка мірской идеаль всегда считался подчиненнымъ аскетическому и освящался лишь какъ уступка человѣческой слабости, какъ законъ жизни для низшихъ натуръ, не могущихъ вмѣстѣ высшаго подвига. Въ нашемъ-же сознаніи удовлетвореніе такой-же подвигъ, какъ отреченіе, и отреченіе такое-же благо, какъ удовлетвореніе, и, можетъ быть, мы оттого и мечтаемъ о свободѣ и покоѣ, чтобы на свободѣ и въ покоѣ отдохнуть усталой душой и еще больше полюбить на время покинутый міръ, и еще страстиѣе, чѣмъ прежде, „ждать и желать“:

Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ.

Но, спросите вы меня, развѣ возможно, чтобы душа подчинялась двумъ равнымъ силамъ, двумъ равноцѣннымъ идеаламъ, влекущимъ ее въ противоположныя стороны? Не осуждена-ли она въ такомъ случаѣ на неподвижность, на безразличіе, на смерть? Съ равнымъ правомъ могли-бы вы спросить: развѣ возможно, чтобы тѣло, находясь на окружности, въ одно и то-же время стремилось къ центру и стремилось отъ центра?

Не осуждено-же оно на вѣчную косность покоя? Однако, движенія всѣхъ небесныхъ тѣлъ, вся гармонія неба основана на томъ, что тѣла подчиняются одновременно силѣ центростремительной и силѣ центробѣжной. Вотъ почему мы, подчиненные новому закону морали, уже чувствуемъ себя тѣсно въ прежнихъ формахъ жизни. Великая сила индивидуализма сказалась и тутъ. Если есть два идеала добра, то мнѣ мало служить одному изъ нихъ, утѣшая себя мыслью, что другой идеалъ воплощается въ жизни моего сосѣда. Нѣтъ, я долженъ воплотить и осуществить всю полноту добра въ своей собственной единой жизни. Прежнее мірское прозябаніе и монастырское затворничество кажутся мнѣ равно одностороннею, насильственной убылью духа, низкимъ полетомъ съ однимъ пришибленнымъ крыломъ. На обоихъ крыльяхъ, въ обладаніи всѣхъ своихъ силъ хочетъ подняться современная душа къ источнику радости. Вы видите, что насколько мѣоническая легенда погружала насъ въ квіэтизмъ и всепримиреніе, настолько законъ морали понуждаетъ насъ къ пересмотру и перестройкѣ всѣхъ формъ жизни. Но какъ совмѣстить два начала, которыя донинѣ считались противоположными? Въ какія формы выльется нравственность новыхъ людей, впервые сознательно понявшихъ равноцѣнность двухъ моральныхъ силъ? Въ какія взаимныя сочетанія вступятъ удовлетвореніе и отреченіе, бодрствование и сонъ желаній, страсть и безстрастіе? Все это вопросы практической морали будущаго. Однако раньше, чѣмъ ломать и строить, нужно начертить точный планъ будущаго зданія. Надѣюсь, вы теперь видите, что все то—новое и смутное, что сложилось въ современномъ нравственномъ чувствѣ, должно быть выяснено

передъ сознаніемъ. Оба идеала нравственности должны быть сведены къ высшему единству, которымъ не можетъ быть ни что иное, какъ единая цѣль міра, какъ религіозная легенда о Единомъ.

— Такъ вотъ что означаетъ мѣоническое ученіе о двухъ путяхъ добра!— воскликнулъ Владиміръ Ивановичъ.— Мнѣ кажется, что только теперь я начинаю ясно видѣть ваши намѣренія.



К. Сомовъ (C. Somoff).
Ex-libris.

— Я нарочно открылъ вамъ свои тайныя намѣренія,—отвѣтилъ я,—чтобы вы могли читать въ моей душѣ и заранѣе видѣть, по какому пути я васъ поведу. Цѣль моя—показать, какъ во внутреннемъ откровеніи разума возникаетъ религіозная легенда о Единомъ и какъ въ Единомъ примиряются оба пути добра. Душевное состояніе современнаго человѣка, выбивающагося изъ силъ въ погонѣ за благами жизни и въ то-же время разочарованнаго въ благахъ жизни, я считаю опаснымъ и близкимъ къ безумію. Оно должно быть просвѣтлено и замирено въ высшей истинѣ. Но вы видите, что я все не рѣшаюсь приступить къ изслѣдованію самой истины и отъ одного предисловія перехожу къ другому и все стараюсь примирить васъ

съ разумомъ, ибо знаю, какъ у насъ боятся разума и отвлеченныхъ разсужденій. Но не пора-ли, наконецъ, устремиться намъ прямо къ цѣли? Вѣдь нельзя-же владѣть истиной, не родивъ ее въ своей душѣ?

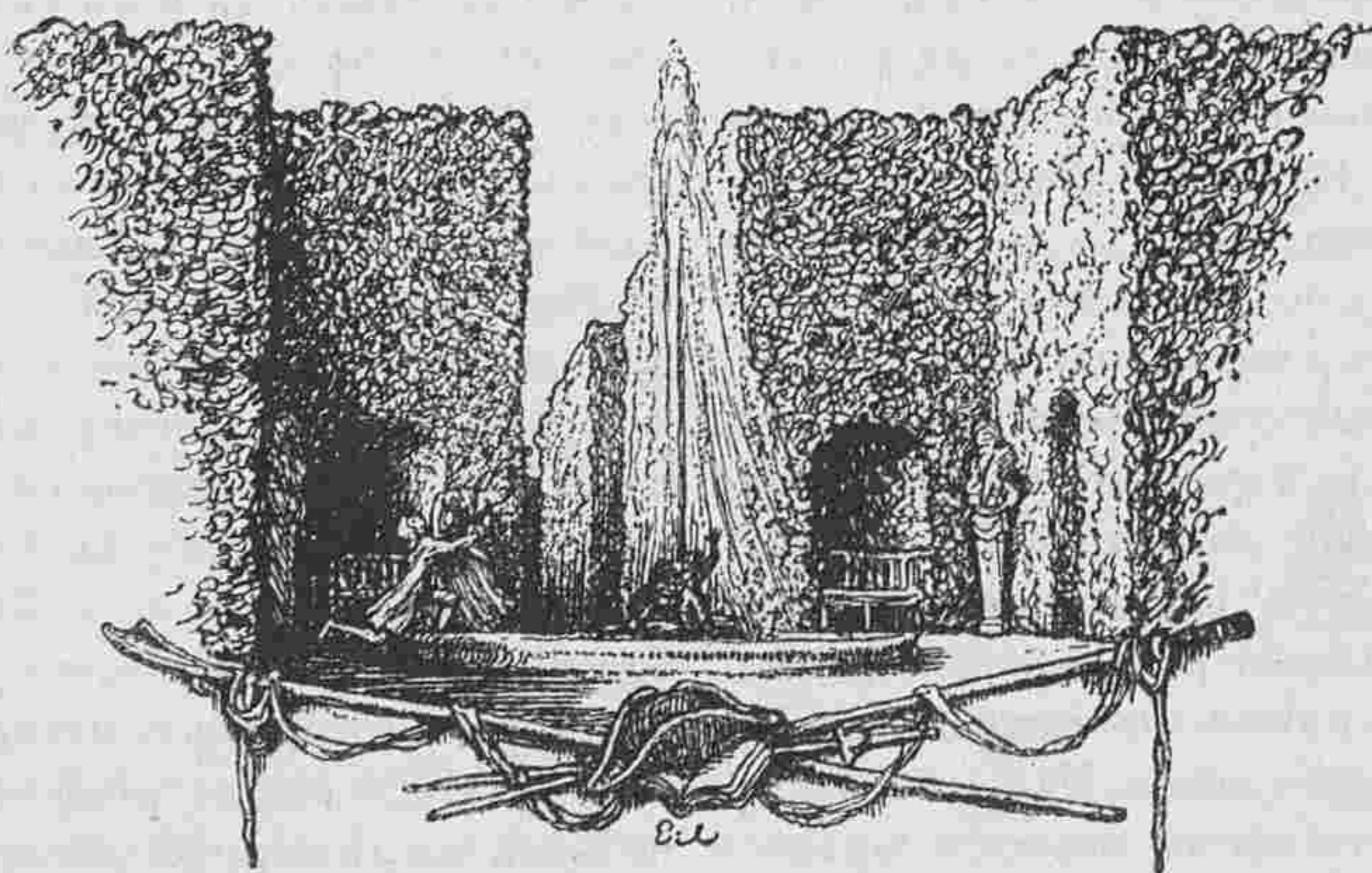
— А мнѣ казалось, — возразилъ Владиміръ Ивановичъ, — что мы и до сихъ поръ уже идемъ прямымъ путемъ къ цѣли. Никакія отвлеченныя разсужденія не помогли-бы мнѣ ярче сознать всегда во мнѣ жившее стремленіе къ чистотѣ и отреченію, чѣмъ ваши слова. Скажите: неужели теперь поздно? Хотя-бы на одинъ мѣсяць, на одну недѣлю передъ смертью добровольно пострадать и очиститься? Помогите мнѣ и въ этомъ.

— Пока мы живы, — отвѣтилъ я, — никогда не поздно стремиться къ богоподобію. Я согласенъ вамъ помочь и самъ вижу въ васъ помощника и друга. Вотъ мы оба стоимъ среди человѣчества, уже обладающаго новою истиною,

но не знающаго объ этомъ, терзаемаго отчаяніемъ, близкаго къ безумію. Дадимъ-же сбѣтъ другъ другу искать истины не только на словахъ, но и на дѣлѣ. Тотъ путь, который откроется нашей мысли, пусть также станетъ путемъ нашего подвига. Но будемъ осторожны и не дадимъ волѣ слишкомъ рано принять власть надъ душою. Въ поступкѣ мысль и чувство костенѣютъ и созрѣваютъ для смерти. Будемъ поступать такъ, какъ будто отъ нашего опыта зависѣла участь самой истины.

Въ это время больные стали просыпаться, и раздались голоса и смѣхъ. Хотя мы говорили на чужомъ для нихъ языкѣ, но предметъ разговора казался намъ столь завѣтнымъ, что мы не рѣшились продолжать его при свидѣтеляхъ, даже не понимавшихъ насъ, и замолчали, размышляя о внезапно принятомъ великомъ рѣшеніи.

Н. Мисскій.



Е. Лансере (E. Lançeray).

Художественная Хроника

„НОВОЕ ВРЕМЯ“ О ВРУБЕЛѢ.

Каждому петербуржцу извѣстно, что изъ семи скучныхъ и тяжелыхъ дней недѣли, понедѣльникъ считается самымъ тяжелымъ и безотраднымъ. Не знаю, насколько въ дѣйствительности этотъ несчастный день заслуживаетъ своей печальной репутаціи, но могу сказать, что и самъ также питаю къ нему непреодолимую антипатію. Антипатія эта основана главнымъ образомъ на необходимости прочитывать по понедѣльникамъ неизбѣжные мнимо музыкально-критическіе фельетоны „Нов. Времени“, подписанные пресловутымъ критическимъ музыкантомъ Michele Ивановымъ.

Не довольствуясь завидной возможностью изо дня въ день раздавать себѣ и своимъ фаворитамъ изъ артистовъ лестныя, а остальнымъ нелестныя аттестаціи, нововременскій Берліозъ съ убійственной регулярностью разыгрываетъ свои не музыкальныя композиціи по понедѣльникамъ въ роковомъ низкѣ обширнаго Суворинскаго палаццо, построеннаго на началахъ широкой терпимости.

Темы его однообразны и бѣдны; это — все тѣ-же восхваленія своего таланта и вѣчная ругань на враговъ и завистниковъ. Но зато въ варьяціяхъ и фигураціяхъ этихъ жалкихъ темъ онъ проявляетъ громадную умѣлость. Гораздо большую, во всякомъ случаѣ, чѣмъ можно было-бы ожидать отъ композитора съ столь установившейся репутаціей бездарности.

Бываютъ даже понедѣльники, когда изъ временно обитаемаго имъ газетнаго подвальчика раздаются звуки совсѣмъ необычайные, полные душераздирающей силы; когда

жалостные стоны обиженнаго авторскаго самолюбія разрастаются въ неслыханныя, чудовищныя симфоніи. И если-бы вы знали, какъ любопытна фактура этихъ своеобразныхъ симфоній! Тутъ и чрезвычайно ловко сдѣланный сплетническій контрапунктъ, и пикантнѣйшія задержанія на передержкахъ, и наконецъ, такія рискованныя модуляціи, что даже начинаешь побаиваться за автора: какъ-бы ему за это не досталось! Словомъ, въ области безпристрастной критики нашъ маэстро проявляетъ большое мастерство и несомнѣнный талантъ, и если-бы только одна сотая доля этихъ качествъ сказала въ его музыкальныхъ сочиненіяхъ, то г. Иванову оставалось-бы только одно — поскорѣ оглохнуть, чтобы сразу-же сдѣлаться русскимъ Бетховеномъ.

Бываютъ, впрочемъ, и такіе понедѣльники въ „Нов. Вр.“, когда подъ обычными фельетонными столбцами напрасно ищешь подписи великаго какофониста. Это значитъ, что тема фельетонной симфоніи, по своей особой щепетильности, требуетъ и особыхъ мѣръ предосторожности, изъ коихъ главная — не дискредитировать новую фельетонную композицію собственной подписью, никому не внушающей довѣрія.

Такимъ образомъ, въ одинъ изъ недавнихъ понедѣльниковъ, въ „Нов. Вр.“ (№ 9447) появилась такая-же прелестная фельетонная симфонія, озаглавленная „Изъ бесѣдъ о художникахъ“, за подписью неизвѣстнаго г. М—е. Не будемъ доискиваться, какой единомышленникъ нашего любимаго композитора скрылъ свою почтенную личность подъ этими лите-

рами. Замѣтимъ только, что какъ подпись подь статьей, какъ литературный псевдонимъ, шифръ этотъ по меньшей мѣрѣ страненъ.

Что за охота подписывать свою статью, какъ-бы скверна она ни была, общепринятымъ на французскомъ языкѣ сокращеніемъ знаменитаго *mot à cinq lettres*. Впрочемъ, кому-же лучше знать, чѣмъ автору, какъ окрестить себя и свое писаніе. Поэтому оставимъ странный псевдонимъ въ покоѣ и обратимся къ самому фельетону.

Читатели, можетъ быть, помнятъ, что въ одномъ изъ прошлогоднихъ номеровъ „М. Иск.“ мнѣ какъ-то пришлось слегка и беззлобно посмѣяться надъ нелѣпыми восхваленіями, которыми тогдашній замѣститель г. Иванова, можетъ быть тотъ-же самый г. М—е, превозносилъ художественное значеніе недавно скончавшагося художника Риццони.

На бѣду однако оказалось, что невинная насмѣшка надъ рекламной выходкой самонадѣяннаго и невѣжественнаго фельетониста задѣла въ то-же время необъятное самолюбіе истиннаго вдохновителя г. М—е, почтеннаго, но музыкантами не признаваемаго композитора, М. М. Иванова.

Съ того случая прошло не меньше года, но неудачные композиторы—народъ злопамятный и не легко забываютъ обиды, нанесенныя ихъ авторскому самолюбію. И вотъ, запасшись разными рискованными документами и вновь завербованными собесѣдниками, исполняющій, въ такихъ случаяхъ, должность г. Иванова г. М—е выступилъ яко-бы въ защиту интересовъ покойнаго художника, такъ печально окончившаго свое существованіе. На самомъ же дѣлѣ фельетонъ этотъ является запоздалымъ возмездіемъ за дерзкое и насмѣшливое недовѣріе къ композиторскому таланту прославленнаго какофониста.

Въ означенномъ фельетонѣ впрочемъ рѣчь идетъ не только о покойномъ Риццони, но и о г. Врубелѣ, котораго авторъ для удобства повидимому также причисляетъ къ покойникамъ, на которыхъ, какъ принято у такихъ господъ, можно вваливать все, что вздумается.

Содержаніе фельетона заключается въ бе-

сѣдѣ одного изъ пріятелей г. Врубеля съ г. М—е. Пріятель защищаетъ художника отъ невѣжественныхъ и упорныхъ обвиненій того-же М—е въ декаденствѣ и неумѣніи рисовать (!). Не могу, при этомъ, не замѣтить, что пріятель г. Врубеля поступаетъ очень неблагоприятно, продолжая бесѣду съ такимъ невѣжественнымъ господиномъ, каковымъ, послѣ первыхъ-же словъ, оказывается его собесѣдникъ, г. М—е. Стоить ли съ такими людьми говорить о мастерствѣ рисунка, о высокой художественности исполненія, когда ихъ ничто рѣшительно не интересуется, кромѣ своихъ личныхъ дѣлишекъ, сплетенъ и анекдотовъ. Прелюбопытны однако нѣкоторые вопросы, съ которыми г. М—е обращается къ своему собесѣднику. Такъ онъ вдругъ встревоженно спрашиваетъ: — „Почему у него (т. е. у Врубеля) такъ неожиданно обнаружилось помѣшательство. Вѣдь не оправдаться-же теоріи Ломброзо о талантѣ и безуміи“. Не ясно-ли, что вопросъ этотъ вырвался у автора фельетона отнюдь не вслѣдствіе увѣренности въ выдающемся талантѣ Врубеля, произведенія котораго, по его мнѣнію, „одобрить нельзя“, а всего вѣроятнѣе отъ тревожнаго опасенія за участь его геніальнаго друга, знаменитаго автора оперъ и симфоній изъ міра насѣкомыхъ. По словамъ г. М—е оказывается, что талантъ художника въ его болѣзни не игралъ никакой роли; онъ полагаетъ даже, что М. А. Врубель всегда былъ ненормаленъ. Въ доказательство своего мнѣнія г. М—е приводитъ рассказъ о будто-бы „роскошныхъ пиршествахъ“, которыя М. А. устраивалъ въ Кириловскомъ монастырѣ для своихъ помощниковъ „маленькихъ, начинающихъ учениковъ“. Съ точки зрѣнія такихъ господъ, какъ г. М—е, конечно только сумасшедшій можетъ накормить голодныхъ дѣтей, „когда во всякомъ случаѣ онъ не былъ обязанъ кормить никого за свой счетъ“.

Собесѣдникъ на это глубокомысленное и высоко гуманное замѣчаніе г. М—е понятно не находитъ, что возразить и продолжаетъ тщетно убѣждать его въ томъ, что М. А. Врубель въ своихъ работахъ всегда являлся

крупнымъ, самостоятельнымъ и вполне сознательнымъ мастеромъ, что М. А. много приходилось терпѣть отъ такихъ „soi-disant знатковъ“, какъ г. М—е и его товарищи по газетѣ, при каждомъ случаѣ „третировавшіе“ этого выдающаго художника „en canaille“. Курьезно также и то, что тотъ-же г. М—е, какъ-бы совершенно забывъ про неистовую ругань, которою его газета надѣляла замѣчательное декоративное панно Врубеля, находившееся на послѣдней выставкѣ „М. Иск.“, нынѣ съ чисто ново-временскимъ цинизмомъ высказывается въ совершенно обратномъ смыслѣ: „Этотъ „Демонъ“ былъ дѣйствительно однимъ изъ немногихъ холстовъ, обращавшихъ на себя вниманіе среди жалкой мази, собранной на выставкѣ“. Такая хитрая и внезапная перемена фронта ясно изобличаетъ вдохновителя г. М—е, несравненнаго М. М. Иванова, который всегда, сообразно съ обстоятельствами, готовъ хвалить сегодня то, на что вчера еще обрушивался съ пѣной у рта.

Для достиженія наибольшаго эффекта, г. М—е выступаетъ со своимъ „обличительнымъ документомъ“ въ концѣ своего сплетническаго фельетона. Документъ этотъ—письмо, написанное М. А. Врубелемъ наканунѣ постигшей его печальной катастрофы. Оно содержитъ нѣкоторыя размышленія М. А. по поводу извѣстія объ ужасной кончинѣ его друга, художника Риццони, и представляетъ собою, въ томъ видѣ, какъ его приводитъ г. М—е, какія-то безсвязныя отрывочныя строки, въ которыхъ между прочимъ говорится о будто-бы „презрительномъ и пристрастномъ“ отношеніи журнала „М. Иск.“ къ „честности“ покойнаго Риццони. Скажемъ на это, что смыслъ приведенныхъ въ фельетонѣ словъ г. Врубеля мало понятенъ и едва-ли можетъ послужить къ обличенію насъ въ какой-либо предвзятости по отношенію къ покойному Риццони, къ его личности, честности, трудолюбію и прочимъ человѣческимъ и гражданскимъ достоинствамъ.

Отрицательный нашъ отзывъ касался исключительно таланта художника, его значенія въ искусствѣ, которые, какъ я уже раньше замѣтилъ, были не въ мѣру превознесены его

ложными друзьями изъ „Нов. Вр.“. Въ этомъ смыслѣ „М. Иск.“ никогда не колебался откровенно высказывать свое мнѣніе. Въ числѣ-же художественныхъ дѣятелей, никогда не отрицавшихъ компетентности журнала въ оцѣнкѣ произведеній искусства, всегда былъ, какъ мнѣ хорошо извѣстно, М. А. Врубель, бывший однимъ изъ старѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ товарищей тѣсно между собой связанной группы художниковъ „М. Иск.“.

Вотъ почему приписываемыя г. М—е этому художнику слова: „кто только не дерзаль на насъ (художниковъ)? чьи только неуклюжія руки не касались самыхъ тонкихъ струнъ чистаго творчества“, при всемъ желаніи, никакъ нельзя отнести по адресу журнала „М. Иск.“, единственнаго пока въ Россіи журнала, всегда выступавшаго въ защиту того-же г. Врубеля отъ вѣчно сыпавшихся на него нападокъ.

Не вѣрнѣе-ли, что горькія слова эти имѣли въ виду именно ту, позорящую русскую журналистику, пошловатую и грубо-невѣжественную клику, которая нашла себѣ пріютъ въ нѣдрахъ нашего общедоступно обаятельнаго органа и яркимъ представителемъ которой нельзя не признать автора или авторовъ понедѣльничьихъ фельетоновъ „Новаго Времени“.

Силанъ.

ЗАМѢТКИ.

26-го Іюня скончался въ Гамбургѣ извѣстный русскій скульпторъ, академикъ М. М. Антокольскій, авторъ популярныхъ статуй „Ивана Грознаго“, „Сократа“, „Христа“ и др. Антокольскій родился въ 1842 году въ Вильнѣ; въ 1863 г. онъ переѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ въ Имп. Академію Художествъ. Произведенія свои онъ выставялъ главнымъ образомъ въ періодъ отъ 1870 до 1880 года; нѣсколько статуй его работы находятся въ Музеѣ Имп. Александра III.

Будущая зима обѣщаетъ быть чрезвычайно интересной въ художественномъ отношеніи. Въ театрахъ готовятся постановки эврипидовскаго Ипполита съ декорацией и костюмами по рисункамъ Л. Бакета, Вагне-

ровской „Гибели Боговъ“ съ декораціями А. Бенуа и съ Литвинь въ главной роли, новаго балета Корещенки съ декораціями К. Коровина, возобновленнаго по рис. Коровина - же Руслана и пр. На большой Морской, въ новомъ художественномъ Салонѣ, устраиваемомъ, какъ уже извѣстно, кн. Щербатовымъ и В. В. фонъ Меккъ, предполагается рядъ выставокъ молодыхъ русскихъ и нѣкоторыхъ выдающихся иностранныхъ художниковъ. Картины означенныхъ художниковъ будутъ расположены въ нѣсколькихъ небольшихъ изящныхъ комнатахъ, исполненныхъ по рисункамъ А. Бенуа, Е. Лансере, Л. Бакста, И. Грабаря и др. Наконецъ, съ января будущаго года будетъ выходить въ свѣтъ новый литературный журналъ „Новый путь“ подъ редакціей П. П. Перцова. Главными участниками этого являются ближайшіе сотрудники „Мира Искусства“ Д. Мережковскій, В. Розановъ, Н. Минскій и др., а также группа московскихъ литераторовъ, работающихъ въ книгоиздательствѣ.

Умеръ Яковъ Исааковичъ Эрлихъ, сотрудникъ журнала „Миръ Искусства“.

Я. И. родился 28 января 1874 г. въ Ковнѣ. Въ 1886 г. переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ окончилъ II гимназію (1893 г.) Въ томъ-же

году поступилъ въ Петербургскій университетъ, сначала на физико-математическій факультетъ, а затѣмъ черезъ годъ на историко-филологическій. Посѣщая университетъ, покойный не переставалъ заниматься любимымъ искусствомъ—музыкой. Съ 1888 по 1892 г. учился въ музыкальномъ училищѣ Шлезингера, гдѣ впоследствии состоялъ преподавателемъ рояля и теоріи музыки. Съ 1894-1897 гг. пробылъ въ Петербургской консерваторіи по теоріи композиціи пр. Римскаго-Корсакова. За нѣсколько дней до женитьбы онъ тяжело заболѣлъ и пришелъ въ себя черезъ десять мѣсяцевъ, 19 апрѣля, въ день смерти.

Послѣ смерти Я. И. осталось много рукописей, статья по механикѣ, обширная и незаконченная работа о Кантѣ, которой онъ посвятилъ почти два года, музыкальныя композиціи, стихотворенія, статьи по теологическимъ, философскимъ и этическимъ вопросамъ, начатое передъ самой болѣзнью изслѣдованіе о современной русской литературѣ и проч. Печатался покойный немного: нѣсколько критическихъ замѣтокъ и музыкальныхъ рецензій были помѣщены въ „Театръ и искусство“ и „Миръ Искусства“.

О. Дымова.

Редакторъ-издатель С. П. Дягилевъ.

Суперла Кьярла



1902

№ 8.

1902.

No. 8.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

- Л. Пастернакъ.—Эскизы и 10 этюдовъ къ картинѣ „Л. Толстой съ семьей“.
Гезеллиусъ, Линдгрень и Саариненъ.—11 снимковъ съ деталей новыхъ домовъ въ Гельсингфорсѣ.
Э. Саариненъ.—3 снимка съ деталей Финляндскаго павильона на Парижской выставкѣ 1900 г.
М. Энкель.—10 снимковъ съ произведеній художника.
В. Вальгрень.—6 снимковъ съ произведеній художника.
3 снимка съ южнорусскаго шитья XVIII в.

Приложеніе.

- Л. Пастернакъ.—Л. Толстой съ семьей.

ТЕКСТЪ.

- Л. Шестовъ.—Философія трагедіи (изъ XXII—XXV).
Д. Философовъ.—Современное искусство и колоколамъ Св. Марка.
В. Розановъ.—Концы и начала, „божественное и демоническое“, боги и демоны.
Алек. Бенуа.—Красота Петербурга.
Игорь Грабаръ.—По Европѣ (V).
Д. Шестаковъ.—Суздальскія традиции.
Ханенко.—Художественная выставка въ Музее Древностей и Искусствъ въ Кіевѣ.
Ст. Яремичъ.—Отвѣтъ г. Ханенко.
Силэнъ.—Русскій эстетикъ въ Парижѣ.
Книги.
Зимѣтки.
Свѣдѣнія.
Условія конкурса.

SOMMAIRE.

ILLUSTRATIONS.

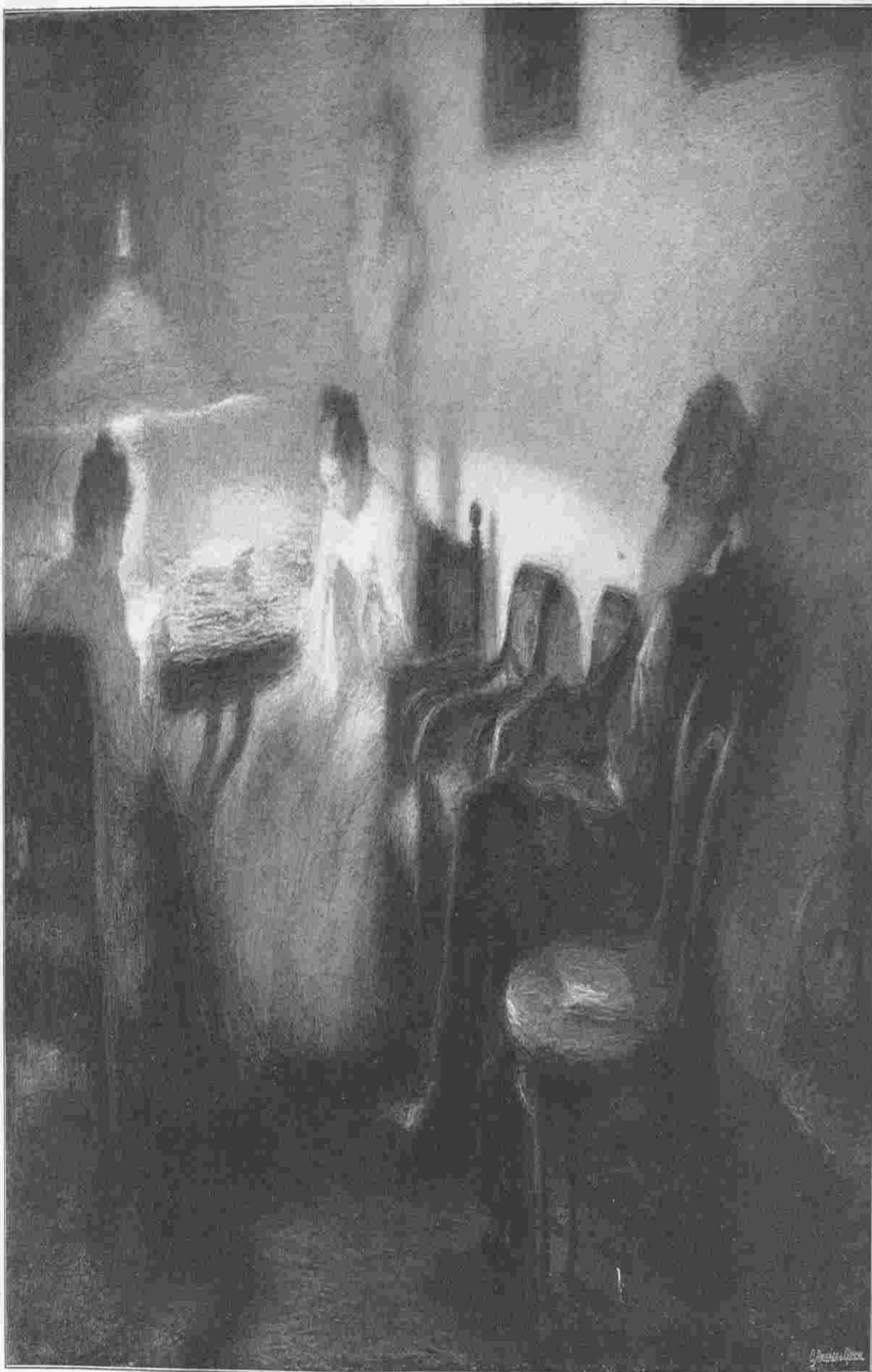
- L. Pasternak. 1 esquisse et 10 études pour le tableau „Léon Tolstoï en famille“ (p. 65—68).
Gesellius, Lindgren et Saarinen. Oeuvres d'architecture à Helsingfors (11 reproductions, p. 69—77).
E. Saarinen. Détails du pavillon finlandais à l'Exposition de 1900 (3 reproductions, p. 78).
M. Enckell. 10 reproductions des oeuvres de l'artiste (p. 79—87).
V. Walgren. 6 reproductions des oeuvres de l'artiste (p. 88—93).
Broderies russes du XVIII s. (3 reproductions, p. 94—96).

HORS-TEXTE.

- L. Pasternak. Léon Tolstoï en famille.

TEXTE.

- L. Chestoff. Nietzsche et Dostoïewski. (XXII—XXV).
D. Filosofov. L'Art moderne et le clocher de St.-Marc.
B. Rozanow. Dieux et démons.
Alex. Benois. La beauté de St.-Petersbourg.
I. Grabar. En Europe (V).
D. Ohestakoff. Les traditions de Souzdal.
Khanenko. L'exposition d'art à Kieff.
S. Yarémitch. Réponse à M. Khanenko.
Silène. Un esthète russe à Paris.
Livres.
Notices.
Renseignements.
Conditions de concours.



Л. Пастернак «А. Толстой в семье».
Выставка «Мир Искусства», 1902 г.
Собств. Музея Императора Александра III.

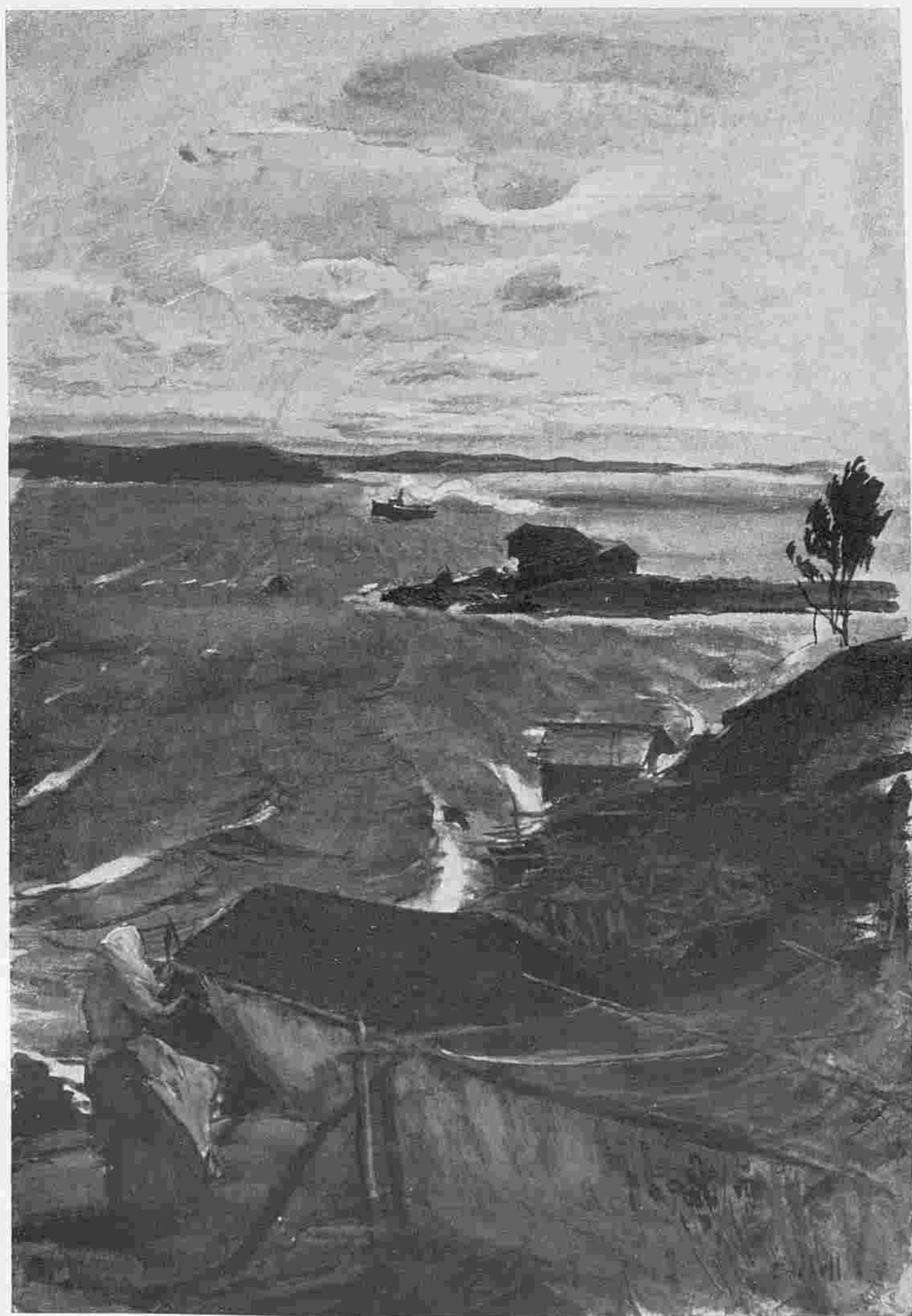
М. ЭНКЕЛЬ.



*М. Энкель (M. Enckell).
Портретъ.
Выставка произведений художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



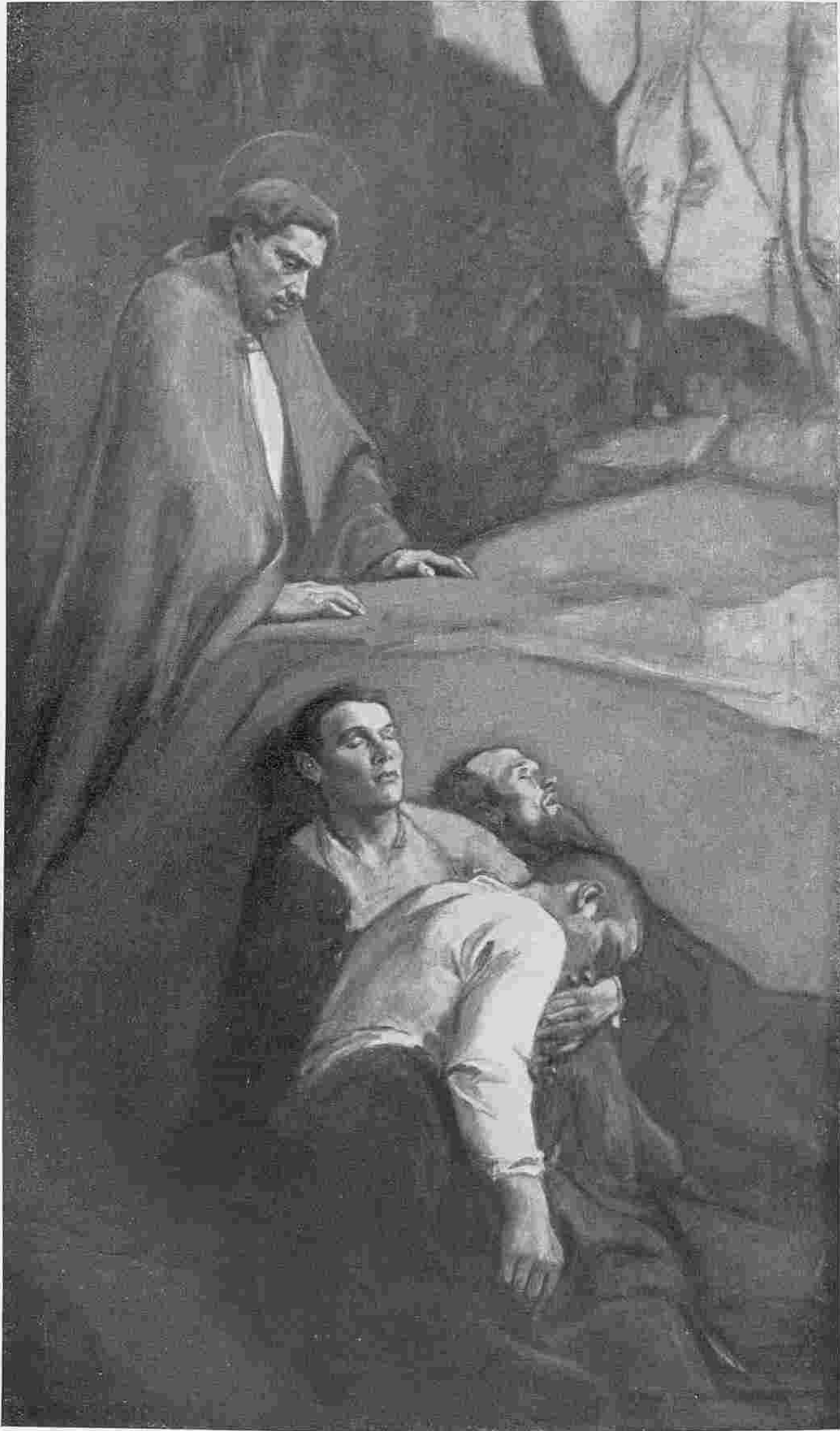
*М. Энкель. (M. Enckell).
Портретъ.
Выставка произведений художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



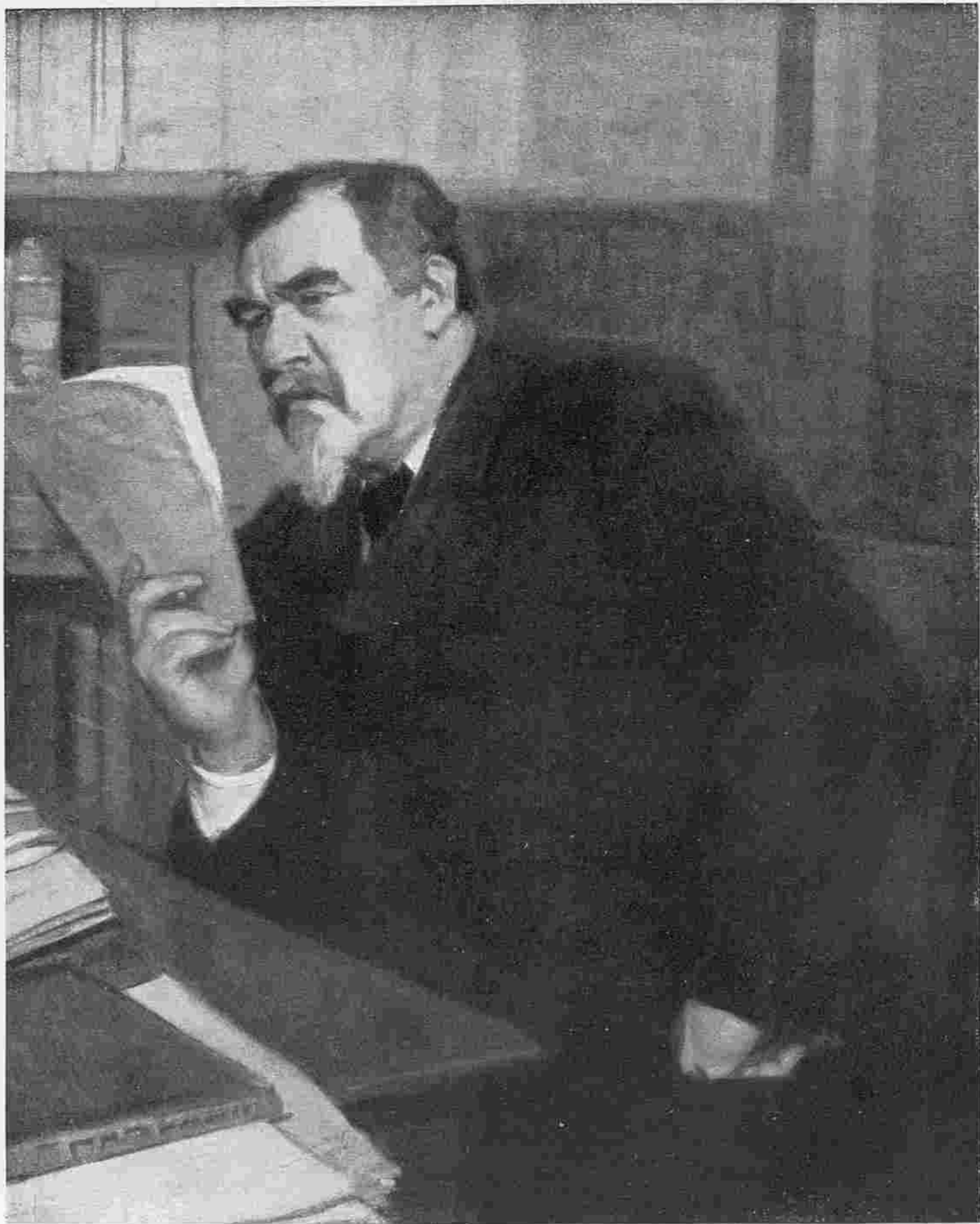
*М. Энкель (M. Enckell).
Пейзажъ.*



*М. Энкель (M. Enckell).
Этюдъ.
Выставка произведений художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



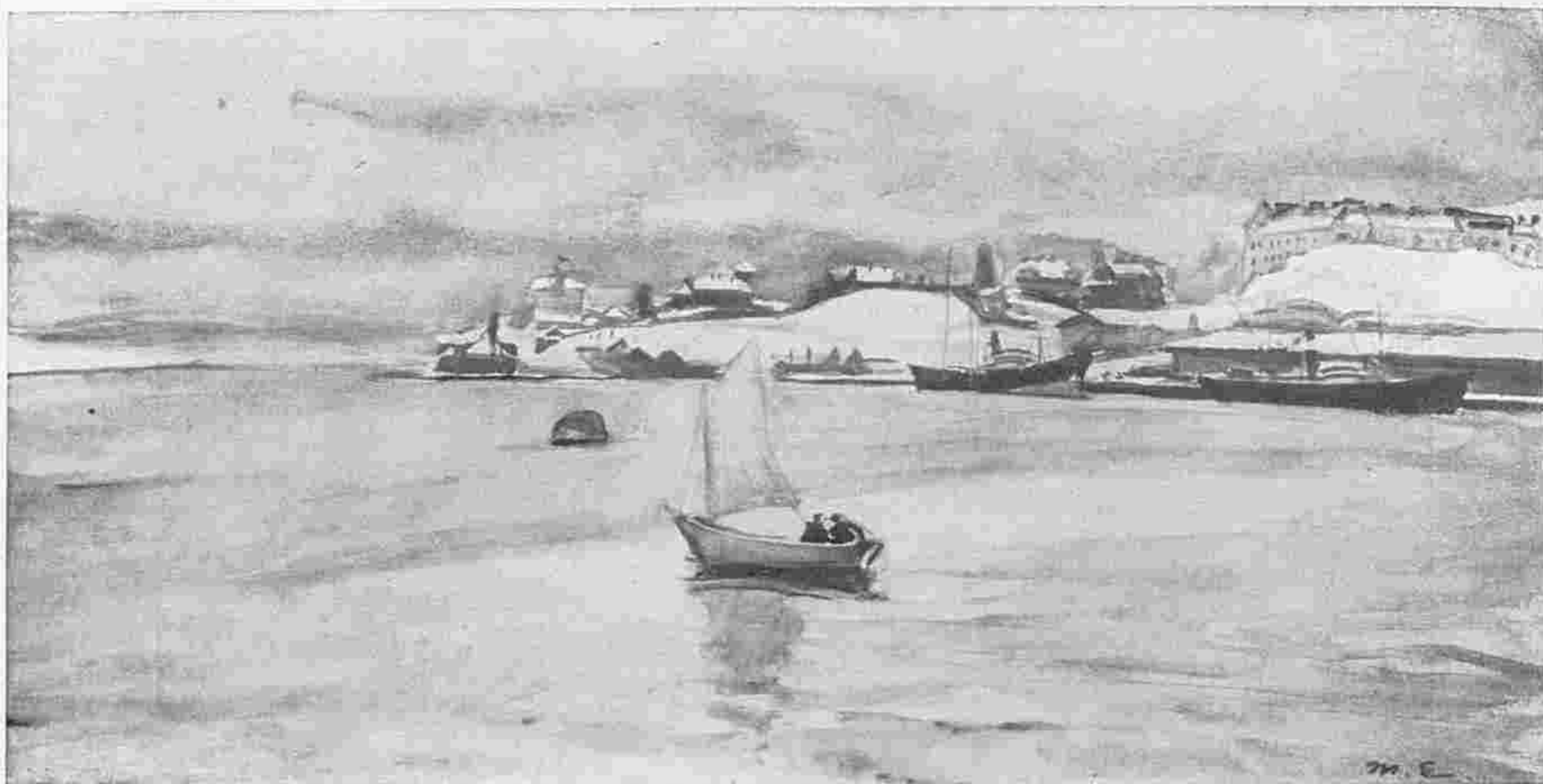
*М. Энкель (M. Enckell).
Христосъ на горѣ Елеонской (Лук. 25, 45).
Выставка произведенийъ художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



*М. Энкель (M. Enckell).
Портретъ.
Выставка произведенийъ художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



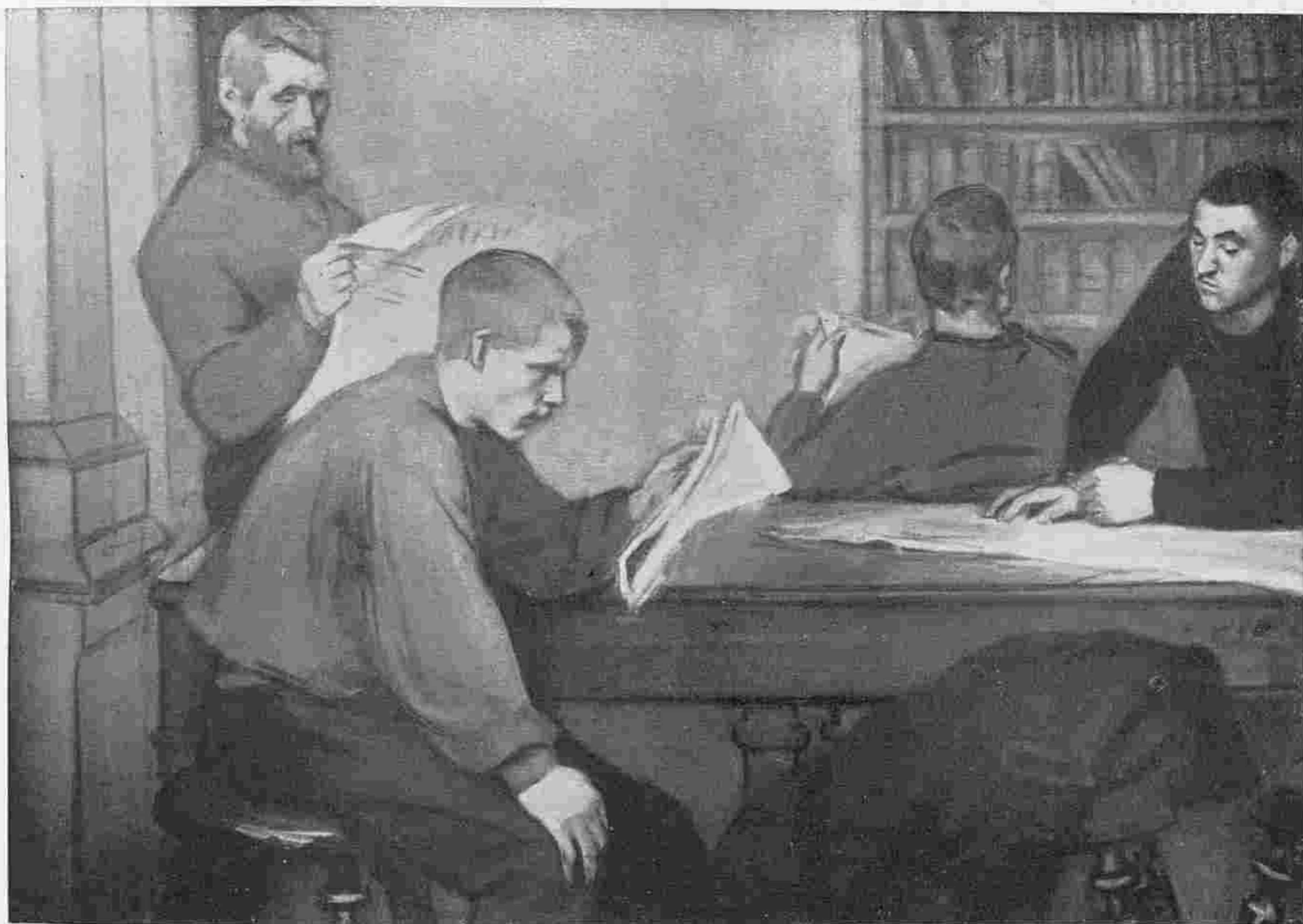
*М. Энкель (M. Enckell).
На озеро.
Выставка произведений художника.
Гельсингфорс 1902 г.*



*М. Энкель (M. Enckell).
Пейзажъ.
Выставка произведенийъ художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



*М. Энкель (M. Enckell).
Жажда.
Выставка произведенийъ художника.
Гельсингфорсъ 1902 г.*



М. Энкель (M. Enckell).

Народная читальня.

Декоративное панно для финляндского павильона на парижской выставке 1900 г.

В. В А Л Ъ Г Р Е Н Ъ.



*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Бретонская дѣвочка.*



*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Бретонская дѣвочка.*



*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Бретонка.*



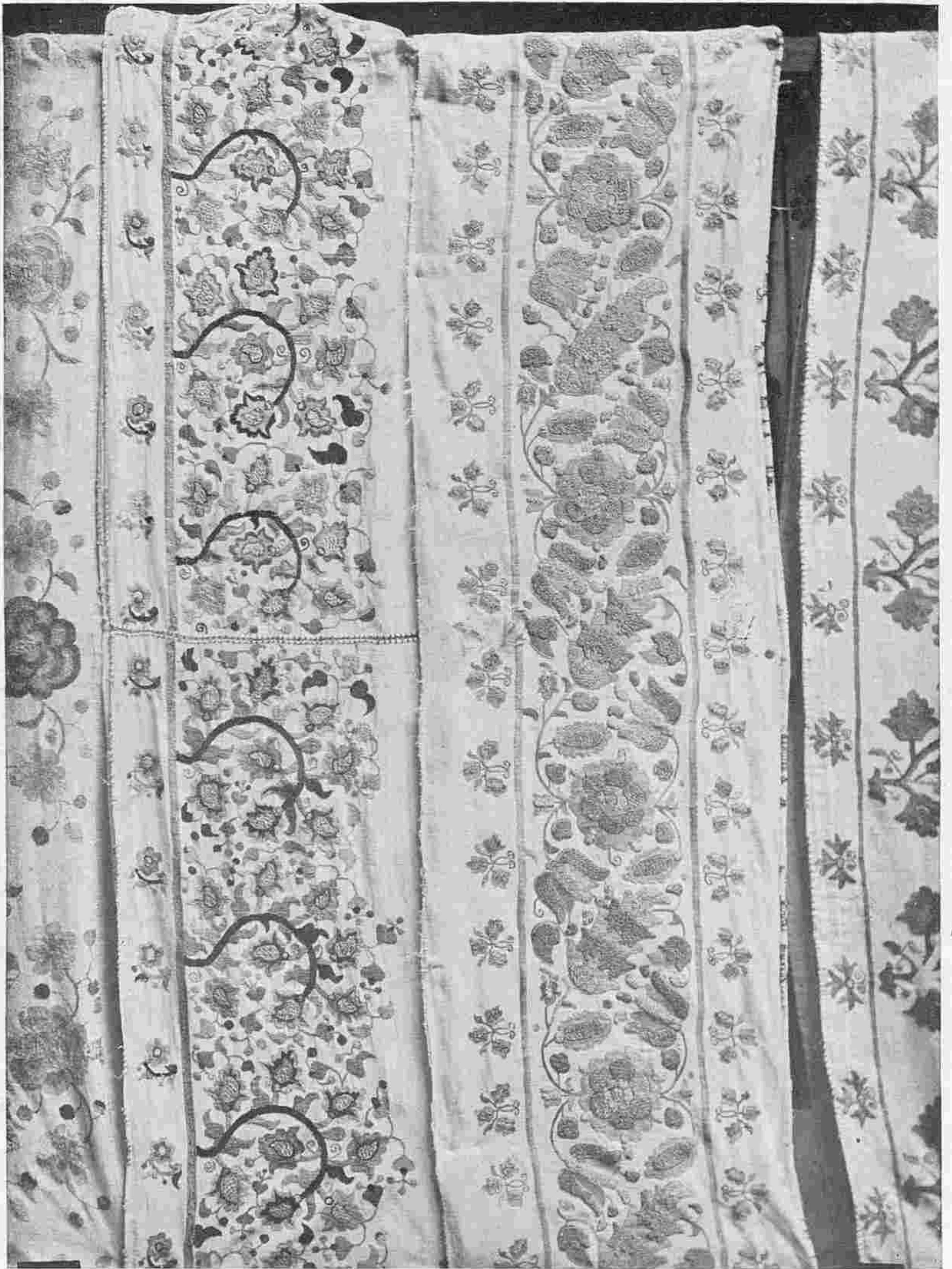
*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Мать.*



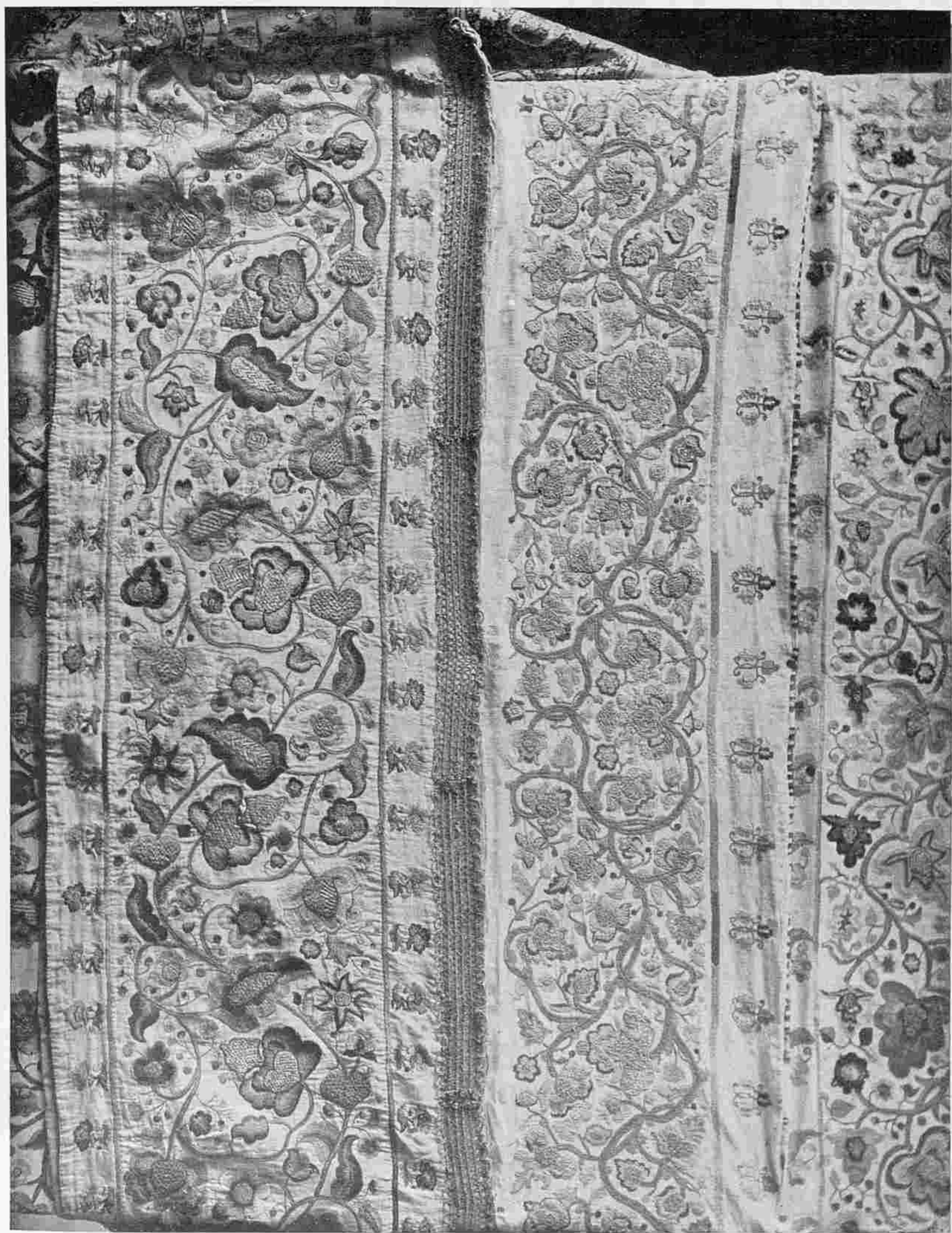
*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Скульптура.*



*В. Вальгренъ (V. Vallgren).
Скульптура.*



*Южнорусское шитье XVIII в.
Изъ собр. В. Н. и Б. П. Ханенко въ Кіевѣ.*



Южнорусское шитье XVIII в.
Изъ собр. В. Н. и Б. П. Ханенко въ Кіевѣ.



*Южнорусское шитье XVIII в.
Изъ собр. В. Н. и Б. П. Ханенко въ Кіевѣ.*



ДОСТОЕВСКІЙ И НИТШЕ. (философія трагедіи.)

XXII.

Такимъ образомъ, мы въ сочиненіяхъ Нитше менѣе всего должны искать тѣхъ заключеній, къ которымъ онъ пришелъ, отклоняя естественно выросшіе въ его душѣ запросы. Наоборотъ, всѣ такого рода сужденія мы, въ свою очередь, должны систематически и послѣдовательно отклонять и устранять, какъ устраняются всякаго рода незаконныя притязанія. Пусть больной и страждущій говоритъ, какъ больной и страждущій и только о предметахъ, которые имѣютъ для него значеніе. *Unbedingte Verschiedenheit des Blicks* ведетъ къ ужасу и холоду одиночества; глубокое подозрѣніе къ жизни грозитъ еще болѣе страшными послѣдствіями, говоритъ онъ. Мы все это знаемъ и тѣмъ не менѣе требуемъ отъ Нитше только одной правды о его жизни. И, главное, вѣдь, въ концѣ концовъ, онъ самъ всѣми силами хочетъ высказаться, открыть читателю свою мучительную тайну, какъ и Достоевскій въ своемъ „великомъ инквизиторѣ“. Иначе, для чего были-бы предисловія? Отчего-бы не оставить насъ при убѣжденіи, что „*Menschliches, Allzumenschliches*“ — это обыкновенныя книги, въ которыхъ здоровый человѣкъ разсуждаетъ какъ здоровый и о предметахъ, равно всѣмъ интересныхъ? Если

Нитше не высказывался до конца жизни прямо и открыто, то лишь потому, что не смѣлъ отважиться на такой подвигъ, вѣрнѣе, потому, что не наступило еще время говорить съ людьми обо всемъ откровенно. Въ ихъ сознаніи уже брежитъ новая истина, но она пока кажется не истиной, а пугаломъ, страшнымъ призракомъ, пришедшимъ изъ иного, чуждаго намъ, міра. Ее не рѣшаются назвать настоящимъ именемъ, о ней говорятъ полунамекami, условными знаками, символами. Мы видѣли, на какія хитрости пускался Достоевскій: его мысль почти невозможно фиксировать; за ней даже услѣдить трудно; она скользитъ и вьется точно угорь и подъ конецъ, словно умышленно, пропадаетъ въ густомъ туманѣ непримиримыхъ противорѣчій. Тоже у Нитше. Нужно много пристальнѣйшаго вниманія, нуженъ тотъ „сочувственный взглядъ“, о которомъ онъ говоритъ, чтобы разобраться въ его сочиненіяхъ и не потеряться въ хаосѣ необоснованныхъ гипотезъ, произвольныхъ психологическихъ догадокъ, лирическихъ отступленій, загадочныхъ образовъ. Онъ и самъ это знаетъ: „недаромъ, говоритъ онъ, я былъ и остался, быть можетъ, до сихъ поръ филологомъ, т. е., учителемъ медленнаго чтенія: это пріучаетъ, наконецъ, и писать медленно. Теперь уже не только вошло у меня

въ привычку, но и стало моимъ вкусомъ: ничего не писать, что бы не привело въ отчаяніе всякаго рода торопящихся людей. Филологія есть то почтенное искусство, которое требуетъ отъ своихъ поклонниковъ прежде всего одного: уйти въ сторону, дать себѣ время поразмыслить, притихнуть, замедлить движенія¹⁾. Но, пожалуй, одного терпѣнія и доброй воли недостаточно. Шопенгауеръ справедливо замѣтилъ, что „необходимое условіе для пониманія какъ поэзіи, такъ и исторіи, составляетъ собственный опытъ: ибо онъ служитъ какъ-бы словаремъ того языка, на которомъ онѣ говорятъ“. Такого рода словарь до нѣкоторой степени обязателенъ и при чтеніи сочиненій Нитше. Ибо, несмотря на всѣ его теоретическія соображенія, онъ самъ все-же принужденъ былъ пользоваться своими переживаніями, какъ единственнымъ источникомъ познанія: „каковъ-бы ты ни былъ, говоритъ онъ, служи себѣ источникомъ своего опыта“²⁾. И иначе, конечно, невозможно. Система притворства можетъ въ лучшемъ случаѣ придать внѣшне благообразный видъ сочиненіямъ писателя, но отнюдь никогда не дастъ ему необходимаго содержанія. Такъ у Достоевскаго мысль подпольнаго человѣка прячется подъ формой обличительной повѣсти: „смотрите, дескать, какіе бываютъ дурные и себялюбивые люди, какъ овладѣваетъ иногда эгоизмъ бѣднымъ двуногимъ животнымъ“. Нитше же не романистъ, онъ не можетъ говорить „устаами“ постороннихъ будто-бы героевъ, ему нужна научная теорія. Но развѣ нѣтъ такихъ теорій, которыя-бы подошли къ его новому опыту?

Была-бы только охота выбирать, а теорія найдется. Нитше остановился на

¹⁾ Соч. т. IV, стр. 10.

²⁾ Соч. т. II, 292.

позитивизмѣ, обосновывающемъ утилитарную точку зрѣнія на морали лишь потому, что она, при соотвѣтствующемъ желаніи, открываетъ больше всего простора подпольной мысли. Онъ могъ-бы, какъ Достоевскій, удариться въ крайній идеализмъ и выступить въ роли обличителя. Онъ могъ-бы бичевать всѣ проявленія эгоизма, т. е. рассказывать о собственныхъ „низкихъ“ помыслахъ и метать громы и молніи по адресу своихъ читателей, какъ дѣлаетъ гр. Толстой. Выборъ формы рѣшилъ отчасти случай, отчасти особый складъ характера Нитше и та душевная подавленность, которую онъ испытывалъ въ первые годы своей болѣзни. У него не было достаточно силъ, чтобы гремѣть и проклинать, и онъ пристроился къ холодному познанію. Потомъ, въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ онъ уже входитъ въ роль и вооружается грозными перунами. Но въ „Menschliches, Allzumenschliches“ и „Morgenröthe“ предъ нами — позитивистъ, утилитаристъ, рационалистъ, холодно и спокойно сводящій всѣ высшія и благороднѣйшія проявленія человѣческой души къ низшимъ и элементарнѣйшимъ, въ цѣляхъ будто-бы теоретическаго познанія. „Человѣческое, слишкомъ человѣческое“, пишетъ Нитше въ дневникѣ 1888 года, „есть памятникъ кризиса. Эта книга — называется книгой для свободныхъ умовъ (ein Buch für freie Geister): въ ней почти каждая фраза знаменуетъ побѣду, въ ней я освобождаюсь отъ всего, что чуждо моей натурѣ. Чуждъ мнѣ всякаго рода идеализмъ; названіе книги уже говоритъ: гдѣ вы видите проявленіе идеализма, тамъ я вижу лишь человѣческое, увы! слишкомъ человѣческое. Я знаю людей лучше“¹⁾. Въ 1888 году, какъ видите,

¹⁾ Förster-Nietzsche, т. II, стр. 296.

Нитше былъ много смѣлѣе и увѣреннѣе, чѣмъ въ 1876 г., когда онъ писалъ „Menschliches, Allzumenschliches“. Но все-же и теперь онъ ссылается на то, что знаетъ „людей“, т. е. не себя, а другихъ! А между тѣмъ все содержаніе „Menschliches, Allzumenschliches“ взято исключительно изъ собственнаго опыта: Нитше имѣлъ лишь возможность убѣдиться, что идеализмъ чуждъ *ему*, что въ его душѣ мѣсто идеальныхъ стремленій занимаютъ человѣческія, слишкомъ человѣческія побужденія. И въ 1876 году это открытіе не только не обрадовало его, но уничтожило. Вѣдь онъ весь еще былъ проникнутъ тогда ученіемъ Шопенгауера. Вѣдь почти тогда-же онъ, восхваляя своего воспитателя, восклицалъ: „Шопенгауеръ учитъ жертвовать своимъ я, подчинять себя благороднѣйшимъ цѣлямъ—прежде всего справедливости и милосердію“¹⁾. Возможно ли повѣрить, что онъ сразу отказался отъ „благороднѣйшихъ“ цѣлей и призналъ свои человѣческіе запросы единственно законными и справедливыми? Увы! до этого онъ не дошелъ и не могъ дойти даже подъ конецъ жизни—въ моментъ же разрыва съ Шопенгауеромъ и Вагнеромъ онъ, конечно, считалъ свою неспособность къ самопожертвованію исключительно одному ему свойственной чудовищной аномаліей психической организаціи. Прежде чѣмъ рѣшиться подъ покровомъ общепризнанной ученой теоріи — исподволь и незамѣтно рассказать о себѣ, онъ провелъ не одну бессонную ночь въ попыткахъ вернуть свою заблудшую душу къ высокому ученію о самоотреченіи. Но всѣ попытки оказались напрасными. Чѣмъ больше онъ убѣждалъ себя въ необходимости отказаться отъ своего я, чѣмъ

ярче онъ рисовалъ себѣ картину будущаго преуспѣянія человѣчества,—тѣмъ горше, обиднѣе и больнѣе было ему думать, что на торжествѣ жизни не будетъ его, что онъ даже лишенъ возможности дѣятельно способствовать грядущей побѣдѣ человѣчества. „Люди достигнуть своихъ высшихъ цѣлей, не будетъ на землѣ ни одного униженнаго и жалкаго существа, истина будетъ сиять всѣмъ и каждому—развѣ этого мало, чтобъ утѣшить твою бѣдную душу, развѣ это не можетъ искупить твоего позора? Забудь себя, отрекись отъ себя, гляди на другихъ, любуйся и радуйся будущимъ надеждамъ человѣчества, какъ учили мудрецы съ древнѣйшихъ временъ. Иначе—ты дважды ничтожность. Иначе ты не только разбитый, но и нравственно погибшій человѣкъ“. Такія и еще болѣе страшныя слова, употребляемая человѣкомъ только наединѣ съ собой и до сихъ поръ не вынесенныя на свѣтъ Божій ни однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ психологовъ—даже Достоевскимъ, нашептывала Нитше его воспитанная въ идеалистическихъ ученіяхъ совѣсть. Вѣдь онъ происходилъ изъ семьи лютеранскихъ пасторовъ: его отецъ и дѣдъ были проповѣдниками, его мать и бабка были дочерьми проповѣдниковъ. Приходилось-ли вамъ когда нибудь слышать или читать нѣмецкія евангелическія проповѣди? Если приходилось — то вы поймете, что происходило въ душѣ Нитше. Его не спрашивали, можетъ-ли онъ исполнить предъявленныя къ нему требованія. Его не хотѣли укрѣпить, наставить, обнадежить. Денно и ночью лишь гремѣлъ надъ нимъ грозный голосъ, произносившій страшное заклинаніе: *ossa arida, audite verbum Dei*.. Нитше понялъ тогда, что отъ людей ему больше нечего ждать. Въ первый разъ въ жизни по-

¹⁾ Соч., т. I, стр. 410.

чувствовалъ онъ, что значитъ полное одиночество. Весь міръ былъ противъ него и онъ, поэтому, — противъ всего міра. Компромиссъ, уступка, соглашеніе — невозможно. Ибо одно изъ двухъ: либо Нитше правъ, либо точно его трагедія такъ глубоко, такъ неслыханно ужасна, что всѣ люди должны забыть свои обычные радости и огорченія, свои повседневныя заботы и интересы и вмѣстѣ съ нимъ надѣтъ вѣчный трауръ по безвинно загубленной молодой жизни, либо онъ самъ долженъ отречься отъ себя и не притворно, а отъ всей души исполнить тѣ требованія, которыя предъявлялись къ нему отъ имени вѣчной мудрости. Но, если нельзя было принудить весь человѣческій родъ страдать горемъ одного нѣмецкаго профессора, то и, наоборотъ, въ такой-же мѣрѣ невозможно было никакими пытками и угрозами вырвать у этого нѣмецкаго профессора добровольное отреченіе отъ своихъ правъ на жизнь. Весь міръ и одинъ человѣкъ столкнулись межъ собой и оказалось, что это двѣ силы равной величины; болѣе того, на сторонѣ „міра“ были всѣ традиціи прошлаго, вся вѣковая человѣческая мудрость, собственная совѣсть Нитше, наконецъ — сама очевидность, а на сторонѣ Нитше — что было на его сторонѣ кромѣ одного отчаянія?...

Что-же поддержало Нитше въ этой безумной и неравной борьбѣ? Отчего онъ не отступилъ предъ своимъ безмѣрно могучимъ противникомъ? Гдѣ взялъ онъ отвагу не то, что бороться — а хоть на минуту прямо взглянуть въ глаза такому врагу? Правда, борьба была ужасная, неслыханная. Но тѣмъ болѣе она поражаетъ насъ. Не кроется-ли въ ней та правда о человѣкѣ, о которой шла рѣчь въ концѣ предыдущей главы? И не значитъ-ли это, что, возставая вмѣстѣ съ міромъ на Нитше, человѣческая правда — была ложью?

Въ этомъ сущность того, что Нитше называетъ въ себѣ „unbedingte Verschiedenheit des Blicks“, въ этомъ отличіе его взгляда на жизнь отъ всѣхъ тѣхъ видовъ философскаго міросозерцанія, которые доселѣ существовали. Человѣческій разумъ, человѣческая мудрость, человѣческая нравственность, присвоившіе себѣ право окончательнаго, послѣдняго суда, говорили ему: ты раздавленъ, ты погибъ, тебѣ нѣтъ спасенія, у тебя нѣтъ надежды. Повсюду, куда онъ ни обращался, онъ слышалъ эти холодныя, безжалостныя слова. Самыя высокія, ультра-метафизическія ученія въ этомъ случаѣ нисколько не отличались отъ сужденій обыкновенныхъ, простыхъ, никогда не заглядывавшихъ въ книги людей. Шопенгауеръ, Кантъ, Спиноза, матеріалисты, позитивисты, глядя на Нитше и его судьбу, не могли ничего ему сказать, что не исчерпывалось-бы знаменитой фразой, обращенной флегматическимъ бѣлоруссомъ къ тонувшему товарищу: „не трать, Оома, здоровья, ступай ко дну“. Разница была лишь въ томъ, что „ученія“ не были столь откровенны, какъ бѣлорусскій мужикъ, да кромѣ того требовали къ себѣ почтительнаго, умиленнаго, благоговѣйнаго отношенія, даже благодарности: они вѣдь даютъ метафизическое или нравственное утѣшеніе! Они вѣдь не отъ міра сего, они отъ чистаго разума, отъ *conceptio immaculata*! И все, что не съ ними, все, что противъ нихъ, цѣликомъ относится къ презрѣнному, жалкому, земному, человѣческому „я“, отъ котораго философы, благодаря возвышенности и геніальности своей природы, давно уже счастливо освободились.

Нитше-же чувствовалъ, что всѣ ме-

тафизическія и нравственныя идеи для него совершенно перестали существовать, между тѣмъ какъ такъ оклеветанное „я“, разросшись до неслыханныхъ, колоссальныхъ размѣровъ, заслонило предъ нимъ весь міръ... Другой человекъ на его мѣстѣ смирился-бы, можетъ быть, навсегда; онъ-бы и умеръ въ томъ убѣжденіи, что имѣлъ несчастіе появиться на свѣтъ Божій безъ тѣхъ возвышенныхъ добродѣтелей, которые украшаютъ другихъ людей, въ особенности краснорѣчивыхъ и патетическихъ учителей добра. Но, къ счастью, онъ самъ успѣлъ еще до своей болѣзни нѣсколько разъ выступить въ роли учителя и, слѣдовательно, въ собственномъ прошломъ имѣлъ уже нѣкоторый матеріалъ для „психологіи“. Оглядываясь на свои первыя литературныя произведенія, заслужившія такіа восторженные похвалы со стороны Вагнера и другихъ знаменитостей того времени, онъ естественно долженъ былъ задать себѣ вопросъ: „вѣдь вотъ я-же имѣлъ не менѣе благородный и идеальный видъ, чѣмъ всѣ другіе писатели, я горячо и хорошо проповѣдывалъ добро, взывалъ къ истинѣ, пѣлъ гимны красотѣ—не хуже, пожалуй, чѣмъ самъ Шопенгауеръ въ своихъ юношескихъ произведеніяхъ. А между тѣмъ одинъ тяжелый ударъ судьбы, простой, ординарный, глупый случай, несчастіе, которое могло-бы приключиться со всякимъ, съ великимъ и съ малымъ сего міра—и я вдругъ убѣждаюсь, что тотъ эгоизмъ, котораго я никогда въ себѣ не подозрѣвалъ, свойственъ мнѣ такъ-же, какъ и обыкновеннымъ смертнымъ. Не значить-ли, что и всѣ другіе учителя притворяются, что и они, когда вѣщаютъ объ истинѣ, добрѣ, любви, милосердіи — только играютъ торжественную роль,—кто добросовѣстно и въ

невѣдѣніи, какъ когда-то я, а кто, можетъ быть, недобросовѣстно и сознательно? Не значить-ли, что всѣ великіе и святыя люди, если-бы ихъ поставить на мое мѣсто, такъ-же мало могли утѣшиться своими истинами, какъ и я? И что, когда они говорили о любви, самопожертвованіи, самоотреченіи, подъ всѣми ихъ красивыми фразами, какъ змѣя въ цвѣтахъ, скрывался тотъ-же проклятый эгоизмъ, который я такъ неожиданно открылъ въ себѣ и съ которымъ я такъ безумно и такъ напрасно борюсь“? Эта мысль, еще неясная, можетъ быть даже не мысль, а инстинктъ, опредѣлила собою характеръ ближайшихъ исканій Нитше. Онъ вовсе не такъ увѣренно остужалъ идеалы, какъ рассказываетъ о томъ въ дневникѣ 1888 года. Въ его сочиненіяхъ мы имѣемъ десятки свидѣтельствъ о томъ, сколько колебаній и сомнѣній пришлось испытать ему въ первое время своего самостоятельнаго творчества. Въ сохранившихся послѣ него бумагахъ есть замѣтка, относящаяся къ 1876 году, т. е. къ той эпохѣ, когда писалось „Menschliches, Allzumenschliches“. „Какъ можно, спрашиваетъ онъ себя, находить удовольствіе въ той *тривіальной* мысли, что мотивы всѣхъ нашихъ поступковъ могутъ быть сведены къ эгоизму“¹⁾. Увѣренности, какъ видите, еще нѣтъ: мысль представляется ему тривіальной, но какая-то непонятная еще ему самому сила влечетъ его къ ней. Впослѣдствіи, въ 1886 году, бросая ретроспективный взглядъ на происхожденіе „Morgenröthe“, онъ говоритъ: „Въ этой книгѣ вы видите подземнаго человека за работой, — какъ онъ роетъ, копаетъ, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать въ глу-

¹⁾ Соч. т. XI, стр. 133.

бинѣ, какъ онъ медленно, осторожно, съ кроткой неумолимостью идетъ впередъ, не слишкомъ выдавая, какъ трудно ему такъ долго выносить отсутствіе свѣта и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что онъ доволенъ своей темной работой. Начинаетъ даже казаться, что его ведетъ какая-то вѣра, что у него есть свое утѣшеніе... Ему, можетъ быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо онъ знаетъ, что его ждетъ: свое утро, свое избавленіе, своя зоря¹⁾. Но до вѣры, до зари еще ему было далеко. Любимой его мыслью, съ которой онъ въ то время никогда не разставался и которую онъ варьировалъ на самые многоразличные лады, выражается въ слѣдующемъ афоризмѣ: „вы думаете, что все хорошее—имѣло во всѣ времена совѣсть на своей сторонѣ? Наука, т. е. уже несомнѣнно нѣчто хорошее, обходилась долгое время безъ совѣсти и являлась въ жизнь безъ всякаго паѳоса, всегда тайно, окольными путями, прячась подъ покрываломъ или маской, подобно преступнику или въ лучшемъ случаѣ съ тѣмъ чувствомъ, которое долженъ испытывать контрабандистъ. Дурная совѣсть есть лишь предыдущая ступень, а не противоположность чистой совѣсти: ибо все хорошее было когда-то новымъ, стало быть непривычнымъ, противнымъ нравамъ, безнравственнымъ и грызло, какъ червь, сердце того счастливица, который открылъ его впервые“²⁾. Это достаточно выясняетъ, сколько борьбы, колебаній, сомнѣній пришлось вынести Нитше на его „новомъ“ пути. Вездѣ видѣтъ „человѣческое“, одно лишь человѣческое, ему было страшно, но вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо. Не

изъ простаго любопытства, даже не изъ научной любознательности принялся онъ за свою подземную работу: ему нужна была долгая тьма, ему нужно было непонятное, таинственное, загадочное. О, какъ влекло его „назадъ“—къ тому простому, легкому, устроенному міру, въ которомъ онъ жилъ въ молодости! Какъ хотѣлъ онъ примириться съ „совѣстью“, вновь вернуть себѣ право торжественно говорить за-одно со всѣми учителями о высокихъ предметахъ! Но всѣ пути „назадъ“ были ему заказаны: „До сихъ поръ, рассказываетъ онъ, хуже всего умѣли думать о добрѣ и злѣ: это всегда было слишкомъ опаснымъ дѣломъ. Совѣсть, доброе имя, адъ, а подчасъ даже и полиція не дозволяли и не дозволяютъ здѣсь откровенности; въ присутствіи нравственности, какъ и въ присутствіи каждой власти, думать или разговаривать не разрѣшается: здѣсь нужно—ловиниваться. Съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, ни одна власть еще добровольно не соглашалась стать предметомъ критическаго обсужденія; критиковать нравственность, принимать ее, какъ проблему, какъ нѣчто проблематическое—развѣ это не значило самому стать безнравственнымъ? Но нравственность располагаетъ не только всякаго рода устрашающими средствами, чтобъ отпугивать отъ себя безпощадную критику; ея сила и прочность еще больше коренятся въ собственномъ ей особомъ искусствѣ очаровывать людей: она умѣетъ вдохновлять. Одного ея взгляда бываетъ достаточно, чтобы парализовать критическую волю, переманить ее на свою сторону, даже обратиться ея противъ нея-же самой, такъ что критикъ, подобно скорпіону, впивается жаломъ въ свое собственное тѣло. Съ древнѣйшихъ временъ нравственность владела всѣми средствами искусства убѣжденія: нѣтъ такихъ ораторовъ, ко-

¹⁾ Соч. т. IV, 3.

²⁾ Соч. т. III, 49.

торые не обращались-бы къ ея помощи. Съ тѣхъ поръ, какъ на землѣ говорятъ и убѣждаютъ, нравственность всегда оказывалась величайшей соблазнительницей—и, что касается насъ, философовъ, она была для насъ истинной Цирцеей¹⁾...

И такъ, все въ жизни лишь „человѣческое, слишкомъ человѣческое“ — и въ этомъ спасеніе, надежда, новая заря? Можно ли придумать болѣе парадоксальное утвержденіе? Пока у насъ были лишь первыя сочиненія Нитше, въ которыхъ онъ увѣрялъ, что для него важна лишь объективная истина, мы могли объяснить себѣ такую странность, отнеся Нитше къ тому, довольно распространенному, типу кабинетныхъ ученыхъ, которые умѣютъ за своей теоретической работой забывать и міръ, и людей, и жизнь. Но теперь очевидно, что Нитше никогда не былъ позитивистомъ. Ибо, что общаго между позитивизмомъ и новой зарей? У позитивизма своя заря, свои надежды, свое оправданіе; его вѣра—утилитарная мораль, та самая мораль, подъ которую такъ упорно и такъ долго подкапывался Нитше. Обитателей подполья утилитаризмъ сознательно игнорируетъ, понимая, что онъ имъ ничѣмъ помочь не можетъ. Правда, онъ ставитъ своей задачей счастье людей и принципиально никому не желаетъ отказывать въ правѣ на жизнь. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣку отказано въ этомъ такъ называемыми независящими обстоятельствами, утилитарная мораль ничего не можетъ подѣлать и, не желая открыто признавать свое безсиліе, бросается въ объятія идеализму. Незамѣтно для неопытнаго глаза, она слова „счастье людей“ замѣняетъ другими, съ виду очень по-

хожими словами, — „счастье большинства“. Но сходство здѣсь лишь внѣшнее. „Счастье большинства“ не только не значитъ то-же, что „счастье людей“, но значитъ прямо противоположное. Ибо во второмъ случаѣ предполагается, что всѣ будутъ устроены, въ первомъ-же меньшинство приносится въ жертву большинству. Но развѣ позитивизмъ имѣетъ право призывать къ жертвѣ, развѣ онъ умѣетъ оправдать жертву? Вѣдь онъ обѣщаль счастье и только счастье, вѣдь онъ внѣ счастья не видитъ смысла жизни, и вдругъ—жертва! Ясно, что въ трудную минуту ему не обойтись безъ помощи идеализма; менѣе ясно, но столь-же несомнѣнно, что утилитаризмъ никогда и не хотѣлъ разлучаться съ идеалами. Онъ только бравировалъ своей научностью, а въ глубинѣ души (у утилитаризма была „душа“, кто-бы могъ подумать!) вѣрилъ въ правду, добро, истину, въ непосредственную интуицію, во всѣ высокія и святыя слова. И Достоевскій, изображая Ракитина „подсаленнымъ“, клеветалъ, какъ уже было указано, на вѣру позитивизма.

Но Нитше уже давно распростился съ идеалами. „Счастье большинства“ его не прельщало. Жертва? Можетъ быть, онъ еще способенъ былъ вдохновиться этимъ красивымъ словомъ—но увы! ему уже нечѣмъ было жертвовать. Что могъ отдать онъ? Свою жизнь? Но это было-бы не жертвой, а самоубійствомъ. Онъ радъ былъ-бы умереть, чтобъ избавиться отъ постылой жизни. Но къ алтарю сносятся лишь богатые дары и измученное, надломленное, изуродованное существованіе не по вкусу добру, которое, какъ языческіе идолы, требуетъ себѣ молодья, свѣжія, прекрасныя, счастливыя, не тронутыя страданіемъ жизни.

¹⁾ Соч. т. III, стр. 4.

Слѣдовательно, подъ прикрытіемъ позитивизма, Нитше преслѣдовалъ совсѣмъ инныя задачи. Позитивизмомъ, научностью онъ пользовался для постороннихъ цѣлей: то ему нужно было „казаться“ бодрымъ, любопытствующимъ, насмѣшливымъ и т. п., то ему нужна была теорія, къ которой можетъ притти больной и страждущій человѣкъ, отклоняя естественно возникающія въ немъ сужденія. Для насъ все это можетъ имѣть только чисто психологическій интересъ тѣмъ болѣе, что Нитше все время гнулъ свою линію и только ждалъ случая, чтобъ освободиться отъ спутывавшей его теоріи и заговорить смѣло по своему. Но смѣлости нуженъ талантъ, сила, нужно оружіе для борьбы и у Нитше проходитъ нѣсколько лѣтъ, прежде чѣмъ онъ рѣшается открыто возвѣстить свои „подпольныя“ мысли. Я, впрочемъ, полагаю, что настоящіе позитивисты предпочли-бы не имѣть въ своей библіотекѣ даже „Menschliches, Allzumenschliches“ и „Morgenröthe“. Несмотря на то, что въ этихъ книгахъ Нитше ведетъ постоянную войну съ метафизикой, онъ обнаруживаетъ въ своихъ научныхъ стремленіяхъ безпокойство, граничащее съ безтактностью. Сила позитивизма въ умѣнши обходить молчаніемъ всѣ вопросы, признаваемые имъ принципиально неразрѣшимыми и направлять наше вниманіе лишь на тѣ стороны жизни, гдѣ не бываетъ непримиримыхъ противорѣчій: вѣдь и границы нашего познанія именно тамъ кончаются, гдѣ начинаются непримиримыя противорѣчія. Въ этомъ смыслѣ Кантовскій идеализмъ, какъ извѣстно, является вѣрнѣйшимъ союзникомъ позитивизма и знаменитый споръ между Уевеллемъ и Миллемъ если и не былъ, собственно говоря,

споромъ о словахъ и научныхъ терминахъ, то, во всякомъ случаѣ, имѣлъ очень ограниченное теоретическое значеніе. Альбертъ Ланге, осуждая Милля и принимая на себя защиту Уевелля и Канта, только лишній разъ явилъ намъ примѣръ человѣческаго пристрастія. Скажу болѣе: на мой взглядъ не Милль, какъ утверждаетъ Ланге, а скорѣе уже Уевелль проявилъ нѣкоторую недобросовѣстность. Зачѣмъ было доводить Милля до нелѣпыхъ признаній? Всякій другой на мѣстѣ этого послѣдняго нашелъ-бы возможность какъ нибудь извернуться и не брать на себя отвѣтственности за крайніе выводы, всегда, какъ извѣстно, компрометирующіе всякаго рода теоріи. Развѣ кантовская теорія апріорности не приводитъ къ абсурду, къ тому, что называется на философскомъ языкѣ теоретическимъ эгоизмомъ, т. е., къ необходимости каждому человѣку думать, что кромѣ него нѣтъ больше никого во всей вселенной? Наиболѣе добросовѣстные кантіанцы и не скрываютъ этого. Шопенгауеръ, напримеръ, прямо заявляетъ, что теоретическій эгоизмъ опровергнуть невозможно. Но это отнюдь не мѣшаетъ ему развивать свои философскія положенія, исходящія изъ кантовскихъ принциповъ. Отъ неожиданнаго препятствія онъ отдѣльвается шуткой. Теоретическій эгоизмъ, говоритъ онъ, есть, правда, крѣпость неприступная, но находящійся въ ней гарнизонъ такъ слабъ, что можно, не взявши ее, смѣло идти впередъ и не бояться нападенія съ тылу. И это почти единственный способъ спасти идеализмъ отъ грозящаго ему *reductio ad absurdum*. Другой, болѣе распространенный и вѣрный способъ, это просто забыть о теоретическомъ эгоизмѣ, „игнорировать“ его. Если-бы Милль захотѣлъ прибѣгнуть къ такого рода приемамъ,

онъ могъ-бы гораздо болѣе побѣдоносно закончить свою полемику. Но Милль былъ честнымъ человѣкомъ, Милль былъ воплощенная честность даже сравнительно съ нѣмцами, представляющими исключительныя претензіи на эту добродѣтель. И его честность намъ изображаютъ, какъ недобросовѣстность! Не знаю, пришлось-ли читать Миллю книгу Ланге—но, если пришлось, то, вѣрно, она лишній разъ подтвердила въ его глазахъ прописную истину о томъ, что у людей не найдешь справедливости.

И въ чемъ увидѣли недобросовѣстность Милля? Въ противоположность Канту онъ не хотѣлъ признавать внѣ-опытнаго познанія и въ причинной связи явленій видѣлъ только ихъ фактическое, дѣйствительное, а не необходимое отношеніе. Само собою разумѣется, что у Милля никогда и въ мысляхъ не было посягать на неизмѣнность законовъ природы. Но развѣ опытъ тысячелѣтій не служитъ достаточнымъ залогомъ неизмѣнности? Для чего-же обращаться къ опасному метафизическому способу доказательствъ, когда на самомъ дѣлѣ въ наше время уже никто серьезно не сомнѣвается въ законмѣрности явленій природы? Метафизика пугала положительнаго мыслителя. Сегодня возвѣщается апріорность закона причинности, идеальность пространства и времени, а завтра, на такомъ-же основаніи, станутъ оправдывать ясновидѣніе, вертящіеся столы, колдовство—что хотите. Миллю допущеніе апріорности казалось рискованнѣйшимъ шагомъ въ философіи. И вѣдь его тревога была не напрасна: ближайшее будущее показало, что онъ былъ правъ. Уже Шопенгауеръ воспользовался теоріей Канта объ идеальности времени для объясненія явленій ясновидѣнія. И

вѣдь его заключеніе логически безупречно. Если время есть форма нашего познания, если, слѣдовательно, мы лишь воспринимаемъ, какъ настоящее, прошедшее и будущее, то, что, на самомъ дѣлѣ, происходитъ внѣ времени, т. е. одновременно (это все равно), то слѣдовательно мы не умѣемъ видѣть прошедшее или будущее не потому, что это вообще невозможно, а лишь потому, что наши познавательныя способности устроены извѣстнымъ образомъ. Но наши познавательныя способности, какъ и вся наша духовная организація, не есть нѣчто неизмѣнное. Среди миллиардовъ рождающихся нормальныхъ людей возможны, отъ времени до времени, и отступленія отъ нормы. Возможно такое устройство мозга, при которомъ человѣкъ не будетъ воспринимать явленія во времени, и, стало быть, для него будущее и прошедшее сольются съ настоящимъ и онъ сможетъ предсказывать еще не наступившія и видѣть уже поглощенные для другихъ исторіей событія. Какъ видите, послѣдовательность въ заключеніи чисто „математическая“. Милль, при его добросовѣстности, принужденъ былъ-бы, скрѣпя сердце, увѣровать въ ясновидѣніе, если-бы только призналъ апріорность времени. Хуже того, онъ, вѣрно, не отдѣлался-бы даже отъ теоретическаго эгоизма и принужденъ былъ-бы утверждать, что онъ одинъ только существуетъ во всей вселенной! Такъ что у него были серьезные основанія бояться кантовскаго идеализма. Но это отнюдь не значитъ, что дѣло науки было менѣе близко его сердцу, нежели сердцу Канта и что онъ не стремился утвердить на вѣки-вѣчныя истину о законмѣрности явленій природы: онъ только избѣгалъ опасныхъ гипотезъ и рискованныхъ способовъ доказательства.

И вотъ его противники, въ свою очередь, представляютъ ему возраженіе: если законѣрность явленій природы доказывается только опытомъ, т. е. прошлой исторіей, то принципиально, теоретически, по крайней мѣрѣ, нужно допустить, что когда-нибудь ей можетъ притти и конецъ. Теперь еще господствуетъ законѣрность, но въ одинъ прекрасный день начнется царство произвола. Или здѣсь на землѣ существуетъ причинная связь явленій, а гдѣ-нибудь на отдаленной планетѣ ея нѣтъ. Вы не можете представить никакихъ доказательствъ противнаго, ибо историческое наблюденіе можетъ имѣть лишь ограниченное, относительное значеніе. На мѣстѣ Милля всякій другой все-таки какъ-нибудь извернулся-бы; но Милль не могъ не быть правдивымъ и призналъ, что у насъ точно нѣтъ никакихъ доказательствъ на счетъ завтрашняго дня и дальней планеты. Это значитъ, говоря проще, что до сегодня находящіеся въ покоѣ предметы не приходили сами по себѣ, безъ внѣшней причины, въ движеніе, но завтра все можетъ пойти по иному и камни станутъ прыгать къ небу, горы сойдутъ съ мѣста, рѣки потекутъ вспять ¹⁾. Т. е. опять - таки всего этого не будетъ: тысячелѣтняя исторія достаточно убѣдительно свидѣтельствуемъ объ этомъ, но принципиально такую возможность отрицать нельзя.

¹⁾ Считаю необходимымъ оговориться, что я излагаю мнѣніе Милля „своими словами“. Милль, разумѣется, не говоритъ о „завтра“ (*завтра онъ оберегаетъ для позитивизма*), не упоминаетъ и о движущихся горахъ или текущихъ вспять рѣкахъ: всѣ эти конкретности я прибавилъ уже отъ себя, ради наглядности, конечно. Во избѣжаніе-же нареканій приведу и соответствующую цитату изъ его „Логики“: „Я убѣжденъ, что всякому человѣку... будетъ не трудно представить себѣ, что въ одной изъ многихъ сферъ, на которыя звѣздная астрономія дѣлитъ теперь вселенную, событія могутъ слѣдовать одно за другимъ случайно, безъ всякаго опредѣленнаго закона. Ни въ нашей опытности,

Такъ или почти такъ говорилъ, вѣрнѣе, принужденъ былъ говорить Милль. Понятно, что положительный мыслитель такіе выводы принимаетъ неохотно и лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда его понуждаетъ къ тому особенно развитая совѣсть ученаго. Понятно также, почему у Милля былъ такой огорченный, убитый видъ, когда онъ дѣлалъ эти признанія. Ланге, вѣрно подмѣтивъ, что Миллю измѣнило его обычное, ясное и ровное настроеніе духа, спѣшитъ донести читателю, что причина тому — нечистая совѣсть: Милль чувствуетъ себя прижатымъ къ стѣнѣ и, не желая сознаться въ своей неправотѣ, допускаетъ для него самого очевидно нелѣпыя выводы. На самомъ-же дѣлѣ было какъ разъ наоборотъ: Милль принесъ въ жертву своей совѣсти не „истину“, а свое душевное спокойствіе. Мысль о возможности дѣйствія безъ причины была ему противна до глубины души, мучила его, и, если-бы у него была хоть какая-нибудь возможность, онъ-бы отвергъ ее. Но что предлагали ему идеалисты? Априорныя понятія съ перспективой вертящихся столовъ и вѣры въ ясновидѣніе? Такъ лучше уже дѣйствіе безъ причины гдѣ-нибудь очень далеко и черезъ много тысячъ лѣтъ (*логти* априорная причинность). Тутъ, во-первыхъ, не обманываешь себя, а, во-вторыхъ, въ концѣ концовъ никто никогда не воспользуется этимъ положеніемъ, такъ какъ все равно

ни въ нашей духовной природѣ ничто не представляетъ достаточной или хоть какой-либо причины вѣрить, чтобъ нигдѣ этого не было. Предположимъ (и это вполне возможно вообразить), что настоящій порядокъ вселенной окончился и что наступилъ хаосъ, въ которомъ нѣтъ опредѣленной послѣдовательности событій и прошедшее не ручается за будущее. Если-бы какой-либо человѣкъ чудомъ остался живъ и былъ свидѣтелемъ этой перемѣны, то, навѣрно, скоро пересталъ-бы вѣрить въ какое-бы то ни было единообразіе, т. к. самое единообразіе перестало-бы существовать. („Система логики“, книга III, гл. XXI, § 1-ый).

оно *практически* непримѣнимо и никому не нужно — большаго и самъ Кантъ не добивался. Такъ что всего одинъ неприятный моментъ, зато эмпирическое обоснованіе достовѣрности нашего знанія это такой оплотъ противъ скептицизма, съ которымъ не выдержатъ сравненія никакія метафизическія теоріи познанія, даже кантовскія.

Читатель видитъ, что недобросовѣстны были противники Милля. Я не могу допустить, чтобъ они не чувствовали уязвимости идеализма. Всякій чело-вѣкъ, сколько-нибудь опытный въ философскихъ вопросахъ, отлично знаетъ, что до сихъ поръ еще не была придумана ни одна система, совершенно свободная отъ противорѣчій. Можетъ быть объ этомъ и не слѣдуетъ слишкомъ громко говорить, но вѣдь еще Шопенгауеръ заявилъ, что всякая философія, не признающая предпосылокъ, есть шарлатанство. Эта тайна неизвѣстна только непосвященнымъ. А если такъ, то, значитъ, простое литературное приличіе требовало отъ Уевелля или Ланге, чтобъ они оставили въ покоѣ Милля, не трогали его предпосылокъ и не переходили въ споръ извѣстной черты. У нихъ на совѣсти были и теоретическій эгоизмъ, и ясновидѣніе—великіе и тяжкіе грѣхи, какъ-бы остроумно ни шутилъ Шопенгауеръ: нужно было простить позитивистамъ дѣйствіе безъ причины въ томъ смыслѣ, въ какомъ это допускалъ Милль. Отъ такихъ выводовъ можно отдѣлаться только предпосылками—съ какой-же стати отъ Милля требуютъ доказательствъ? И, главное, къ чему приводятъ такія требованія? Они только способны подорвать довѣріе къ наукѣ вообще, т. е. ко всѣмъ попыткамъ упростить, успокоить, пригладить, приручить дѣйствительность. Они лишь открываютъ путь скептицизму, который,

какъ коршунъ за добычей, слѣдитъ за всякаго рода доведенными до абсурда догматами, и слѣдовательно изъ-за ничѣмъ не оправдываемыхъ теоретическихъ притязаній, *предаютъ* общее дѣло самому опасному врагу, какой только можетъ существовать. Ибо главная задача науки, какъ и морали, состоитъ въ томъ, чтобъ дать людямъ прочную основу въ жизни, научить ихъ знать, что есть и чего нѣтъ, что можно и чего нельзя. Пути-же къ этому все-таки дѣло второе, во всякомъ случаѣ, они не такъ важны, чтобы изъ-за нихъ забывать основную цѣль. Какъ плохо это понимаютъ кантіанцы и какъ хорошо это зналъ Кантъ! Несмотря на то, что онъ не могъ не радоваться и не ставить себѣ въ заслугу свою новую точку зрѣнія въ философіи, онъ видѣлъ въ Юмѣ не врага своего, а союзника и предшественника и высоко цѣнилъ его аргументацію. А вѣдь Милль для науки, пожалуй, значитъ не меньше, чѣмъ Юмъ. Посмотрите только, съ какимъ терпѣніемъ и съ какимъ знаніемъ дѣла обходитъ онъ въ своей „системѣ логики“ или въ трактатѣ объ утилитаризмѣ всѣ подводные камни, встрѣчающіеся на его пути, и какъ неуклонно и неизмѣнно, какой твердой и вѣрной рукой ведетъ онъ свой ученый корабль къ тому берегу, гдѣ живетъ положительная наука, т. е. несомнѣнность, очевидность и, наконецъ, какъ вѣнецъ всего, кантово-толстовская прочность! Развѣ это не колоссальная заслуга? И развѣ апріорныя сужденія приводятъ къ большой прочности и ясности, чѣмъ методъ Милля?

Но, какъ уже сказано, въ концѣ концовъ споръ идеализма съ позитивизмомъ и даже съ матеріализмомъ—есть только споръ о словахъ. Какъ ни язвятъ другъ друга спорящія стороны, постороннему наблюдателю ясно, что въ существен-

номъ онѣ согласны между собой и тутъ только повторяется старая исторія: свои своя не познаша. Что касается Нитше, то только первая его произведенія могутъ быть причислены къ одному изъ существующихъ философскихъ направленій. Начиная-же съ „Menschliches, Allzumenschliches“, т. е. съ того момента, когда онъ взглянулъ на мѣръ своими глазами, онъ сразу равно далеко ушелъ отъ всѣхъ системъ. У позитивизма и материализма онъ бралъ оружіе, чтобъ бороться съ идеализмомъ, и наоборотъ, такъ какъ ничего такъ искренно и глубоко не желалъ, какъ гибели всѣмъ придуманнымъ людьми мировоззрѣніямъ. Та „прочность“, которая считалась высшей и послѣдней цѣлью философскихъ построений и на которую заявляли свои притязанія всѣ основатели школъ, не только не прельщала, но *лугала* его. Для Канта, для материалистовъ, для Милля она была нужна, ибо обезпечивала имъ неизмѣнность того положенія въ жизни, которое имъ было дорого. Но Нитше вѣдь прежде всего добивался *измѣнить* свое положеніе: что могла ему сулить прочность? *Savoir pour grévoir* или законѣнность, которыми такъ соблазнялъ насъ позитивизмъ, звучала для него какъ обидная насмѣшка. Что могъ онъ предвидѣть? Что пропалаго не вернуть? Что онъ никогда не излѣчится и сойдетъ въ концѣ концовъ съ ума? Это онъ и безъ позитивизма и безъ науки зналъ. А кантовскій идеализмъ, съ вѣнчающей его нравственностью категорическаго императива, развѣ говорилъ иное? Нитше былъ и остался близокъ только языкъ скептицизма и не того салоннаго или кабинетнаго скептицизма, который сводится къ словесному остроумію, или построению теорій, а того скептицизма, который проникаетъ всю душу человѣка и навсегда выбиваетъ его изъ обыч-

ной жизненной колеи. „Берегъ исчезъ изъ глазъ моихъ, волны безконечнаго охватили меня“, говоритъ Заратустра. Что могутъ тутъ подблать позитивизмъ или идеализмъ, которые всю свою задачу полагаютъ въ томъ, чтобъ убѣдить человѣка въ близости берега, чтобъ скрыть отъ него безконечность и удержать его въ ограниченной области явленій, для всѣхъ людей одинаковыхъ, поддающихся точнымъ опредѣленіямъ, привычныхъ, понятныхъ? Для Милля необходимость признать возможность дѣйствія безъ причины даже для отдаленной планеты была величайшимъ огорченіемъ. Ланге, вслѣдъ за Кантомъ, принялъ апріорность, лишь-бы только не видѣть себя принужденнымъ допустить произволъ въ природѣ. Но Нитше всѣ ихъ заботы были чужды, наоборотъ, ихъ опасенія были его надеждами. Его жизнь еще значила, могла значить что-нибудь только въ томъ случаѣ, если всѣ ученія построенія были лишь добровольнымъ самоограниченіемъ пугливаго человѣческаго ума. Его жизненная задача сводилась именно къ тому, чтобъ выйти за предѣлы тѣхъ областей, куда его загоняли традиціи науки и морали. Отсюда его ненависть къ наукѣ, выразившаяся въ борьбѣ съ философскими системами и отвращеніе къ морали, давшая формулу „по ту сторону добра и зла“. Для Нитше существовалъ лишь одинъ вопросъ: „Господи, отчего ты покинулъ меня“? ¹⁾ Знаете вы эти простыя, но исполненныя такой безпредѣльной скорби и горечи слова? На такой вопросъ можетъ быть только одинъ отвѣтъ: и человѣческая наука, прилавившаяся къ средней, обыкновенной жизни, и человѣческая мораль, оправдывающая, освящающая, возвеличиваю-

¹⁾ Соч. т. IV, 113.

шая, возводящая въ законъ нормы, дающія опору посредственности („набожная память о Ростовѣ“, „добро есть Богъ“) — ложны. Говоря словами Нитше: нѣтъ ничего истиннаго, все позволено — или переоцѣнка всѣхъ цѣнностей.

XXV.

Отсюда тотъ странный, чуждый людямъ характеръ философіи Нитше. Въ ней нѣтъ устойчивости, нѣтъ равновѣсія. Она ихъ и не ищетъ: она живетъ противорѣчіями, какъ и міровоззрѣніе Достоевскаго. Нитше не пропускаетъ случая посмѣяться надъ тѣмъ, что называется прочностью убѣжденія. Предпосылки, которыя Шопенгауеръ считалъ столь необходимыми для философіи и которыя онъ не только оправдывалъ, но даже не считалъ нужнымъ, какъ это обыкновенно дѣлается, скрывать — находятъ въ Нитше злѣйшаго и язвительнѣйшаго критика. „Въ каждой философіи, говоритъ онъ, есть моментъ, когда на сцену выступаютъ „убѣжденія“ философа, или, говоря языкомъ старинной мистеріи — *adventavit asinus pulcher et fortissimus*“¹⁾. Но, наряду съ такими утвержденіями, вы встрѣчаете и прямо противоположныя имъ на видъ: „ложность какого-нибудь сужденія во все не служитъ достаточнымъ противъ него возраженіемъ: въ этомъ можетъ быть слышатся самые странные звуки нашего новаго языка. Вопросъ лишь въ томъ, насколько оно поощряетъ, поддерживаетъ жизнь, насколько оно поддерживаетъ, можетъ быть, развиваетъ видъ, и мы спеціально склонны утверждать, что самыя ложныя сужденія (къ нимъ принадлежатъ синтетическія суж-

денія а priori) намъ наиболѣе необходимы; что безъ допущенія логическихъ фикцій, безъ сравненія дѣйствительности съ вымышленнымъ міромъ безусловнаго, всегда себѣ равнаго, безъ постоянной фальсификаціи міра посредствомъ числа — человѣкъ совершенно не можетъ существовать. Отказаться отъ ложныхъ сужденій — значитъ отказаться отъ жизни, отрицать жизнь. Признать ложь основнымъ условіемъ жизни — это значитъ, конечно, вступить въ опаснѣйшее противорѣчіе съ привычной человѣческой точкой зрѣнія; и философія, осмѣливающаяся на это, тѣмъ самымъ становится „по ту сторону добра и зла“¹⁾. Но естественно возникаетъ вопросъ: если ложь и ложныя сужденія являются основными условіями человѣческаго существованія, если они способствуютъ сохраненію, даже развитію жизни, то не правы ли были тѣ мудрецы, которые, какъ великій инквизиторъ у Достоевскаго, выдавали эту ложь за истину? И не благоразумнѣе ли всего было бы оставаться при традиціяхъ, т. е. по прежнему совсѣмъ и не допытываться того, что такое истина и держаться на этотъ счетъ безсознательно сложившихся мнѣній, т. е. имѣть тѣ предпосылки, „убѣжденія“, по поводу которыхъ Нитше вспомнилъ непочтительныя слова старинной мистеріи? Разъ синтетическія сужденія а priori такъ необходимы человѣку, что безъ нихъ невозможна жизнь, что отвергать ихъ значитъ отрицать жизнь, то пусть бы они себѣ носили прежнее почетное названіе истинныхъ, въ какомъ видѣ они конечно, наилучше могутъ исполнить свое благородное назначеніе. Для чего выставять на видъ ихъ ложность? Отчего бы не заложить ихъ корни, по примѣру Канта и гр. Толстого, въ иной

¹⁾ Соч. т. VII, стр. 16.

¹⁾ Соч. т., VII, стр. 12.

міръ, такъ чтобы люди не только-бы увѣровали въ ихъ истинность, но убѣдились-бы даже, что они имѣютъ по-тустороннюю, метафизическую основу? Разъ ложь такъ нужна для жизни, то не менѣе нужно людямъ думать, что эта ложь не есть ложь, а истина.. Но, очевидно, Нитше занимаетъ не „жизнь“, о которой онъ такъ хлопочетъ, а нѣчто иное, по крайней мѣрѣ не такая жизнь какъ та, которая до сихъ поръ оберегалась позитивизмомъ, синтетическими сужденіями аргюі и ихъ жрецами, учителями мудрости. Иначе онъ не сталъ бы выкрикивать чуть-ли не на площади профессиональную тайну философіи, а, наоборотъ, постарался-бы какъ можно глубже скрыть ее. Уже Шопенгауеръ сдѣлалъ тактическую ошибку, провозгласивши, что безъ предпосылокъ невозможна философія—Нитше-же идетъ еще дальше его. Значить, въ концѣ концовъ, его занимаетъ отнюдь не вопросъ о сохраненіи и поддержаніи того, что онъ называетъ отвлеченнымъ словомъ „жизнь“. О такой „жизни“ онъ, какъ и многіе другіе, хотя и говоритъ, но не заботится и не думаетъ. Онъ знаетъ, что „жизнь“ до сихъ поръ существовала безъ опеки философовъ: обойдется она и на будущее время своими силами. И оправдывая такимъ рискованнымъ способомъ синтетическія сужденія аргюі, Нитше лишь стремится *скомпрометтировать* ихъ, чтобы открыть себѣ путь къ полной свободѣ изслѣдованія, чтобы отвоевать себѣ право говорить о томъ, о чемъ люди молчатъ.

„Тамъ внизу (у людей), говоритъ Заратустра, всѣ слова напрасны. Тамъ видятъ лучшую мудрость въ умѣннѣ забывать и проходить мимо: это я узналъ отъ нихъ. И кто хочетъ все понять у людей, тотъ долженъ на все на-

падать“¹⁾). Въ молодости и самъ Нитше въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отличался отъ другихъ философовъ. Не по доброй волѣ сталъ онъ останавливаться тамъ, гдѣ другіе проходили мимо и запоминать то, что другіе забываютъ. „Страданіе спрашиваетъ о причинахъ; удовольствіе-же склонно оставаться при самомъ себѣ и не оглядываться назадъ“²⁾). Но и не всякое страданіе научаетъ насъ спрашивать. Человѣкъ является въ жизнь позитивистомъ и ему вовсе не нужно пройти сперва черезъ теологическій и метафизическій періодъ, чтобы приобрѣсти вкусъ къ той ограниченности познания, которая рекомендуется положительной философіей. Наоборотъ — онъ избѣгаетъ слишкомъ большой мудрости и даже отъ страданія онъ прежде всего старается избавиться, отдѣлаться. И только тогда, когда всѣ попытки въ этомъ положительномъ направленіи окажутся безплодными, когда онъ убѣждается, что нельзя „приспособиться“, что нельзя найти такого положенія, при которомъ „страданіе“ перестанетъ напоминать о себѣ, онъ выходитъ за предѣлы позитивной истины и начинаетъ спрашивать, не соображаясь уже съ тѣмъ, дозволены или не дозволены его вопросы современной методологіей и теоріей познания. „Мы всѣ, говоритъ Нитше, живемъ въ сравнительно слишкомъ большой безопасности для того, чтобы стать настоящими знатоками человеческой души: одинъ изъ насъ познаетъ вслѣдствіе страсти къ познанию, другой — отъ скуки, третій по привычкѣ; никогда мы не слышимъ повелительнаго голоса, „познай или погибни“. До тѣхъ поръ, пока истины не врѣзываются точно ножомъ въ наше тѣло, мы относимся къ

¹⁾ Соч., т. VI, Die Heimkehr.

²⁾ Соч. т. V, стр. 51.

нимъ съ пренебрежительной сдержанностью; онѣ кажутся намъ слишкомъ похожими на „пернатія сновидѣнія“, которыя мы можемъ принять или не принять, словно въ нихъ есть нѣчто, зависящее отъ нашего произвола, словно мы можемъ проснуться отъ этихъ нашихъ истинъ“¹⁾. Вы видите, какимъ образомъ раздвигаются предѣлы познаваемаго міра: нуженъ повелительный голосъ — „познай или погибни“, категорическій императивъ, о которомъ не вспоминалъ Кантъ. Наконецъ, нужно, чтобы истины врѣзались въ тѣло словно ножомъ—и объ этомъ не говорится, ничего не говорится ни въ теоріи познанія, ни въ логикахъ. Тамъ процессъ отысканія истинъ изображается совсѣмъ иначе, тамъ мыслить—значитъ спокойно, послѣдовательно, хотя и съ напряженіемъ, но безболѣзненно переходить отъ заключенія къ заключенію до тѣхъ поръ, пока искомое не будетъ найдено. У Нитше-же мыслить — значитъ терзаться, мучиться, корчиться въ судорогахъ. У Достоевскаго, если вы помните его романы, тоже никто изъ героевъ не размышляетъ по правиламъ логики: вездѣ у него неистовства, надрывы, плачь, скрежетъ зубовой. Философъ-теоретикъ видитъ во всемъ этомъ ненужныя, даже вредныя излишества. Спиноза говоритъ: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*. Онъ думаетъ, что „понять“ можно путемъ отвлеченнаго или, какъ его охотно называютъ, объективнаго размышленія. Но что „поняла“ до сихъ поръ философія? У Нитше являются законныя сомнѣнія, дѣйствительно-ли приемы, рекомендуемые Спинозой и доселѣ всегда практиковавшіеся учителями мудрости, обезпечиваютъ наиболѣе

вѣрный или даже единственно вѣрный путь къ истинѣ. „Можетъ быть въ нашемъ борющемся существѣ и есть скрытое *геройство*, но навѣрное въ немъ нѣтъ ничего божественнаго, вѣчно въ себѣ покоющагося, какъ думалъ Спиноза. *Сознательное* мышленіе, именно мышленіе философское—есть наиболѣе бессильный, а потому относительно болѣе спокойный и ровный видъ размышленія: такъ что именно философъ легче всего можетъ быть приведенъ къ ошибочному сужденію о природѣ нашего познанія“¹⁾...

Но не только „философъ“—всѣ мы, люди современнаго воспитанія, уже въ силу условій нашего развитія, едва-ли способны правильно судить о природѣ и предѣлахъ нашего познанія и объ „истинѣ“. Правда, суевѣріе всегда жило между людьми и нельзя назвать такой эпохой, когда-бы какая-нибудь ошибка не почиталась истиной и великой истиной. Но никогда еще люди не были такъ глубоко убѣждены въ непогрѣшимости ихъ методологическихъ приемовъ, какъ въ наше время. Нашъ вѣкъ вѣдь называютъ вѣкомъ скептицизма *par excellence*, иначе говоря, полагаютъ, что ежели мы что-либо выдаемъ за истину, то лишь послѣ самаго тщательнаго и внимательнаго ея изслѣдованія, когда уже не можетъ относительно нея быть никакого сомнѣнія. „Вѣрить“—же мы совсѣмъ не умѣемъ, если-бы даже и хотѣли. А между тѣмъ уже съ дѣтства мы приучаемся „вѣрить“—и, главное, вѣрить самымъ неправдоподобнымъ вещамъ! Крестьянскій мальчикъ или молодой дикарь тоже, конечно, вѣрятъ тому, что имъ рассказываютъ старшіе. Но имъ обыкновенно ничего неправдоподобнаго, насилующа-

¹⁾ Соч. т. IV, 311.

¹⁾ Соч. т. V, 253.

го мысль, и не рассказывают. Имъ сообщаютъ, напримѣръ, что существуютъ колдуны, лѣшіе, вѣдьмы. Все это — неправда, всего этого нѣтъ, но вѣдь все это мыслимо, понятно. Изъ этихъ рассказовъ молодой умъ лишь выводитъ заключеніе, что есть вещи, очень страшныя и интересныя, которыя ему еще не приходилось видѣть, но которыя, быть можетъ, онъ когда-нибудь и увидитъ собственными глазами. Иное дѣло ребенокъ нашего общества: отъ сказокъ его голова свободна, онъ знаетъ, что чертей и волшебниковъ не бываетъ и приучаетъ свой умъ не вѣрить росказнямъ такого рода, даже если-бы въ душѣ и была у него склонность къ чудесному. Но зато уже съ самаго ранняго возраста ему сообщаютъ положительныя свѣдѣнія, неправдоподобность которыхъ превосходить рѣшительно всѣ выдумки, на которыя когда-либо пускались самые фантастическіе составители сказокъ. Ему, напримѣръ, говорятъ — и такимъ авторитетнымъ тономъ, въ виду котораго умолкаетъ и должно умолкнуть всякое сомнѣніе — что земля не неподвижна, какъ объ этомъ свидѣтельствуется очевидность, что солнце не обѣгаетъ земли, что небо не твердь, что горизонтъ — только оптической обманъ и т. д. безъ конца. Все это узнается въ раннемъ, очень раннемъ дѣтствѣ и обыкновенно даже безъ тѣхъ соображеній и доказательствъ, которыя приводятся въ элементарныхъ учебникахъ географій. И все это принимается какъ несомнѣнная, не подлежащая даже провѣркѣ истина, ибо исходитъ отъ старшихъ, ибо написано въ книгахъ. Скажите, какая сказка, даже не изъ тѣхъ, которыя рекомендуются образованными людьми для народа, а изъ тѣхъ, которыя изготовляются безграмотными писателями

въ цѣляхъ наживы, заключаетъ въ себѣ больше очевидной для ребенка лжи, чѣмъ преподаваемая ему нами истины? Колдунъ, вѣдьма, дьяволъ — это только нѣчто новое, но понятное, не противорѣчащее очевидности. Вертящаяся-же земля, неподвижное солнце, фиктивное небо и т. п. все это вѣдь верхъ безсмыслицы для ребенка. И тѣмъ не менѣе это — истина, онъ знаетъ это навѣрное и съ этой неправдоподобной истиной онъ живетъ цѣлые годы. Развѣ такое насиліе надъ дѣтскимъ умомъ можетъ не изуродовать его познавательныя способности? Развѣ вѣра въ смыслъ безсмыслицы не становится его второй природой? И развѣ въ концѣ концовъ у каждаго изъ насъ не должна навѣки остаться въ душѣ склонность принимать за истину только то, что представляется всему нашему существу какъ ложь? Или — если этотъ выводъ покажется слишкомъ парадоксальнымъ или преувеличеннымъ — развѣ, во всякомъ случаѣ, у насъ не должно быть готовности вѣрить въ очевидную для насъ нелѣпость (*intelligere*, иначе говоря), разъ только она обставлена извѣстной аргументаціей и исходитъ отъ ученыхъ людей или изъ ихъ книгъ? Напримѣръ, въ шопенгауеровскую волю, кантовскую *Ding an sich*, спинозовскаго *deus sive natura*? Нашъ умъ, въ дѣтствѣ усвоившій столько нелѣпостей, потерялъ способность къ самозащитѣ и принимаетъ все, кромѣ того, отъ чего его предостерегали съ дѣтства-же, т. е. чудеснаго, иначе говоря, дѣйствія безъ причины. Тутъ онъ всегда на-сторожѣ, тутъ его ничѣмъ не заманишь, ни краснорѣчіемъ, ни вдохновеніемъ, ни логикой. Но разъ нѣтъ чудеснаго — все пройдетъ. Что, напримѣръ, „понимаетъ“ современный человѣкъ въ словахъ „естественное развитіе міра“?

Забудьте на минуту, на одну минуту, если только это возможно, свою „школу“, и вы сразу убѣдитесь, что развитіе міра ужасно неестественно: естественно бы было, если-бы не было ничего—ни міра, ни развитія. А между тѣмъ, среди современныхъ людей нѣтъ почти ни одного, который-бы не вѣрилъ въ догму естественности такъ-же прочно, какъ вѣритъ набожный католикъ въ непогрѣшимость папы. Даже болѣе того: католика еще можно какъ нибудь разувѣрить, современный же человѣкъ ни за что не приметъ серьезно мысли о томъ, что міръ развился неестественно и что стало быть произволъ въ природѣ, дѣйствіе безъ причины, о которомъ говоритъ Милль, годится не только какъ указаніе предѣловъ нашего познанія. Для него, какъ и для Милля и Канта, это истина, внѣ которой не можетъ быть не только мышленія, но и жизни. Тѣ, которые отрекаются отъ нея, казнятся по общему убѣжденію ужаснѣйшимъ изъ существующихъ наказаній: вѣчнымъ безплодіемъ. Вотъ какимъ дракономъ охраняется позитивизмъ и идеализмъ! У кого хватить мужества вступить съ нимъ въ борьбу? И какъ можетъ обыкновенный человѣкъ, только человѣкъ, отважиться на такой страшный подвигъ, возвѣстить открыто: нѣтъ ничего истиннаго, все

разрешено? Не нужно-ли ему для этого прежде всего перестать быть человѣкомъ, не нужно-ли ему отыскать въ себѣ инья, еще неизвѣстныя, неиспытанныя силы, которыми мы до сихъ поръ пренебрегали, которыхъ мы боялись? Послушайте молитву Нитше и вы поймете хоть отчасти, какъ рождаются убѣжденія въ нашей душѣ и что значитъ идти своимъ путемъ и имѣть свой взглядъ на жизнь: „о, пошлите мнѣ безуміе, небожители! Безуміе, чтобъ я, наконецъ, самъ повѣрилъ себѣ. Пошлите мнѣ бредъ и судороги, внезапный свѣтъ и внезапную тьму, бросайте меня въ холодъ и жаръ, какихъ не испыталъ еще ни одинъ смертный, пугайте меня таинственнымъ шумомъ и привидѣніями, заставьте меня выть, визжать, ползать, какъ животное: только-бы мнѣ найти вѣру въ себя. Сомнѣніе пожираетъ меня, я убилъ законъ, законъ страшитъ меня, какъ трупъ страшитъ живого человѣка; если я не больше чѣмъ законъ, то вѣдь я отверженнѣйшій изъ людей. Новый духъ, родившійся во мнѣ—откуда онъ, если не отъ васъ? Докажите мнѣ, что я вашъ—одно безуміе можетъ мнѣ доказать это“¹⁾.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Л. Шестовъ.

¹⁾ Соч., т. IV, стр. 23.





СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И КОЛОКОЛЬНЯ СВ. МАРКА.

I.

14-го іюля нынѣшняго года обрушилась въ Венеціи колокольня св. Марка. Городской совѣтъ немедленно постановилъ открыть общественную подписку на возобновленіе башни. Въ настоящее время собрано уже около полутора милліоновъ лиръ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ самомъ непродолжительномъ времени на знаменитой площади будетъ стоять новая колокольня, очень схожая съ прежней.

Такое рѣшеніе венеціанскихъ гражданъ вполне разсчетливо, благоразумно: Венеція безъ Campanile св. Марка все равно, что Петербургъ безъ адмиралтейской иглы. Для истыхъ венеціанцевъ гибель башни равняется потерѣ любимаго челоуѣка, для всевѣдущихъ культурныхъ „форестьеровъ“ отсутствіе ея является мотивомъ для исключенія Венеціи изъ маршрута предпринятаго путешествія по Италіи. Что-же касается технической стороны дѣла, то при обиліи фотографическихъ снимковъ съ покойной башни современнымъ архитекторамъ ничего не стоитъ ее возстановить.

Тѣмъ не менѣе, вскорѣ послѣ катастрофы многія изъ газетъ, какъ итальянскихъ, такъ и иностранныхъ, устроили

опросъ различныхъ авторитетовъ касательно того, надо-ли возстановлять кампаниле, и если да, то въ какомъ видѣ.

Съ перваго взгляда такой вопросъ можетъ показаться страннымъ. Какія же тутъ сомнѣнія? Конечно, возобновлять. Нельзя-же настолько мало уважать памятники старины, чтобы не желать ихъ реставраціи. Наконецъ, для всякаго мало-мальски культурнаго челоуѣка знаменитая венеціанская piazza является такимъ цѣльнымъ, единымъ и дорогимъ памятникомъ искусства, что всякое, хотя-бы и частичное, измѣненіе его является чѣмъ-то несноснымъ и нарушающимъ цѣльность эстетическаго впечатлѣнія.

Однако многіе изъ опрошенныхъ авторитетовъ были другого мнѣнія. Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ подъ рукой вышеупомянутыхъ газетъ, но я отлично помню, что противъ возстановленія campanile высказались такіа лица какъ Ф. Кнопфъ, скульпторъ Меніе и многіе другіе. И мнѣ кажется, что правда на сторонѣ противниковъ реставраціи.

Прежде всего припомнимъ, что такое эта piazza, представляющаяся намъ, людямъ 20-го вѣка, чѣмъ-то единымъ и цѣльнымъ.

Восточная часть площади занята со-

боромъ св. Марка. Нижняя часть фасада собора имѣетъ византійскій обликъ. Обликъ этотъ нарушается многочисленными античными капителями, вкравшимися въ число византійскихъ, и безвкусными мозаиками XVII—XIX вѣк., бьющими въ глаза своимъ фальшивымъ и кричащимъ блескомъ. Верхняя часть собора, украшенная четырьмя античными конями, съ арки Траяна, переходитъ постепенно въ довольно сладкую, пеструю и непріятную готику венеціанскаго пошиба. Рядомъ съ этой смѣсью всѣхъ эпохъ и стилей находится дворецъ патриарха (Palazzo patriarchale) эпохи Людовика XVI.

Такова восточная часть площади. Съ сѣвера находятся старыя прокураціи самаго конца XV вѣка (еще со слѣдами готики въ зубахъ верхней части фасада), съ южной—новыя прокураціи конца XVI вѣка. Западная часть площади занята такъ называемымъ новымъ зданіемъ, построеннымъ при Наполеонѣ. На одной изъ картинъ I. Рихтера, художника XVIII в., изображенъ внѣшній видъ западной стороны площади, съ церковью St. Genesiano и нельзя сказать, чтобы Наполеонъ поступилъ по варварски, сломавъ эту скучную, банальную церковь. Такова цѣльность и стильность площади.

Но перейдемъ теперь къ самой кампаниле. Заложена она была чуть-ли не въ IX вѣкѣ, но возобновляли ее неоднократно. Особенно крупнымъ переделкамъ подверглась она въ XII, XIV и XVI вѣкахъ. Знаменитая-же loggetta была пристроена въ 1540 г. и къ ней въ XVIII в. придѣлана бронзовая рѣшетка. Теперь спрашивается, отчего Сансовино, ничѣмъ не смущаясь, пристраивалъ къ романской башнѣ лоджетту въ стилѣ возрожденія? Отчего возможно было для постройки новыхъ прокура-

цій уничтожить стоявшее на ихъ мѣстѣ характерное готико-мавританское зданіе госпиталя, изображенное въ извѣстной процессіи Беллини? Отчего республика XVIII вѣка не постѣснилась пристроить къ собору св. Марка зданіе въ стилѣ Людовика XVI-го и отчего, наконецъ, Наполеонъ дерзнулъ разрушить всю западную часть площади?

Странно, вплоть до начала XIX в. никогда и не существовало вопроса о томъ, надо-ли охранять старину и можно-ли людямъ новыхъ поколѣній строиться такъ, какъ имъ того хочется, по своему вкусу и сообразно съ потребностями своего времени. Но вотъ явились поколѣнія XIX в., которыя все изучили, все смѣрили, все сняли на фотографическія пластинки, преклонились передъ совершенствомъ всѣхъ стилей и эпохъ и пришли къ полному безсилію въ архитектурѣ. Это слѣпое преклоненіе передъ стариной привело и къ тому, что для челоѣка XIX в. площадь св. Марка сдѣлалась какимъ-то цѣльнымъ и единымъ памятникомъ эпохи (какой?). Любовь къ музеямъ, гдѣ рядомъ, въ одной витринѣ, нанизаны самыя разнокалиберныя вещи—скифскія древности, тангры, византійскія эмали и т. д.—настолько привило къ намъ привычку примирять непримиримое, что даже такое невѣроятное *méli-mélo* самыхъ противоположныхъ стилей, которое мы замѣчаемъ на площади св. Марка, мы готовы считать чѣмъ-то единымъ и неприкосновеннымъ.

Вся наша современная архитектура свелась къ подражанію! Казалось-бы, надо подражать не только каменнымъ стѣнамъ, но и людямъ, возводившимъ ихъ. Въ этомъ смыслѣ отчего-же не послѣдовать примѣру Сансовино, и не разрушить безжалостно стараго для того, чтобы сказать свое, новое. Сансовино никого и ничего не боялся. Онъ выстроилъ биб-

ліотеку вопреки законамъ архитектуры. Онъ сдѣлалъ, какъ замѣчаетъ Буркгардъ, ужасную ошибку: діаметръ триглифовъ у него непропорціоналенъ діаметру метопъ. И однако, несмотря на эту ошибку, на эту смѣлость—зданіе вышло недурное, потому что Сансовино давалъ свободу своему таланту, а не археологическимъ соображеніямъ бездарнаго, музейнаго архитектора. На это могутъ возразить, что хорошо давать свободу ломать старое и возводить новое такимъ архитекторамъ какъ Сансовино. Но что сдѣлаютъ изъ этой свободы наши современные зодчіе?

II.

Всего логичнѣе было-бы поручить постройку новой башни комунибудь изъ современныхъ архитекторовъ, какомунибудь Ольбриху или Макинтошу. Если каждая эпоха, каждое столѣтіе оставило на площади св. Марка слѣды своего творчества, то отчего относиться съ такимъ презрѣніемъ къ современному искусству и не позволять ему присоединить и свое слово къ хору голосовъ прошлаго? Отчего современному архитектору не воздвигнуть новой колокольни, сообразуясь лишь съ основными требованіями заказчика, т. е. желаніемъ его имѣть на извѣстномъ мѣстѣ, извѣстной высоты башню для подвѣски колоколовъ? Зачѣмъ навязывать ему унижительное для него условіе лишь возстановленія разрушеннаго, условіе рабскаго слѣдованія прошлему? Зачѣмъ официально и громгласно заявлять полное недовѣріе къ современному искусству и къ способностямъ его представителей?

Повторяю, примѣръ исторіи образованія самой площади логически ведетъ къ тому, чтобы дальнѣйшія ея

измѣненія производились каждый разъ въ новомъ, свободномъ, творческомъ направленіи. Логически это такъ, но тутъ надо имѣть въ виду одно обстоятельство, которое нѣсколько затрудняетъ рѣшеніе вопроса. Современная западная культура не создана для постройки колоколенъ. Всякій художникъ долженъ быть прежде всего искрененъ и ясно сознавать и ощущать поставленную ему задачу. И я сильно сомнѣваюсь, чтобы современный талантъ могъ воодушевиться такимъ заданіемъ, какъ постройка зданія для холодной, застывшей, мертвенной уже религіи католиковъ. Также нельзя забывать, что башня св. Марка, кромѣ своего чисто-служебнаго назначенія—колокольни при соборѣ — являлась нѣкимъ историческимъ символомъ величія Венеціи. Гордо возвышаясь надъ остальными строениями она властвовала надъ городомъ и окружающими его лагунами. Виднѣвшійся далеко отъ Венеціи шпиль колокольни давалъ знать иноземнымъ гостямъ-мореплавателямъ о томъ, что они приближаются къ славному городу великой республики.

Но теперь нѣтъ венеціанской республики, а есть только мертвый, нездоровый, сырой городъ, медленно подвигающийся къ своему паденію. Иногда кажется, что это разрушеніе башни не случайно. Она стала больше никому ненужной — и свалилась. Звонъ ея колоколовъ пересталъ еще при ея жизни сзывать въ храмъ вѣрующихъ,—ея-же высота и величіе никого не обманывали. Всякій зналъ, что Венеція не мощная живая республика,—а лишенная всякихъ жизненныхъ силъ декорація, плѣняющая своей красотой заѣзжихъ туристовъ.

Мнѣ пришлось какъ-то быть въ соборѣ св. Марка во время мессы, въ празд-

инкъ свѣтлаго Воскресенія, т. е., значить, еще при жизни башни. Но, Боже, кого созвали въ церковь ея колокола! Это была все случайная публика, пришедшая просто поглазѣть, благо есть свободное время. Масса солдатъ, спокойно разговаривавшихъ и смѣявшихся, какъ будто они были въ театрѣ, женщины въ живописныхъ шаляхъ и эффектныхъ прическахъ гордо и кокетливо улыбавшіяся мужчинамъ, иностранцы изъ *libre-penseur*’овъ, пришедшіе посмотрѣть столь любопытное зрѣлище, какъ архіерейское служеніе въ соборѣ св. Марка. Словомъ, это была толпа людей совершенно индифферентныхъ къ сущности того, что происходило въ церкви. И стоило-ли для этого беспокоить престарѣлую башню, треснувшую еще въ прошломъ вѣкѣ, стоило-ли звонить въ ея звучные колокола, чтобъ созывать эту праздную, холодную толпу? Башня пожила достаточно, сослужила свою службу, и никому больше не нужная тихо почилла. И зачѣмъ, и для чего, и для кого ее возобновлять? Новые, талантливые архитекторы за ея постройку не возьмутся, а воздвигать поддѣлку подъ старое, по образцу того, какъ въ Берлинѣ была устроена *Alt-Venedig*, по меньшей мѣрѣ неприлично.

Мы ужасно боимся смерти и покойниковъ. Прежде боялись смерти по крайней мѣрѣ изъ-за страха Дантовскаго ада. Мы теперь гутируемъ Данте наравнѣ съ Аретино, въ муки не вѣримъ, тѣмъ не менѣе смерти страшно боимся и искусственно поддерживаемъ то, что давно уже обречено на вымирание, забывая, что этимъ самымъ мы задерживаемъ рожденіе и развитіе новаго. Еще великій нѣмецкій мыслитель сказалъ, что надо не поддерживать, а подталкивать то, что падаетъ. Потерявшая всякое внутреннее значе-

ніе башня св. Марка—упала. Поклонимся ея праху и пройдемъ мимо. Это гораздо болѣе здраво, жизненно и понятно, чѣмъ тратить миллионы на то, чтобъ хоть на минуту обмануть путешественниковъ и игнорантовъ и убѣдить ихъ въ томъ, что башня жива и существуетъ.

III.

Вообще пора было-бы пересмотрѣть вопросъ объ „охраненіи старины“. Венеція, съ точки зрѣнія современной культуры—мертвый городъ, который сохраняетъ свое значеніе лишь благодаря богатству сохранившейся въ немъ старины, поэтому понятно, что для усиленія своихъ финансовъ она кое-какъ поддерживаетъ свои башни, обваливающіеся фасады, и блюдетъ за здоровьемъ гондольеровъ, которые, какъ зубры въ бѣловѣжской пущѣ, обречены на вымирание.

Здѣсь вопросъ не стоитъ такъ остро. Но если перейти къ другимъ, болѣе живымъ городамъ, которые развиваются и растутъ, то положеніе дѣла мѣняется. Лѣтъ 10 тому назадъ, Флоренція стала безжалостно разрушать старые темные кварталы, носившіе слѣды средневѣковаго варварства, и воздвигать современныя широкія улицы на мѣстѣ прежняго *ghetto*. Боже, что за шумъ поднялся тогда въ лагерѣ путешественниковъ эстетовъ! Какъ! разрушать дивныя уголки старой Флоренціи, изгонять изъ нея весь историческій колоритъ, который такъ нравится и такъ поражаетъ забѣзжаго обитателя Парижа или Берлина—это варварство! Надо же уважать культуру, цѣнить искусство, и т. д., и т. д., и т. д.

Для того, чтобъ культурная космополисъ могла наслаждаться красотой стараго города, обитатели его дол-

жны задохаться въ сырыхъ и темныхъ переулкахъ, и нарождающееся поколѣніе должно-быть безжалостно обрекаемо на малокровіе.

И вѣдь такіе защитники старины мнятъ, что они выполняютъ какую-то историческую миссію, напоминая въ нашъ пошлый вѣкъ телефоновъ и трамваевъ, что существуетъ великое искусство, которое нельзя безнаказанно попирать.

Но всѣ эти вопли бесполезны. Трамваи исколесили Флоренцію, на Rio grande ходятъ пароходы, и никакія подѣльные башни Св. Марка и вопли противъ разрушенія Ponte-Vecchio—дѣлу не помогутъ.

И вотъ тутъ настоящимъ творцамъ, художникамъ, настоящимъ поборникамъ культуры предстоитъ великая задача. Для того, чтобъ бороться противъ неуваженія къ предметамъ искусства, необходимо ввести его въ жизнь. Мы охраняемъ старину, собираемъ въ музеи разный *bric-à-brac* и думаемъ, что противодѣйствуемъ вандализму. Приѣмъ совершенно не правильный. Только вводя искусство въ жизнь, только покровительствомъ современному, живому искусству, какъ необходимому спутнику современной, живой культуры—мы вселимъ въ толпу чувство любви и уваженія къ нему, а слѣдовательно и къ художественной старинѣ. Конечно, больницы необходимы. Но сколько-бы мы ни строили больницъ, онѣ ничему не помогутъ, если городское населеніе будетъ жить въ нездоровыхъ условіяхъ, безъ хорошей воды, квартиръ, школы и т. д.

Также и музеи съ *bric à brac* омъ ничему не помогутъ, если внѣ ихъ, на улицѣ, въ школѣ, на фабрикѣ, словомъ, въ нашей ежедневной, трудовой, сѣренькой, пошленькой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

великой жизни не будетъ трепетать художественный нервъ.

Мы живемъ въ вѣкъ трамвовъ, вокзаловъ, театровъ, школъ, большихъ магазиновъ, ресторановъ, домиковъ-особняковъ, фабрикъ, газетъ, книгъ.

Нашимъ художникамъ и надо на всѣ эти стороны нашей новой жизни накладывать свою печать. Здѣсь обширное поле для самостоятельнаго творчества, здѣсь почетная арена для дѣятельности художника. На Западѣ эта точка зрѣнія начинается уже понемногу проникать въ общественное мнѣніе. Въ Парижѣ дума премируетъ лучшіе фасады въ современномъ стилѣ, въ Берлинѣ уже построена цѣлая масса зданій (магазины, аптеки, банки) этого типа, въ Вѣнѣ всѣ мелкія постройки, необходимыя для городскихъ трамваевъ—исполнены по проектамъ проф. Вагнера (учителя Ольбриха), въ Туринѣ сдѣлана первая попытка международной выставки исключительно современной художественной промышленности, и въ связи съ этимъ всѣ выставочныя зданія задуманы и выполнены (правда, не особенно удачно) безъ всякихъ куполовъ ренессанса и вывороченныхъ геніевъ барокко. Это все серьезныя, дѣловыя, практическія начинанія, заслуживающія особеннаго вниманія.

Люди, охраняющіе старину и получающіе всякіе *Formen-schatz*'ы, почему-то пренебрежительно относятся ко всему современному, видя въ немъ одну моду, одно ломаніе. Не спорю, во всемъ новомъ есть извѣстный пересолъ, слѣдствіе вполне законнаго и понятнаго увлеченія однихъ и вполне незаконнаго, но очень понятнаго подражанія другихъ. Общедоступное декадентство имѣетъ много глупаго и скучнаго. Но смѣшно изъ-за деревьевъ не видать лѣса. Смѣшно быть настолько слѣпымъ въ

историческомъ смыслѣ, чтобы не отличать въ окружающемъ насъ движеніи здороваго ядра отъ той шелухи, которая разнесется по вѣтру и погибнетъ, засоряя глаза близорукимъ. Нельзя видѣть въ эмансипаціонномъ движеніи шестидесятыхъ годовъ — лишь стриженныхъ студентокъ. Нельзя видѣть въ новыхъ методахъ борьбы съ бактеріями лишь неудавшійся туберкулинъ Коха. Отыскивать „жемчужное зерно“ чистаго искусства въ навозной кучѣ претенціозныхъ потугъ разныхъ бездарностей — дѣло тяжелое и непріятное. Но для человѣка истинно культурнаго этотъ трудъ не долженъ служить препятствіемъ. Любители „форменщатцовъ“ забываютъ, что въ *исторію* искусства попадаютъ лишь таланты, все посредственное отбрасывается временемъ. Очень легко составить библіотеку изъ классическихъ произведеній, поставить у себя на полочкѣ Гомера, Данте, Гете, Толстого и фыркать на все остальное, но это — слишкомъ легкое занятіе человѣка, въ сущности далеко стоящаго отъ жизни и мало любящаго искусство.

Часто слышатся голоса, особенно у насъ, что театръ падаетъ, потому что нечего ставить. Литература изсякла. И потому насъ снова и снова угощаютъ Мольеромъ, Шекспиромъ, или Шиллеромъ. Но при этомъ забываютъ, что изсякла вовсе не литература, а извѣстная, очень узенькая форма театральнаго представленія. Громадные, тяжеловѣсные дворцы-театры съ зажирѣвшимъ составомъ любимцевъ публики — больше никому не нужны, кромѣ наивныхъ провинціальныхъ душъ, которымъ импонируетъ позолота театральной залы и репутація „заслуженныхъ артистовъ“. Жизнь изъ этихъ театровъ ушла и оживить ихъ ничто не можетъ. Новая драматургія будетъ

искать и ищетъ новыхъ формъ и условий для своего воплощенія. Извѣстному французскому композитору Шарпантье пришла въ голову мысль создать совершенно новый типъ театра, въ которомъ молодое поколѣніе рабочаго Парижа находило-бы себѣ мѣсто дѣйствительнаго развлечения и веселія. Когда газетные интервьюеры спросили Шарпантье, есть-ли у него для осуществленія проекта деньги, пьесы и исполнители, онъ отвѣтилъ, что у него нѣтъ ничего кромѣ добраго желанія. Отвѣтъ можетъ показаться на первый взглядъ смѣшнымъ, однако весьма вѣроятно, что затѣя его осуществится, такъ какъ въ ней чувствуется жизненное начало. Уже теперь во вновь проектированную народную консерваторію записалось нѣсколько сотъ слушателей изъ рабочихъ и такіе музыканты, какъ Пюньо, выразили желаніе безвозмездно въ ней преподавать, а вся литературная молодежь Парижа наперерывъ спѣшитъ на помощь Шарпантье и мечтаетъ о томъ, чтобы писать и работать для этого театра.

Да это и понятно. Развѣ можно хоть минуту сомнѣваться въ томъ, что въ такомъ и для такого театра весело и пріятно работать, тогда какъ одна перспектива только представить свою пьесу вмѣстѣ съ Ростаномъ на усмотрѣніе Сарры Бернаръ, или вмѣстѣ съ Потапенкой на усмотрѣніе литературно-театральнаго комитета — можетъ причинить жестокую морскую болѣзнь.

Да, жизненность, своевременность и свобода великое дѣло для искусства. Что тамъ ни говори, а оно живетъ и проявляетъ свою силу только тогда, когда оно попадаетъ въ толпу. Иначе сно, какъ устрица и сигары, рискуетъ стать предметомъ наслажденія для самаго безнадёжнаго класса — для денежной бур-

жуазіи. Особенно сильно замѣчается это неприятое явленіе у насъ, въ Россіи. На западѣ общественная жизнь настолько интенсивна, „дары культуры“ сравнительно настолько общедоступны, что искусство не можетъ не играть роли въ общественной жизни, и мы въ настоящее время присутствуемъ при постепенной демократизаціи искусства, причемъ, въ отличіе отъ Россіи, этотъ процессъ происходитъ безъ всякихъ компромиссовъ со стороны художника, безъ всякихъ „передвижническихъ“ началъ. Не то у насъ. Искусство поощряется и цѣнится у насъ лишь одной богатой буржуазіей; аристократія, за рѣдкими исключеніями, абсолютно невѣжественна и ничего не поощряетъ, лица-же такъ называемыхъ интеллигентныхъ профессій поголовно заняты политикой. И вотъ художникъ волей-неволей сосредоточиваетъ свою дѣятельность на удовлетвореніи эстетическихъ потребностей буржуазнаго класса общества. Онъ пишетъ милыя акварельки, которыя вѣшаются въ набитой всякими бездѣлушками комнатѣ, рядомъ съ триптихомъ кельнской школы и офортномъ Сююпъэ, онъ компануетъ *ex libris* для коллекціонера русскихъ книгъ эпохи Анны Іоанновны или афишу для придворнаго театра. Всѣ продукты его творчества предназначаются и живутъ въ оранжерейной обстановкѣ и вынесенные на воздухъ становятся блѣдными и жалкими. Винить въ этомъ художника не приходится. Ужъ слишкомъ неприглядны условія его творчества.

Пока не обновится у насъ внѣшняя обстановка общественной жизни—русскому искусству суждено чахнуть въ душныхъ парникахъ нашихъ неказистыхъ огородовъ. Весь широкій классъ русской интеллигенціи такъ захваченъ идеей завоеванія соціальныхъ реформъ,

что всякое занятіе, непосредственно не связанное съ политической пропагандой, ему кажется праздною забавой, а художники бездѣльниками, дармоѣдами. Такое отношеніе общества раздражаетъ художника, онъ или уходитъ въ себя, или бравируетъ общественнымъ мнѣніемъ, и въ результатѣ получается, что мы живемъ въ самыхъ безобразныхъ домахъ въ мірѣ, что книги у насъ издаются не только безграмотно, но и уродливо, что въ то время, какъ школы и дѣтскія у насъ — холодные разсадники дурного вкуса, художники проектируютъ тысячные будуары для кокотокъ высокой марки.

Творческія силы расточаются даромъ, не входя въ жизнь. Конечно, это состояніе временное. Съ обновленіемъ общественныхъ формъ бытія нашего послѣдуетъ и обновленіе нашей эстетики. Но тутъ-то и нужно быть осторожнымъ и ожидая этого соціального и эстетическаго обновленія, слѣдуетъ помнить, что въ старые мѣха нельзя наливать новаго вина.

Уваженіе къ художественной стариинѣ—дѣло хорошее, но, поставленное въ принципъ, оно душитъ молодые побѣги новаго искусства. Если всѣхъ современныхъ архитекторовъ критиковать съ вершинъ Микель-Анджело и Сансовино, а художниковъ съ высотъ Веласкецовъ и Рембрандтовъ, то этимъ дѣло не подвигается впередъ ни на шагъ, и только подсѣкаются въ зародышѣ энергія и сила художника.

Исторія говоритъ противъ того, чтобы сопоставлять какогонибудь Ольбриха или Сааринена съ Микель-Анджело. Они работаютъ въ разныхъ областяхъ для разныхъ цѣлей.

Въ наше время едва-ли кому придетъ въ голову строить библіотеку въ родѣ Лауренціаны во Флоренціи, ужъ преж-

де всего потому, что самая библиотека того времени ничего не имѣетъ общаго съ нашими.

И обратно, нельзя современному человѣку навязывать архаическія задачи, и заставлятъ дѣлать то, что пять столѣтій тому назадъ сдѣлали-бы гораздо лучше. Въ этомъ отношеніи мысль возстановить башню св. Марка въ выс-

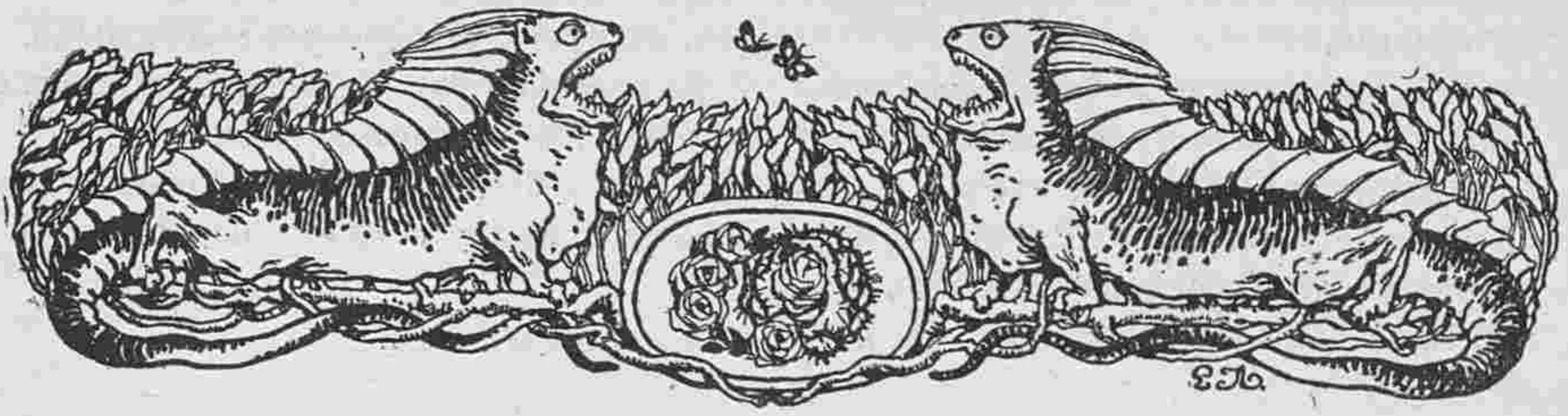
шей степени несчастна. Милліоны здѣсь будутъ затрачены на то, чтобы создать мертвую, беззвучную колокольню. Я не говорю, что будущимъ зодчимъ не придется воздвигать колоколенъ!

Но это будутъ уже колокольни для новыхъ храмовъ новой религіи.

Д. Философовъ.

Венеція. Августъ, 1902 г.





КОНЦЫ И НАЧАЛА, „БОЖЕСТВЕННОЕ“ И „ДЕМОНИЧЕСКОЕ“, БОГИ И ДЕМОНЫ.

(По поводу главнаго сюжета Лермонтова).

Апулей въ XI книгѣ „Золотого осла“ даетъ изображеніе одной изъ древнихъ религіозныхъ процессій. Мы не назовемъ имени божества, которому она посвящена:

Имя является поздно, имя и *статую* — ничто, привѣсокъ, позднее изобрѣтеніе. Чувство бога — вотъ главное, вотъ все. Важно, чтобы поднялась грудь, а ужъ уста произнесутъ имя.

... его ты назови
Какъ хочешь: пламенемъ любви,
Душою, счастьемъ, жизнью, Богомъ —
Для этого названья нѣтъ;
Все — чувство... Имя-жъ — звукъ и дымъ
Вокругъ небеснаго огня...

Сперва были жесты, вздохи; люди бродили, собирались, глаза ихъ сіяли. Образовались церемоніи, процессіи, „гимны торжественные и непонятные“; и уже послѣ всего появились имена, разныя въ разныхъ странахъ, у разныхъ народовъ, на разныхъ языкахъ, а по существу — одно. Время описанія церемоніи, которое мы беремъ — царствованіе Адриана римскаго, т. е. уже полное и глубокое разложеніе древняго теизма. И все-таки кой-что мы уловимъ... удивительно на-

поминающее „Сонъ смѣшного человѣка“ Достоевскаго.

„Тѣни темной ночи стали расходиться и блѣднѣть передъ разсвѣтомъ. Показалось золотое солнце. Густыя толпы народа въ праздничномъ и торжественномъ настроеніи покрывали всѣ дороги и площади. Наступилъ день, посвященный великой богинѣ. Легко и весело было у меня на душѣ. Мнѣ казалось, что и все кругомъ, — и животныя, и стѣны домовъ, и даже самъ день, — радуется моею радостью и полно моимъ весельемъ. Густой туманъ минувшей ночи безслѣдно исчезъ. День былъ тихъ и ясенъ. Во влажномъ воздухѣ, напитанномъ ароматами весны, раздавались звонкія трели проснувшихся птичекъ. Казалось, что и онѣ своими свѣтлыми гимнами славили Мать созвѣздій, Родоначальницу временъ, Праматерь міра. И плодовые деревья съ первою завязью будущихъ плодовъ, и безплодныя, которыя своею зеленью даютъ только тѣнь, мягко сгибая свои зеленѣющія вѣтви, съ нѣжнымъ и ласковымъ ропотомъ склоняли молодую блестящую листву подъ

тихимъ дыханіемъ утра. Замерли всѣ бурные отголоски зимняго ненастья, улеглись шумные звуки половодья, тихо журчало у береговъ море, а небо, разсѣявъ мглу тумана, въ ослѣпительномъ блескѣ сіяло своею лазурью.

„Но вотъ появляются первые вѣстники великаго праздника. Впереди идутъ комическія маски, сдѣланныя съ большимъ остроуміемъ и вкусомъ. Идетъ солдатъ туго затянутый своимъ поясомъ. За нимъ, въ длинной хламидѣ, съ саблею у бока и съ дротикомъ въ рукахъ, показывается охотникъ. Тотъ очевидно замаскировался женщиной; онъ драпируется въ шелковыя ткани, весь убранный драгоценными украшеніями, заплетъ свои волосы въ косы и щеголяетъ въ золоченыхъ башмачкахъ. Тотъ должно быть только-что вышелъ изъ школы гладіаторовъ: онъ въ легкихъ сандаляхъ, со шлемомъ на головѣ, вооруженъ щитомъ и кинжаломъ. А этотъ по всѣмъ признакамъ одинъ изъ высшихъ сановниковъ города; онъ въ пурпурной тогѣ, передъ нимъ—ликторы со своими связками. За нимъ идетъ философъ въ длинной мантии, въ туфляхъ, съ длинною палкою въ рукѣ и съ всклокоченною бородою. Съ удочкою въ рукахъ и со всѣми атрибутами своего ремесла идутъ рыбаки. Птицеловы несутъ на плечахъ силки и сѣти. На носилкахъ, въ костюмѣ знатной дамы, несутъ ручную медвѣдицу. За нею идетъ обезьяна въ костюмѣ Ганимеда, съ тюрбаномъ на головѣ, въ одеждѣ шафраннаго цвѣта; въ рукахъ у нея золотой бокалъ и вся она напоминаетъ еракійскаго пастуха. Шествіе заключаетъ осель, убранный въ птичьи перья; за нимъ—его хилый и дряхлый погонщикъ. Эта группа вызываетъ самый громкій смѣхъ, потому-что погонщикъ называетъ себя Беллерофонтомъ, а осла Пегасомъ“.

Это введена въ процессію шутка. Шутка и смѣхъ—и ничего болѣе. „Они всегда были веселы“, замѣчаетъ проникновенно и Достоевскій въ мечтѣ золотого вѣка. Уныніе — начало смерти, путь къ смерти, ибо оно ослабляетъ въ насъ силы, т.-е. способность противостоять смерти. Однако эта древняя шутка имѣетъ въ себѣ нѣчто для изученія: люди идутъ не просто, а въ религіозной процессіи, передъ нами—уголокъ религіи, кусочекъ религіи. Кто-же идетъ? *Всѣ*. Это есть *всеобщее шествіе*, всякихъ званій и типовъ и *рукомерствъ*, всѣхъ видовъ *труда* и непременно, непременно со святыми *орудіями* этого труда, еще не надѣвшаго, еще легкаго и радостнаго, еще не проклятаго несчастнымъ человѣкомъ. „Вотъ, Боже, и сѣти, и силки, и удочки“! Идутъ — званія, чины; передъ Богомъ шествуетъ и государство. Но идутъ не съ серьезностью, а въ шуткѣ—и вотъ около сенатора выступаетъ осель въ перьяхъ! И павіанъ, и медвѣдица, человѣкообразные, приближенные къ человѣку. О, тутъ еще не было сатиры, маскарадъ не былъ сатириченъ, онъ былъ скорѣе пантеистиченъ и былъ какъ-бы пиршествомъ міра за однимъ столомъ, гдѣ одною салфеткою утираются рыбаки, консулъ и маленькій умный осликъ, кормилецъ своего погонщика. Занятія, ремесла еще не раздѣлились, не пошли одни въ гору, другія—подъ гору, но всякій трудъ былъ святъ и достоинъ и слѣдовательно всѣ труды и способы пропитанія были равны.

„За комическими масками, которыя вызвали въ народѣ полный восторгъ, въ торжественной процессіи показались жрецы великаго божества. Шли женщины въ ослѣпительно бѣлыхъ одеждахъ; на ихъ лицахъ свѣтилась веселая и довольная улыбка. Однѣ изъ нихъ несли въ подолахъ букеты и гирлянды

цвѣтовъ; цвѣтами и зеленью онѣ усыпали дорогу, по которой двигалось это торжественное шествіе. У другихъ на спинѣ были блестящія зеркала¹⁾, въ которыхъ отражалась вся многочисленная свита богини. У третьихъ въ рукахъ были гребенки изъ слоновой кости; тѣ дѣлали видъ, будто убираютъ царственные волосы великой Изиды. Наконецъ было нѣсколько такихъ женщинъ, которыя, по каплѣ изливая изъ сосудовъ ароматныя вещества и драгоценный бальзамъ, опрыскивали улицы и площади. Огромная толпа мужчинъ и женщинъ шла съ лампами, факелами, восковыми свѣчами и всевозможными свѣтильниками въ рукахъ, чтобы свѣтомъ земного огня почтить высокую Госпожу небесныхъ созвѣздій. Раздавались стройные

¹⁾ *Я не отказываю себѣ въ удовольствіи современемъ дать читателямъ „Міра Искусства“ изображеніе большой, сложной египетской процессіи, очевидно перенесенной въ Римъ и Грецію въ эпоху Адриана. Въ процессіи этой дѣйствительно нѣкоторыя лица несутъ на спинѣхъ огромныя зеркала, какъ у насъ—стѣнные. Черезъ это процессія, и безъ того нарядная, дѣлалась для зрителей, т. е. народа, участниковъ—еще пышнѣе и ликующѣе. Нельзя не замѣтить, что зеркала были помѣщены и въ Соломоновомъ храмѣ, именно—въ ваннахъ умывальники, гдѣ умывались священники. Въ одномъ восточномъ (арабскомъ) описаніи я былъ пораженъ слѣдующей подробностью праздника: было разставлено (по полю? саду?) прямо на землѣ множество цвѣтовъ; но передъ каждымъ цвѣткомъ стояло небольшое зеркало и двѣ зажженныхъ свѣчи. Черезъ это все пространство праздника было унизано, какъ небо звѣздами, мириадами огней и цвѣтовъ.*

звуки музыки. Трубы и свирѣли наигрывали мелодичные и граціозные гимны. Имъ вторилъ хоръ изъ лучшей молодежи города. Всѣ въ одинаковой бѣлоснѣжной одеждѣ безъ рукавовъ—дѣвушки и юноши—пѣли вдохновенную пѣснь, которую по высокому внушенію Камень сложилъ и написалъ по этому случаю знаменитый поэтъ, воспользовавшійся для этого обрядными молитвами и обѣтами...“

Что-же они дѣлаютъ, куда идетъ процессія? Гдѣ точка, куда приложена эта религія жизни, бытія? Шла весна, открывалась навигація, и процессія спѣшила къ морю. Здѣсь былъ изготовленъ корабль-лодочка. Подходятъ. „Верховный жрецъ (читай: главный поэтъ и философъ, онъ-же—невиннѣйшій¹⁾ младенецъ) факеломъ, яйцомъ и сѣрою освятилъ корабль, сдѣланный съ большимъ искусствомъ, и покрытый египетскими письменами и начертаніями. Онъ очистилъ его, вознося

¹⁾ *Я вычиталъ въ „Исторіи священства и левитства Вѣхо-завѣтной церкви“ священника Г. Титова (Тифлисъ, 1878 г.). до послѣдней стелени поразило меня слѣдующее свѣдѣніе: „право на первосвященство получалось на 13-мъ году жизни, именно—когда показывались первые признаки бороды“ (стр. 59). Такимъ образомъ всѣ, у Густава Дорэ и другихъ иллюстраторовъ, изображенія священниковъ и первосвященниковъ израильскихъ въ видѣ нашихъ „заслуженныхъ протоіереевъ“ съ длинными и свѣдыми бородами, есть плодъ всего только нашего самолюбія, какъ-бы критическаго изъ каждой строки и рисунка „всегда и все было какъ у насъ“. Ничего подобнаго не было: храмъ былъ юнъ и священствовали въ немъ юноши и отроки, святые не ученостью, а невинностью!*

изъ своихъ чистѣйшихъ устъ торже-
ственнѣйшія молитвы, и посвятилъ его
божеству. Священный корабль, какъ
жертвенный даръ, стоялъ у берега. На
его бѣлоснѣжномъ парусѣ большими
буквами было написано пожеланіе счаст-
ливой навигаціи на новый годъ. Высоко
поднималась круглая, блестяще отполи-
рованная мачта; на ней по вѣтру раз-
вѣвался яркій и блестящій вымпелъ. Бли-
стала загнутая, покрытая золотыми бля-
хами корма. И вся лодка, сдѣланная изъ
лучшаго лимоннаго дерева, такъ и сіяла,
такъ и свѣтилась своей полировкой. Всѣ
присутствующіе, и жрецы, и міряне,
льютъ на воду молоко, несутъ въ лодку
корзины съ ароматами и другими при-
ношеніями съ пожеланіями счастливаго
плаванія. Щедрыми дарами лодка на-
полняется до краевъ. Перерубаются якор-
ные канаты. Свѣжій и легкій вѣтерокъ
гонитъ лодку въ море. И вотъ обѣтнй
корабликъ скрылся изъ глазъ народа,
покрывавшаго берегъ“.

Точкою сосредоточенія религіи, этого
блага чувства, блага сердца еще не-
виннаго человѣка, служить просто мо-
ментъ годового бытія. „Отъ сего дня
будемъ плавать по морю, ловить рыбу,
торговать. Но пусть впередъ насъ по-
бѣжитъ по священнымъ волнамъ свя-
щенный корабликъ. И отъ всякаго-то
имени, отъ всякаго человѣка онъ поне-
сетъ... цвѣтокъ, плодъ, золотую бляху
или немного труда“. — „Здравствуй, море!
вслѣдъ за корабликомъ—мы сами завтра
въ твои волны!“ И больше—ничего. Ни-
какого другого мотива, ни повода, ни
цѣли въ процессіи. Просто—жили и ра-
довались.

* * *

Года четыре назадъ я рѣшился раз-
смотрѣть египетскіе рисунки въ здѣш-
ней Публичной библіотекѣ. Я служилъ,
и день у меня былъ занятъ, а един-

ственное свободное воскресенье заперта
бываетъ библіотека. Ни взять на домъ
страшно дорогіе атласы египетскихъ
научныхъ экспедицій, ни даже вытре-
бовать ихъ въ общій читальный залъ
оказалось невозможнымъ. Что-же мнѣ
было дѣлать? „Четвертая пошла не-
дѣля — а я всегда говѣю на чет-
вертой, не такъ тѣсно“ — сказалъ мнѣ
товарищъ по службѣ.—Это меня надо-
умило. Я отпросился у начальства го-
вѣть и съ энтузіазмомъ, какого не
могу передать, поспѣшилъ въ понедѣль-
никъ въ завѣтныя и съ тѣхъ поръ свя-
щенныя для меня двери Публичной би-
бліотеки, въ ея знаменитыя, тихія, по-
этическія залы „отдѣленій“. Въ самомъ
дѣлѣ—это прекраснѣйшее, религіознѣй-
шее (по серьезности) зданіе въ Петер-
бургѣ. Но что читать? А я страшно то-
ропился. Полочекъ, шкафчиковъ спе-
ціально съ Египтомъ—нѣтъ. О! теперь
я уже знаю всѣ уголки, гдѣ старый
египетскій аистъ свилъ себѣ гнѣзда, но
тогда не зналъ. Къ счастью, помогъ
мнѣ случайно встрѣченный тамъ знако-
мый. „Да вотъ длинные красные томы...
„Denkmäler Lepsius'a, ну—и довольно,
и насытитесь, и нечего больше искать.
Смотрите—какіе двѣнадцать томищевъ:
каждый нужно на лошади везти“.

И я погрузился. Въ шесть дней не-
дѣли я не терялъ минуты; потомъ —
немножко страстной недѣли, потомъ —
субботы лѣтомъ (день, свободный отъ
занятій въ Петербургѣ) и среди обычно-
служебной недѣли хоть денекъ ска-
жешься больнымъ—и все сюда, въ зна-
менитыя и прекраснѣйшія „отдѣленія“. Согрѣшилъ, укралъ у христіанскаго Бо-
га одно говѣнье и заглянулъ въ Оив-
скія и Геліопольскія святилища.

Грустенъ и весель вхожу, ваятель, въ твою мастерскую;
Гипсу ты мысли даешь, мраморъ послушенъ тебѣ.
Сколько боговъ и богинь, и героевъ...

.....

Право, лучше чѣмъ этимъ стихомъ Пушкина не умѣю изобразить то веселое, раскатистое чувство, съ какимъ при изнуреніи физическихъ силъ я все глубже и глубже закапывался въ египетскіе фоліанты. „Золотой сонъ челоѳчества“— его я увидѣлъ здѣсь воочию. Я увидѣлъ его, какъ картину, а не какъ рассказъ. Право-же, египетскими рисунками можно иллюстрировать, какъ миниатюрами по полямъ книги, весь „Сонъ смѣшного челоѳка“ Достоевскаго, какъ и бесѣду Версилова съ сыномъ, и много, много... страницъ изъ Лермонтова. Весь Египетъ есть только необозримая и по широтѣ, и по разнообразію, и по углубленности, иллюстрація къ стихотворенію:

Когда волнуется желтѣющая нива

или, *vice-versa*, это знаменитое стихотвореніе съ заключительнымъ:

И въ небесахъ я вижу Бога

есть только странный атавизмъ, „заговорившіе въ пра-пра-правнукѣ предки“, жившіе еще на берегу горячаго Нила. Все, какъ и у Лермонтова—тамъ: серебристые ландыши, тѣнистые сады, прячущійся въ зелени листовъ пунцовый плодъ и... богъ, вездѣ — Богъ, все — боги,

Сколько боговъ и богинь...

О! „боги сходили тамъ на землю и роднились съ людьми“. Изъ трогательныхъ рисунковъ передамъ одинъ. Нарисованъ рядъ осликовъ, цѣлое стадо, вереница. Всѣ вѣроятно видали у конечныхъ пунктовъ петербургскихъ конокъ, въ знойные лѣтніе дни, какъ наши добрые кондукторы-мужички, жалѣя уставшихъ лошадей, мочатъ обильно тряпки и кладутъ имъ на усталый черепъ. Я замѣчалъ, что кондукторы (сами очень усталые) неумолимо, безустанно это дѣлаютъ. Но вотъ, что я разъ замѣтилъ на адмиралтейскомъ концѣ конки: кондукторъ

положилъ лошадиную морду на плечо себѣ и, обнявъ ея шею, долго такъ держалъ. Это уже ласка, это одухотвореніе, это не (медицинская) помощь. Теперь, на поразившемъ меня египетскомъ рисункѣ осликовъ-ли или лошадей они всѣ заложили морду за шею другъ другу, т.-е. всѣ стоятъ въ ласкѣ, въ одухотвореніи. Ничего подобнаго и никогда я не видалъ во всемирной живописи. Черезъ три года въ той-же Публичной библиотекѣ я нашелъ изображенія ланей, но въ странномъ сочетаніи: черепа ихъ какъ-бы раскрыты, оттуда тянутся рога, но и вмѣстѣ выходитъ челоѳкъ, что-то челоѳкообразное, голова, руки, туловище, и такъ согнутое какъ-бы говорить: „вотъ — я родился! вотъ—изъ какой родины!“ Вполнѣ удивляюсь, какъ историки культуры и религіи никогда не воспроизвели этого рисунка: въ немъ уже вся Греція, со множествомъ мифовъ, съ царями Миносами и Минотаврами, съ Гераклами въ лвиной шкурѣ и проч. И вмѣстѣ здѣсь тоже и родина „Рейнеке-Лисъ“ Гете (животный и челоѳкообразный эпосъ).

Высокое счастье, высокая радость бытія разлиты въ египетскихъ лицахъ. Слова Достоевскаго: „они были прекрасны, потому что были похожи на дѣтей“—совершенно опредѣленно описываютъ сущность прелести египетскихъ лицъ. Напр., на одномъ рисункѣ „Экспедиціи французской арміи подъ предводительствомъ Бонопартэ“ (много-томный атласъ), — перенесена живопись съ какой-то стѣны храма: лица (фигурки) — челоѳческія, онѣ очень не велики, каждая въ мизинецъ величины, и всѣ, т.-е. такое огромное множество, улыбаются. Улыбается египтянинъ (какъ я разсмотрѣлъ на другихъ большихъ рисункахъ) не губами, а лицомъ: губы чуть-чуть изогнуты въ

Улыбку, но она своеобразно стянула и щеки, и лобъ, и вы получаете впечатлѣніе не смѣющагося человѣка, а обрадованнаго или извѣстіемъ, или находкою, или удачею, но вообще какимъ-то благополучіемъ. Сонмъ благополучныхъ лицъ—вотъ впечатлѣніе. Грѣхъ еще не начался, скорби еще нѣтъ, унынія не знаемъ. Улыбка тонкая и нѣжная, нѣсколько таинственная, именно какъ у дѣтей. Дѣти вѣдь еще другого міра, чѣмъ мы, безъ грѣха, т.-е. безъ главной нашей психологіи. Таковы египтяне; въ меньшей степени—греки; почти совсѣмъ этого нѣтъ—у римлянъ. При Адрианѣ у нихъ уже было только декаденство, и вотъ однако отрывокъ изъ этого декадентства (возобновленный культъ Изиды) все еще прекрасенъ, звученъ, цвѣтистъ, душистъ.

Послѣдняя туча разсѣянной бури...

„Не было чувства грѣха“—говоритъ (о грекахъ) Хрисанъ. „У нихъ вовсе не было того жестокаго сладострастія, которое у насъ составляетъ почти единственный источникъ всѣхъ и всякихъ грѣховъ“,—описываетъ Достоевскій людей другой планеты,—и въ тонѣ словъ его слышатся почти слезы, слезы скорби о настоящемъ, слезы указанія на будущее. А онъ былъ слишкомъ проницателенъ, чтобы ошибиться; авторъ „Карамазовыхъ“ именно въ томъ сладострастія былъ слишкомъ компетентенъ, чтобы сказать пустое опредѣленіе. Что же тутъ за тайна, которую онъ хотѣлъ выразить?! „У нихъ рождались дѣти; но эти дѣти были какъ-бы общія и всѣ эти прекрасные, добрые, еще не согрѣшившіе люди составляли одну семью“. Если мы спросимъ, чѣмъ семья и ея существо отличается отъ общества, отъ компаніи, отъ государства (въ ихъ существѣ), отъ всѣхъ видовъ человѣческаго общенія и связанности, то отвѣ-

тимъ: святымъ и чистымъ своимъ духомъ, святою и чистою своею настроенностью. Семья есть самое непорочное на землѣ явленіе; въ отношеніяхъ между ея членами упаль, умерь, стертъ грѣхъ. Всѣ—просты. Всѣ не зложелательны. Говорятъ, что думаютъ; дѣлаютъ, что хотятъ; прощаютъ, терпятъ; всегда веселы и всѣ въ союзѣ. Грѣхъ—на периферіи, за границами семьи. Члены семьи въ отношеніи къ внѣшнимъ уже обманываютъ, гнѣваются, хитрятъ. Безгрѣшность среди жителей цѣлой страны („Сонъ смѣшнаго человѣка“ Достоевскаго) очевидно и осуществима только черезъ одинъ путь: черезъ устраненіе вовсе периферіи съ семьи, т.-е. черезъ раздвиженіе семьи на всю страну, включеніе всей страны въ семью¹⁾. Мать мнѣ—не одна эта старушка, а всѣ старушки, каждая встрѣченная на дорогѣ; но и дальше, больше: Улиссъ, какъ родную, увидѣлъ старую собаку, которая встрѣтила его послѣ 20 лѣтъ отлучки и, завилывъ хвостомъ, умерла. И она есть

¹⁾ Одна изъ поразительныхъ тайнъ юдаизма, еврейства, поддерживаемыхъ такими утверженіями ихъ, какъ абсолютное закрытіе братныхъ связей съ тужеллеменниками, какъ миква (священное погруженіе въ бассейнъ воды передъ субботою) и прот., заключается въ томъ, что все еврейское племя, на всемъ земномъ шарѣ, имѣетъ родственное сложеніе и психологію только отъ одной семьи. Отсюда ихъ эгоизмъ къ внѣшнимъ и необыкновенная теллота другъ къ другу. У европейцевъ всѣ отношенія суть сосѣдскіе, гражданскіе, римскіе, или отношеніе—соутениковъ на партѣ (въ линіи религіозной связи).

членъ дома, не чужая Улиссу¹⁾; и такъ— всѣ другъ другу, такъ—вся страна. Гомеръ, старецъ, человѣкъ еще почти „золото-го вѣка“, уловилъ эту „собаку“: животное есть непремѣнная принадлежность полнаго дома, и коровки, и лошади, и овцы—всѣ. Человѣкъ вмѣстѣ съ животными, другъ животнаго — это прежде всего человѣкъ, оставившій гордость. А гордость „Эдемомъ“ исключается. Отсюда невинныя и дружныя человѣку животныя введены, какъ органическое звено, въ „рай“ первыхъ человѣковъ. Но вернемся къ указанію Достоевскаго: „у нихъ не было жестокаго сладострастія“. Сцена его „Сна“ до такой степени полна субъективнаго экстаза, что онъ конечно ничего не вспоминалъ, когда писалъ ее. Между тѣмъ въ „Бытіи“ также сказано, что грѣхъ человѣка, грѣхопаденіе, хотя оно заключалось только въ неповиновеніи Богу, однако сопровождалось страннымъ послѣдствіемъ: что-то моментально произошло въ полѣ и люди закрылись древесными листьями. Началось „жестокое сладострастіе“:

Грѣхъ, смерть, стыдъ—связаны, какъ числитель и знаменатель одной дроби. Измѣняется *знаменатель*—не остается тѣмъ-же и *числитель*, хотя-бы цифра его была *та-же*.

¹⁾ Поразительно до сихъ поръ чувство животныхъ у магометанъ: они ихъ не трогаютъ, не гонятъ и не убиваютъ. Не смѣютъ (психологически) этого и не хотятъ. Этимъ объясняется безобразіе Константинополя, котораго улицы—это собачій дворъ: но собаки, какъ мы передавали, до того тихи, что терзѣ каждую можно безопасно перешагнуть. Это некрасивая форма прелестнаго Венеціанскаго обычая: во всей Венеціи не убиваютъ голубей.

У грековъ „не было чувства грѣха“ (Хрисанѳъ). Какъ-же они смотрѣли на полъ? Обрати нашему. Какъ мы смотримъ? Какъ на грѣхъ. Грѣхъ и полъ для насъ тождественны, полъ есть первый грѣхъ, источникъ грѣха. Откуда мы это взяли? Еще невинные и въ раю мы были благословлены къ рожденію. Мысль, что въ родникѣ семьи, въ полѣ, содержится грѣхъ, есть одна изъ непостижимыхъ историческихъ aberrаций; она сейчасъ-же перенесла святость въ смерть, въ гробъ. Какъ только человѣкъ подумалъ, что въ рожденіи—грѣхъ, испугался его, застыдился: сейчасъ-же святость и славу онъ перенесъ въ могилу и за могилу, и поклонился смертному и смерти. Вотъ, гдѣ связь трехъ факторовъ грѣхопаденія: повѣривъ Искусителю и вождю смерти, ерзо человѣкъ застыдился, осудилъ въ себѣ родники жизни; а осудивъ родники жизни (стыдъ)—причастился смерти, сталъ смертенъ.

* * *

Мы уже подходимъ здѣсь совершенно къ темѣ „Демона“. У Достоевскаго сказано: „Дѣти были общія, невинные люди радовались рожденію ихъ, какъ участниковъ земнаго своего блаженства“. Чѣмъ болѣе сядетъ за столъ гостей, тѣмъ радостнѣй пиршество. И о смерти они не скорбѣли: но смерть, даже безболѣзненная, есть уходъ, сокрытіе. Гость вышелъ изъ-за стола и ушелъ въ иное мѣсто. Если даже онъ ушелъ въ лучшее мѣсто, это лучшее — для него, а у насъ, за нашимъ пиршествомъ, стоитъ пустой стулъ. Хотя легкая тѣнь скорби останется при видѣ пустого стула. И такъ, смерть все-таки есть скорбь, но рожденіе—„здравствуй, еще человѣкъ, гряди въ міръ!“ Древній теизмъ, да и теизмъ въ видѣннѣи Достоевскаго есть какъ-бы разлившееся

молоко, пожалуй—какъ-бы разлитіе по всѣмъ нашимъ жиламъ чего-то нѣжнаго, мягкаго, любящаго, безсловеснаго, подымающаго грудь, безъ именъ, безъ статуй, безъ средоточій въ одинъ пунктъ или минуту. Посему первые храмы не имѣли ничего общаго съ нашими: идешь, идешь—поле; не очень много святости; входишь въ лѣсъ — больше святости! Тутъ и птички, и дикая коза, и такая большая куча листочковъ—„божковъ“. День—хорошо; сіяетъ солнце, есть святость; но ночь—зажигаются мириады солнцъ, все небо „въ очахъ“—тутъ святость гуще, тутъ слезы подступаютъ къ горлу. Все и вездѣ свято; но нажимъ святости сосредоточивается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, областяхъ, пространствахъ, временахъ. Но изъ этихъ временъ субъективно для каждого есть одно особенное и исключительное, по странности, по радости, по глубокимъ благодатнымъ послѣдствіямъ:—это рожденіе, мое или отъ меня. Представить себѣ можно этихъ первыхъ людей въ моментъ влюбленности. Достоевскій и говоритъ: „они всѣ были какъ-бы влюбленные другъ въ друга“. Тургеневъ рисуется намъ влюбленныхъ, и онъ, старикъ, въ старый фазисъ цивилизаціи рисуется ихъ, какъ древніе своихъ полу-боговъ, а мы всѣ, не сговариваясь, называемъ ихъ „героями“. Любовь исключаетъ обманъ; вотъ кого не обманетъ женихъ: свою невѣсту. Пожертвуетъ жизнью. Они не лукавствуютъ, не хвастаютъ, не лгутъ, не зложелательствуютъ: назовите мнѣ грѣхъ между ними, и я дамъ на отсѣченіе свою голову. Это—сейчасъ, въ пору старости. „Весь избытокъ молодыхъ силъ уходилъ у нихъ на любовь“,—говоритъ Достоевскій. Что-же должны были чувствовать, влюбляясь, ранніе человѣки, и главное, какъ они

должны были быть удивлены, поражены этимъ чувствомъ, его феноменомъ, его неразгаданною сущностью? Но тутъ пусть скажетъ два слова наша наука:

„Мы обозрѣли всѣ явленія органической жизни,—питаніе тканей, ростъ, старость,—и видимъ, что ни къ одному изъ нихъ положительная наука, да и какая бы то ни была гипотеза, не даетъ ключа. Но мы ничего еще не сказали о *полѣ*: всѣ живыя существа, безъ какого-либо исключенія, суть или мужскія, или женскія. Но *что такое полѣ—это наука менѣе знаетъ, чѣмъ то-либѣ*“. Такъ кончается на послѣдней страницѣ Страховъ свою философскую книгу, посвященную проникновеннѣйшему и осторожнѣйшему изслѣдованію органическихъ явленій ¹⁾.

Если въ XIX послѣ Р. Х. вѣкѣ Страховъ не зналъ, то что-же знали за XIX вѣковъ ранѣе Р. Х. египтяне, греки? А если это тайна и вѣковая тайна, то ужъ позвольте, какъ и всякую тайну, разложить ее на „здѣсь“ и „тамъ“, земное и *сверхземное*, обыкновенное и *чуждесное*, рациональное и *мистическое*, человѣческое и... *божественное? демоническое?*

Какъ хотите. Если грѣхъ есть рожденіе — демоническое, а если рожденіе свято—божественное. Въ „Трехъ разговорахъ“ Соловьевъ, человѣкъ весьма религіозный и до конца дней, написалъ (разговоръ третій): „сила зла царствомъ смерти подтверждалась-бы“. И нѣсколько далѣе: „Есть зло индивидуальное (перечисляются его виды), есть зло общественное (опять перечисленіе); есть наконецъ зло физическое въ человѣкѣ,—въ томъ, что низшіе, матеріальные, химическіе и механическіе элементы его

¹⁾ „Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физиологіи“, послѣдняя страница.

тѣла сопротивляются живой и свѣтлой силѣ, связывающей ихъ въ прекрасную форму организма; сопротивляются и растворяютъ эту форму, уничтожая реальную подкладку (т. е. тѣло) всего высшаго (психической дѣятельности). Это есть *крайнее* (его курсивъ) зло, называемое смертью¹. Такъ предсмертно написалъ Соловьевъ. Онъ былъ благочестивъ. Итакъ: смерть—„крайнее зло“, абсолютъ зла. Слѣдовательно одолеваящее смерть рожденіе есть абсолютъ добра... Кто-же оно? Демонъ?

Лермонтовъ назвалъ „демонъ“, а древніе называли „богомъ“. Въ томъ бѣломъ, безымянномъ, безъ-фигурномъ теизмѣ, какой вздымалъ ихъ грудь въ „золотомъ снѣ“, они и называли „чудеснымъ“, „святымъ“, „непостижимымъ“ и „страшно могущественнымъ“ (о, безпредѣльно!), а наконецъ и волшебнымъ по своимъ дѣйствіямъ необъяснимое для насъ, и ни для кого, чувство любви и феноменъ пола. Его вторую неясную и мистическую половину, сверхъ видной и ясной, они отнесли „туда“... Куда? Въ лѣсъ густой—болѣе, чѣмъ въ поле; въ ночь—болѣе, чѣмъ въ день; куда-нибудь, въ „тайну“, въ мѣсто нажима теизма¹). Но который полъ? Да конечно—два! Вотъ Соловьевъ, такъ благочестиво умершій, по напечатаннымъ воспоминаніямъ его друзей высказывался, что Богъ есть существо женскаго рода („Вѣчная Мировая Женственность“, см. въ предисловіи къ 3 изд. его стихотвореній), а по одному воспоминанію г. Энгельгардта по ночамъ онъ иногда запирался и „молился какой-то Розовой тѣни“. Я никогда ей не молился, потому что не видалъ; но если Соловьевъ молился, то очевидно, что онъ ее видѣлъ! Не слову-же, не

¹) Идея священныхъ роцъ; идея храма, у египтянъ, имитировавшаго роцу.

фетишу звуковому онъ молился. Онъ видѣлъ „розовую тѣнь“; по сказаніямъ, по напечатаннымъ словамъ стихотворенія „Три свиданія“ онъ видѣлъ ее всего три раза: въ дѣтствѣ, 9-ти лѣтъ, въ Британскомъ музеѣ и въ Египтѣ, причемъ въ послѣдній поѣхалъ по назначенному тамъ свиданію. Что это такое—я не знаю. Но знаю, что евреи передъ каждою субботою и въ каждую хижину ждутъ тоже какую-то золотую гостью, небесную, именуемую „Царица Шабасъ“. А евреи довольно религіозный и вмѣстѣ не фантастическій народъ; если еще допустимо, что Соловьевъ фантазировалъ, то евреи вѣрятъ... какъ? Религіозно. Женское начало, прямо видѣніе, образъ, уже фигурно и поименно введено въ религію строжайшаго, суровѣйшаго, вѣчно семинарствующаго народа.

Такъ что-же мы будемъ кричать на „Геру“ грековъ, „Изиду“ египтянъ, „Астарту“ сидонянъ? Да это и есть „розовая тѣнь“ Соловьева, „Царица Шабасъ“ евреевъ:

...Для этого названья нѣтъ,
Все чувство...

Я не видалъ ни Геры, ни Изиды, ни Шабасъ, ни „розовой тѣни“. Но если у меня нѣтъ проказы, то я все-таки знаю, что есть прокаженные, и если не испыталъ „ауга“ эпилептиковъ, то вѣрю ощущенію „мировой гармоніи“, передъ припадкомъ „священной болѣзни“, какое описываетъ Достоевскій. Я—не все. А показаніямъ моихъ братьевъ не могу не вѣрить.

Но я могу читать, и вотъ вижу, что первая строка „Книги Бытія“: „борейшись бара Элогимъ“, „вначалѣ сотворилъ Богъ“ имѣетъ *сказуемое въ единственномъ числѣ*, а подлежащее—къ преткновенію всѣхъ ученыхъ—не въ единственномъ, а во множественномъ

числѣ, (единственное число Елоахъ, арабійское—Аллахъ). Какимъ образомъ это можетъ быть и какъ-же тогда перевести это мѣсто? Да вѣдь, очевидно, не было никакого основанія для Соловьева думать, что къ его исключительному и личному удовольствію есть только „розовая тѣнь“, можетъ быть около нея есть „грозная тѣнь“; и если есть „Царица Шабасъ“, то есть и „Адоннай“ — уже въ единственномъ числѣ. Рѣчи-то пророковъ вѣдь всѣ льются въ двухъ тонахъ: страшныхъ угрозъ и нѣжнѣйшаго утѣшенія, какъ-бы одинъ голосъ слышится изъ-за другого, и изъ-за второго опять выступаетъ первый, сплетаясь, какъ два вервья въ одно. Загадкою филологическою разрѣшается загадка метафизическая: „бара Элогимъ“ очевидно и нужно перевести „сотворила Чета“ (мистическая „Двоица“ Пифагора). Да и понятно это. Если полъ—тайна, непостижимость (мнѣніе Страхова), имѣетъ свое „здѣсь“ и свое „тамъ“, то какъ здѣсь есть мужское начало и женское, то и „тамъ“, въ структурѣ звѣздъ что-ли, въ строеніи свѣта, въ эфирѣ, въ магнетизмѣ, въ электричествѣ, есть „мужественное“, „храброе“, „воинственное“, „грозное“, „сильное“ и есть „жалостливое“, „нѣжное“, „ласкающее“, „милое“, „сострадательное“. Тогда опять выраженіе Библіи о человѣкѣ: „по образу нашему сотворимъ человѣка, мужчину и женщину сотворимъ его“—понятно-же.

Вотъ мы и подошли совсѣмъ къ темѣ „Демона“. Мы сдѣлали ее уже совершенно понятной, нашей, близкой, родной. Но я скажу болѣе: мы сдѣлали ее научной; просто—научной какъ арифметика. „Демонъ“ вовсе не фантазія, а самая реальная „быль“, со мной не бывшая, но вотъ съ Соловьевымъ бывшая, и только съ Лермонтовымъ быв-

шая въ платьѣ другого покроя, не въ туникѣ, а въ тогѣ, не съ нѣжною улыбкой, а съ грозящимъ пальцемъ.

II.

Древнихъ греческихъ философовъ, до Сократа, историки называли „физиологами“, хотя они не разсѣкали труповъ и едва-ли что знали изъ нашей науки физиологіи. Такое имя имъ дали по характеру и по темѣ ихъ размышленія. Вотъ такимъ не физиологомъ-мудрецомъ, но физиологомъ-поэтомъ, въ древнемъ и особенномъ смыслѣ, былъ Лермонтовъ:

О грезахъ юности томимъ воспоминаньемъ
Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О, еслибъ знало ты, какъ я тебя люблю.
Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя
И быстрые глаза, и кудри золотыя,
И звонкій голосокъ...

Это совсѣмъ другой составъ словъ и движеніе души, чѣмъ у Пушкина:

Младенца-ль милаго ласкаю
Уже я думаю: „прости“...

Пушкинъ чувствуетъ младенца, если можно такъ выразиться, идилически, картинно, Лермонтовъ—физиологически. Послѣднее—гораздо глубже, и слово „съ содраганіемъ“ (смотрю)—тутъ не обмолвка. Это—взглядъ отца, взглядъ—матери, любовь—не скользящая по предмету художественнымъ лучомъ, а падающая на предметъ вертикально, какъ лучъ полуденнаго солнца, пронзающая предметъ, сжигающая предметъ. И такіе вертикальные лучи, негодованія-ли, любви-ли, палящіе, знойные, дѣйствующіе, ударяющіе — вездѣ у Лермонтова; въ противоположность горизонтальнымъ лучамъ, художественно успокоеннымъ, у Пушкина. Отъ этого дѣйствіе ихъ на душу глубоко, быстро, смущающе: безъ всякаго преувеличенія, слезы наверты-

ваются при чтеніи его строкъ, или сердцемъ овладѣваетъ восторгъ, побѣда: „веди насъ, вождь нашъ“, хочется сказать поэту. И его чувство о себѣ, о поэтѣ:

Бывало, мирный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы.
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ
толпой...

Это не преувеличеніе, а правда. Изъ подъ уланскаго мундира всегда у Лермонтова высовывается шкура Немейскаго льва, одѣвающая плеча Геркулеса. Древній онъ поэтъ, старый онъ поэтъ. И сложеніе стиха у него, и думы его, и весь онъ — тысячелѣтняго возраста. Точно онъ былъ и плакалъ при твореніи міра, когда „и сказалъ Богъ—да будетъ свѣтъ, и сталъ вечеръ и стало утро—день первый“. Онъ все это запомнилъ, и вотъ этою давнею любовью, дѣдовскою, родною, лѣшею, „ангельскою“-ли, „демоническою“-ли (какъ хотите, по выбору) полна его поэзія.

„Антропоморфизмъ“ религіи... смѣшно читать въ историческихъ книгахъ издѣвательства надъ этою древнею вѣрой. Какъ будто, имѣя понятіе о себѣ, какъ „образъ и подобіи Божию“, мы исповѣдуемъ что-нибудь иное. Какова фотографія, таковъ и оригиналъ. Нѣтъ, изъ „антропоморфизма“ не только не нужно, но и невозможно вырваться, и „розовыя тѣни“ (Соловьевъ) въ неизъяснимыхъ глубинахъ неба, какъ и „грозящія пальцы“ въ нихъ-же — не одна фантазія. У Лермонтова, кромѣ фізіологіи, есть романтизмъ природы; или, точнѣе, потому-то его фізіологія и есть мистическая, что — она собственно вездѣ разлагается на игру „розовой“ и „грозной тѣни“, „туники“ и „плаща“; вездѣ—тучка и утесъ, вездѣ—тоска разлуки или ожиданіе свиданія, вездѣ—

романъ, вездѣ—начало жизни, и небесной и земной, въ сліяніи.

По небу полуночи Ангелъ летѣлъ
.....
Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ
Для міра печали и слезъ...

Вотъ, что видитъ Лермонтовъ за начальнымъ мигомъ человѣческаго существованія, позади перваго дѣтскаго на землѣ вздоха, крика. Это—миѳъ сзади фізіологіи, священный миѳъ, въ этомъ и мы ему не откажемъ. Все—антропоморфично въ небѣ, все богообразно—на землѣ. Все—чудище, лѣсъ дріадъ, въ которомъ запутался бѣдный странникъ, человѣкъ.

И звуковъ тѣхъ словъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

Геродотъ, когда въ своихъ странствованіяхъ дошелъ до Вавилона, то жрецы, т. е. пѣвцы и поэты народа показали ему древнѣйшій въ городѣ храмъ, который онъ описываетъ. „Это—четыреугольникъ, каждая сторона котораго имѣетъ двѣ стадіи. Уцѣлѣлъ онъ до моего времени (конецъ „Золотого сна“). Посрединѣ храма стоитъ массивная башня, имѣющая по одной стадіи въ длину и ширину; надъ этой башней поставлена другая, надъ второй третья и такъ дальше до восьмой. Подъемъ на нихъ сдѣланъ снаружи; онъ идетъ кольцомъ вокругъ всѣхъ башенъ. Поднявшись до середины подъема, находишь мѣсто для отдыха со скамейками; восходящія на башни садятся здѣсь отдохнуть. На послѣдней башнѣ есть большой храмъ, а въ храмѣ стоитъ большое прекрасно убранное ложе и передъ нимъ золотой столъ. Никакого кумира въ храмѣ однако нѣтъ. Провести ночь въ храмѣ никому не дозволяется, за исключеніемъ одной только туземки, которую выбираетъ себѣ божество изъ числа всѣхъ женщинъ. Такъ рассказываютъ

халдеи, жрецы этого божества. „(Первая книга, гл. 184) Ну, и что-же дальше?

Лишь только мѣръ волшебнымъ словомъ
Завороженный—замолчить;
Лишь только вѣтеръ надъ скалою
Увядшей шевельнетъ травою,
И птичка, спрятанная въ ней,
Порхнетъ во мракъ веселѣй;
И подъ лозою виноградской,
Росу небесъ глотая жадно ¹⁾,
Цвѣтокъ распухнетъ ночью;
Лишь только мѣсяцъ золотой
Изъ-за горы тихонько встанетъ
И на тебя украдкой взглянетъ—
Къ тебѣ я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковыя рѣсницы
Сны—золотые навѣвать.

„Халдеи-же говорятъ“, оканчиваетъ Геродотъ,—„чему, однако, я не вѣрю, будто божество само посѣщаетъ храмъ и почиваетъ на ложбѣ; нѣчто подобное такимъ-же способомъ совершается въ египетскихъ Оивахъ, по словамъ египтянъ; и тамъ будто-бы ложится спать въ храмъ женщина въ храмѣ Зевса Оивскаго, какъ здѣсь—въ храмѣ Зевса—Бела, причемъ ни вавилонянка, ни оивянка не имѣютъ, говорятъ, вовсе сношеній съ мужчинами. Подобно этому въ Ликии, въ Патарахъ, прорицательница, —если только она бываетъ, ибо оракуль тамъ не постоянный,—запирается по ночамъ въ храмъ“.

Вотъ общее, и безъ взаимнаго конечно соглашенія — въ Египтѣ, Вавилонѣ, Греціи Азіатской. Очевидно, вездѣ былъ вопросъ: „что Богу понести самага чудеснаго...“, нѣтъ, иначе, другими словами: „на высоту, ближе къ звѣздамъ, въ восьмой ярусъ, къ первому дню творенія, съ чѣмъ я пойду чудодѣйственнымъ, непостижимымъ, меня радующимъ, меня возвышающимъ въ героя, чистымъ, развязывающимъ узы грѣха?“

¹⁾ Совершенно тема и тонъ стихотворенія „Когда волнуется желтѣющая нива“. Но тамъ появляющееся среди всего этого названо „Богъ“, здѣсь—„демонъ“.

И вездѣ инстинктивно отвѣтили: „пойду съ *судомъ* любви, съ таинственною *магіей* влюбленности, которую никогда-то никто не умѣлъ постичь, и всѣ передъ ней плакали, умилялись на нее, отъ Тургенева до Шекспира.

О, ночь блаженства!
И радости! Подумать страшно мнѣ,
Не грезой-ли ночной я, очарованъ!
Все то, что испыталъ я, слишкомъ нѣжно,
Чтобъ быть дѣйствительнымъ.

Джульета.

Еще два слова

Ромео, милый мой, а тамъ—простимся
Съ тобой совсѣмъ! Когда любовь твоя
Честна и благородна, и коль скоро
Ее ты завершить намѣренъ бракомъ,
Пришли сказать мнѣ завтра съ тѣмъ, кого
Пришлю къ тебѣ сама я, день и часъ,
Который ты назначишь для вѣнчанья.
Себя и все свое съ минуты этой
Отдамъ тебѣ во власть я и пойду
Вслѣдъ за тобой, хотя-бъ на край вселенной..

Конечно — узы грѣха развязаны. Это такая чистота, такая невинность, съ которой куда-же и бѣжать, какъ не въ точку нажима религіознаго чувства, въ „священную рошу“, на восьмую башню—на Ефратѣ, или, какъ поступили Веронскіе несчастливцы—въ падре Лоренцо. Но куда-то вообще въ „алтарь“ или „къ алтарю“ священнаго мѣста. Всемирный инстинктъ, всемірно человѣческой, на чемъ собственно, а не на какихъ-нибудь приказаніяхъ, держится доселѣ, въ своихъ остаткахъ, бракъ, „вѣнчанный“, „коронованный“, съ глазами, обращенными къ небу. Но что-же чувствуетъ Вавилонская, Оиванская или Патарская дѣвушка?

Невыразимое смятеніе
Въ ея груди; печаль, испугъ,
Восторга пыль—ничто въ сравненіи!
Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,
И этотъ голосъ чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучалъ.

.

И передь утромъ сонъ желанный
Глаза усталые смежилъ.

.....
Но мысль ея онъ возмущилъ
Мечтой пророческой и страшной:
Пришлецъ туманный и нѣмой,
Красой блистая не земной,
Къ ея склонился изголовью;
И взоръ его съ такой любовью,
Такъ грустно на нее смотрѣлъ,
Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ,
То не былъ ангель-небожитель,
Ея божественный хранитель:
Вънецъ изъ радужныхъ лучей
Не украшалъ его кудрей;
То не былъ ада духъ ужасный
Порочный мученикъ—о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!..

Образъ челоѡкообразный—разсѣивается въ природу („ландыши полевые“, „ни день—ни ночь—ни мракъ—ни свѣтъ“), хотя за минуту еще природа встала передь очами... духомъ „богомъ“, „небожителемъ“, котораго Лермонтовъ не смѣетъ похвалить, не въ силахъ и порицать. Душа его смущена и встревожена... немножко, какъ и у вавилонской дѣвушки. Вернемся къ древнимъ дѣвушкамъ: къ нимъ сходилъ—„Бель“ въ Вавилонѣ, „Озирисъ“ въ Оивахъ, „Зевсъ“ въ Патарахъ. Что имена? Грудь вздымалась.

Падалъ небесный цвѣтокъ на землю—и дѣвушка ловила его. Жрецы-младенцы не лукавили, говоря, что „никто туда не входилъ“.

* * *

О древнихъ религіяхъ, вотъ гдѣ всходили дѣвушки на вершины башенъ, всѣ ученые рассказываютъ, что въ нихъ поклонялись звѣздамъ. Не будемъ преувеличивать и особенно не будемъ утяжелять понятіе: „поклонялись“; это было поклоненіе воздушное, лѣсное, не угрюмое, не испуганное: это было что-то очень похожее на любовь-же, на безконечное „преклоненіе“ и страхъ оскор-

бить „поклоняемаго“. Іовъ говоритъ стыдливо и оправдываясь: „Смотря на солнце, какъ оно сіяетъ, и на луну, какъ она плыветъ по небу, *прельстился-ли я въ тайнѣ сердца моего и цѣловалъ-ли уста моя руку мою*“ (глава 31, ст. 26—27). Намъ этого чувства представить уже нельзя: поцѣлуй воздушный—черезъ билліоны верстъ лунѣ, солнцу! Но тускло, но равнодушно почти, однако именно при влюбленіи и мы какъ-то внимательнѣе смотримъ на звѣзды и на „луну, плывущую въ небѣ“ (Іовъ). Что-то есть между нами, между мною, моею возлюбленною, и звѣздой, небомъ? Что? какъ?—„не вѣмы“, но что-то чувствуемъ. И вавилонянка входила вверхъ. Храмъ былъ страшно высокій; на полъдорогѣ надо было отдыхать; а звѣзды тамъ—огромныя, какъ небесныя сливы, какъ золотой спустившійся съ небесъ виноградъ. До чего это древне, до чего это вѣчно,—это я подумалъ, прочитавъ въ одной попавшейся мнѣ еврейской рукописи, что евреи и до сихъ поръ въ *ново-луніе* выходятъ на дворъ, въ поле, на улицу, и *скажутъ вверхъ, стараясь* („богоугодиѣ“) *выше подпрыгнуть въ направленіи къ лунѣ*.—Достоевскій въ „Снѣ смѣшного челоѡка“ говоритъ о невинныхъ людяхъ: „они не имѣли науки, но имѣли что-то большее нашей науки: они *проникали въ звѣзды* и я видѣлъ, что у нихъ есть какое-то *внутреннее съ ними общеніе, въ этомъ я не ошибаюсь*“! Самое древнее изображеніе Астарты было найдено на глиняномъ (халдейскомъ) цилиндрѣ: простая челоѡкообразная фигурка, которая держитъ въ рукахъ (какъ мы восковую свѣчу) трость, къ концу которой прикрѣплена звѣзда. Вотъ, откуда мы и до сихъ поръ „со звѣздою путешествуемъ“; въ католическихъ-же храмахъ ихъ таинственная

„мадонна“, кажется, болѣе космологическая, чѣмъ историческая, тоже всегда или въ окруженіи звѣздъ (вокругъ всего корпуса тѣла), или въ вѣнцѣ изъ звѣздъ, и стоитъ на изогнутомъ серпѣ луны: символы, о которыхъ мы ничего не читаемъ въ смиренномъ евангельскомъ разсказѣ.

На воздушномъ океанѣ
Безъ руля и безъ вѣтриль
Тихо плаваютъ въ туманѣ
Хоры дивныя свѣтилъ.
Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неувидимыхъ
Волокнистые стада...

Живое небо, такъ-же прекрасное, какъ и для насъ, но еще кромѣ того живое! Да вѣдь не замѣчаемъ-ли мы, что свѣтъ солнца (звѣзды) и въ самомъ дѣлѣ органической, а не механической; это — не свѣтъ какой-то чугунной красной бомбы, глупой, бездумной, бессловесной. Да, оно нѣмо, но фактами говоритъ. Говоритъ бытіемъ и въ бытіи („Сый—такъ будешь ты называть меня“, Исходъ). Говоритъ травкой въ полѣ, листочкомъ на деревѣ. Отъ натопленной печки у насъ голова болитъ, а подъ солнцемъ (при большой даже температурѣ) расцвѣтаемъ, радуемся, скачемъ, почти какъ евреи. Нѣтъ, не ошибалась древность, она болѣе насъ чувствовала,—и Іовъ не напрасно послалъ украдкою поцѣлуй. „Что-то есть“! — „И ввелъ Духъ меня во внутренній дворъ храма Господня; и вотъ я вижу: у дверей его, между притворомъ и жертвенникомъ стояло до двадцати-пяти мужей. Они стояли къ Востоку лицомъ и поклонялись солнцу, а *къ носу подносили свѣжія зеленыя вѣтви*“ (Иезекиль, 7 гл., ст. 16 — 17). Вотъ своеобразные пиѳагорейцы, т. е. предшественники пиѳагорейцевъ, которые могли-бы дать въ Іерусалимѣ Пиѳагору тѣ-же уроки, какіе

онъ получить въ Египтѣ. „Золотой сонъ человечества вездѣ былъ“ (Достоевскій). „Онъ умеръ! онъ умеръ“ („ai linu“), „онъ—воскресъ! онъ—воскресъ“! („jeshaveh hadad“) — эту „пѣснь Лину“ Геродотъ слышалъ въ Египтѣ и удивился, что „она поется тамъ такъ-же, какъ и въ Аркадіи“. — „И привелъ меня ко входу во врата дома Господня, которыя къ сѣверу, — и вотъ, тамъ сидятъ женщины, плачущія по Таммузѣ“ (Иезекиль, 8 гл.). „Золотой сонъ человечества вездѣ тотъ-же“. Бл. Іеронимъ, Кирилъ Александрійскій, Прокопій Газскій и Оригенъ согласно говорятъ, что „Таммузъ“ евреевъ и сирійцевъ есть тоже, что „Адонисъ“ у грековъ; а именемъ „Таммузъ“ до сихъ поръ называется у евреевъ одинъ мѣсяцъ въ году, т. е. одинъ мѣсяцъ они называютъ „Адонисъ“, самые правовѣрные до сихъ поръ! Цвѣты Греціи и плоды Сиріи соединяются, касаются. Въ Греціи только все выражено немного грубѣе, ибо осязательнѣе, все уже болѣе приближается въ возможности статуи, изображенія, къ участию мрамора, къ возникновенію искусства. Евреи этого страшились: какъ я стану любить статую, когда долженъ любить живое!“ — вотъ неразгаданный единственный мотивъ ихъ отвращенія, ихъ страха и вражды къ „идолопоклонству“, искусству. Возможно-ли цитированные стихи:

Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганіемъ,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

возможно - ли проскандировать ихъ куклѣ?! Чудовищно! жестоко! насмѣшка надъ поэзіей и прямо ругательство, надругательство надъ ребенкомъ! Евреи, взявъ камень и бросивъ въ статую (положимъ „Афродиты“) — дали знакъ: „не—ее, а—женщину“ (жену) т. е. люби. Теологи-же европейскіе чудовищно истолковали это такъ, что евреи черезъ

это выразили „отвращеніе къ поклоненію твари вмѣсто Творца“. Какъ будто не Соломоновъ храмъ былъ увѣшанъ гроздіями винограда, не Аароновъ жезлъ далъ миндальные цвѣты, не на одеждѣ первосвященника сдѣланы были гранатовые яблоки, и не на крышкѣ кіота завѣта стояли „херувимы“, т. е. „отрочскія существа“ по изъясненію слова „херувимъ“ въ *Мишнѣ*; а „два“ ихъ было—ибо все „двоится“ по „образу и подобію“ Четы Сотворившей. Но оставимъ этотъ вводный споръ о причинѣ отвращенія іудеевъ къ „статуямъ“— и вернемся къ халдеямъ. Какъ неосязаемы были ночныя волненія вавилонянки. Никто къ ней не приходилъ и она сходила на утро съ вершины башни только взволнованная. Это была дымка мечты, безъ всякаго осуществленія. Греки дали осуществленіе, солгали, написали то, чего не было, выдумали, начали „Миѳъ“ („сказаніе“).

* * *

У Лермонтова „демонъ“ никакъ не названъ. Если-бы его спросили, какъ имя его героя—онъ былъ-бы пораженъ. Имя и фамилія? Но, Боже, это—только *идея*, только *метафизическая истина*, но *въ самомъ дѣлѣ* истина, безъ прикрасъ, *логичная и вмѣстѣ религіозная*. Вотъ на этой-то правильной чертѣ и не удержались греки, прописавъ паспортъ и „особенныя примѣты“ „богу“, а когда во II вѣкѣ до и послѣ Р. Х. стали разсматривать этотъ паспортъ, то конечно и нашли его фальшивымъ, по чему заключили, что „ни Зевса, ни Семелы, ни всѣхъ этихъ сказокъ никогда не было и нѣтъ“ (критика Евгемера, критика отцовъ церкви). „Язычество — выдумка! Оно — пусто! Просто—нуль, гладкая доска, на которой только еще предстоитъ написать религію“. Между тѣмъ при ложномъ пас-

портѣ неужели не можетъ существовать истиннаго челѳка?!

Въ послѣдній разъ она плясала...
Увы, завтра ожидала
Ее, наслѣдницу Гудала,
Свободы рѣзвое дитя,
Судьба печальная рабыни
.....
И демонъ видѣлъ... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ...

Тотъ-же миѳъ, миѳъ грековъ о „Зевсѣ и Семелѣ“, но съ осторожнымъ обхожденіемъ имени. Евреи, чуткіе, точные, не распущенные въ воображеніи, тоже обходятъ имена, *вовсе ихъ не лишутъ* или замѣняютъ не настоящими, замѣняютъ эпитетами, описаніями, *похвалами*. И у нихъ отъ этого исключенія „паспорта и примѣты“ все цѣло до сихъ поръ. Но нѣтъ-ли *сходнаго* и даже *того-же* и у нихъ? Евреи хитрѣе и умнѣе; евреи—осторожнѣе: но *въ предѣлахъ той-же темы*.

* * *

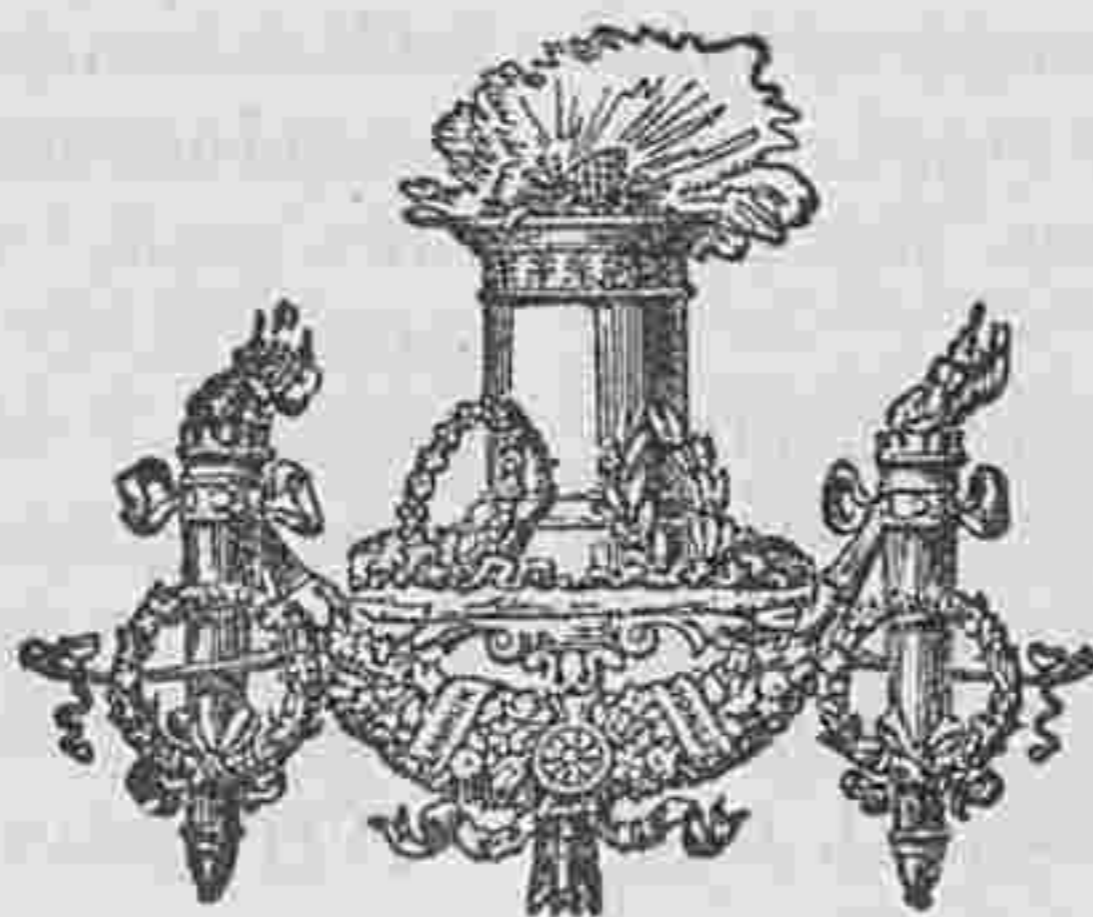
Мы вносимъ трупъ въ храмъ. Можно и это. Мы воскуряемъ передъ нимъ фиміамъ, окружаемъ его свѣчами. Невозможно отрицать, что мы ему немножко поклоняемся, лобзаемъ его „послѣднимъ цѣлованіемъ“ и во всякомъ случаѣ считаемъ святымъ и чистымъ. Гадокъ-ли трупъ?—Фу, что за кощунство: конечно, нѣтъ! скорѣе святъ, „божокъ!!“. А младенецъ? „Вотъ вопросъ, конечно—тоже чистъ“. Но можно-ли передъ младенцемъ, въ люлькѣ, зажечь свѣчи, и положи ладонъ въ курильницу, обходить его вокругъ и пѣть... конечно, не „со святыми упокой“, но другое, обратное, и соответствующее? „Какая идея, къ чему это“! Но вѣдь и трупу не болѣе нужны, чѣмъ ребенку, свѣчи и фиміамъ? Конечно—все не нужно, но мы выражаемъ идею и свое чувство. „Нѣтъ, невозможно! Передъ

младенцемъ, въ люлькѣ, свѣчи и фиміамъ? Не могу себѣ представить“. Но отчего? И неужели въ самомъ дѣлѣ трупъ, тѣло бездыханное, не только не физиологія, но низшее и худшее, и слабѣйшее, чѣмъ она, именно „то крайнее зло, которое мы называемъ смертью“ (опредѣленіе Вл. Соловьева)—передъ нами, и мы-же вѣдь жжемъ и фиміамъ, и свѣчи передъ этимъ „крайнимъ зломъ“?—„Это не передъ нимъ, это передъ воспоминаніемъ“.—„Зажгите и свѣчи передъ младенцемъ въ символъ ожиданія. Да и неправда, что вы вспоминаете только около трупа: вы именно курите ему фиміамъ, ибо вспоминать могли-бы и запершись въ кабинетѣ“. Нѣтъ, это—религія, другая, новая. Но если возможна она и стало можно поклониться „крайнему злу“, смерти, то почему нельзя было поклониться и крайнему благу, жизни и жизне-даянію? Тогда... „боги“ и „демоны“ переѣстились взаимно. Что называлось „демономъ“—стало „богомъ“, а что было „богомъ“—стало „демономъ“. „Древніе не совсѣмъ пустотѣ поклонялись—они поклонялись демонамъ“ говорила въ началѣ новой эры другая половина апологетовъ, не остановившаяся на словахъ, что „миѳы—сказки, а боговъ—не было“.

„Демону“ поклонился и Вл. Соловьевъ въ „Розовой тѣни“, а евреи ему кланяются въ „царицѣ субботѣ“; Лермонтовъ его-же вспомнилъ, не давъ никакого имени. „Не старайтесь: храмъ Сераписа невозможно разрушить; если онъ упадетъ—міръ не устоитъ“, говорили жрецы какого-то египетскаго храма, когда стѣны его тряслись подъ таранами римлянъ-христіанъ. Стѣны дрожали, пали, забыты. Но около нихъ росли пальмы. Въ каждомъ ихъ листочкѣ былъ „сераписъ“; а въ пальмѣ, въ рошѣ, въ звѣздѣ, въ римлянинѣ-воинѣ и въ египтянинѣ-жрецѣ былъ Сераписъ. „Сего нельзя разрушить: если это разрушить—міръ упадетъ“.

— Тутъ въ самомъ дѣлѣ есть какая-то истина. *Generatio equivoca*, „самопроизвольное зарожденіе“ — отвергнуто. Цѣльнеръ въ отчаяніи сознался, что единственная возможность объяснить органическую жизнь на землѣ заключается въ предположеніи, что когда-нибудь первая живая клѣточка упала на землю съ метеоромъ, т. е. упала изъ живого-же другого міра. Капля за каплей, со звѣзды на звѣзду, но гдѣ-же первое, Кто первый? Такъ, многодумно покачавъ головой, могъ-бы дать свое гешшѣ этимъ мыслямъ Страховъ.

В. Розановъ.



Художественная Хроника

КРАСОТА ПЕТЕРБУРГА.

Въ № 9538 „Новаго Времени“ появился „маленькій фельетонъ“ одного изъ эстетовъ этой газеты, скромно скрывающагося подъ инициалами А и О. Эта замѣтка любопытна въ двоякомъ отношеніи: во-первыхъ, какъ свидѣтельство просыпающагося въ нашемъ обществѣ интереса къ Петербургу (очевидно, это пробужденіе вызвано приближающимся юбилеемъ города), во-вторыхъ, какъ лишнее доказательство замѣчательнаго невѣжества „самой распространенной газеты“ и ея сотрудниковъ въ художественныхъ вопросахъ. Можно поздравить „Новое Время“ съ успѣхами, сдѣланными имъ на пути художественной критики. Дѣйствительно, послѣ добродушнаго и милѣйшаго, но слишкомъ наивнаго г. Кравченки, послѣ разносторонняго, расторопнаго, но слишкомъ грубоватаго г. Стороняго, г. Суворину необходимо было поручить художественную критику человѣку положительному, спокойному, авторитетному, но, разумѣется, неслишкомъ знающему, дабы не дѣлать диссонанса съ общимъ тономъ и стилемъ уважаемой газеты.

Господинъ А. О. какъ будто внялъ нашимъ мольбамъ о пощадѣ Петербурга и также выступилъ въ защиту красоты Сѣверной Пальмиры. Но отъ такой защиты врядъ-ли поздоровится несчастному городу. Г-нъ А. О. сочи-

нилъ цѣлую теорію окраски зданій, которую онъ и развиваетъ въ означенномъ фельетонѣ. Что говорить, трудно найти городъ, менѣе понимающій красоту окраски, нежели Петербургъ. Людямъ, мало-мальски чуткимъ къ красотѣ, достаточно мозолятъ глаза тѣ дикія краски, въ которыя выкрашены дома и церкви столичнаго города. Въ немъ попадаются изумительныя колористическія комбинаціи, объяснимыя лишь дальтонизмомъ гг. маляровъ или домовладѣльцевъ. Что сказать, напр., о такой комбинаціи красокъ какъ черно-зеленый фонъ и мѣдно-красные прилѣпы (на Казанской ул.), или темно-синій (*настоящая* синька) фонъ, розово-оранжевыя украшенія и сѣрая въ шашку крыша (на Екатерингофскомъ пр.), или еще, темно-синій фонъ и на немъ шоколадные орнаменты (на Екатерининскомъ каналѣ) и т. д. и т. д. Хороши также болѣе однообразныя, но прямо геніальныя по своей мертвящей сукъ окраски. Можно положительно помѣшаться, живя напротивъ дома, окрашеннаго въ одинъ изъ нашихъ излюбленныхъ колеровъ: темно-шоколадный, просто черный, грязно-голубой или ярко-малиновый!

Однако, быть можетъ, вы думаете, что г. А. О. возстаетъ противъ этихъ изощреній петербургскаго вкуса, вы думаете, пожалуй, что

онъ громить только что оконченную нелѣпую окраску „Новой Голландіи“¹⁾, обезобразившую этотъ романтичскій и поэтичннй уголокъ Петербурга? Ничуть! Г-нъ А. О. возстаеъ какъ разъ противъ того, что у насъ есть самаго милаго, самаго характернаго, а попутно защищаетъ и хвалитъ самые яркіе спесименты нашего безобразія.

Исходнымъ пунктомъ г. А. О. беретъ новый домъ Московскаго банка на Невскомъ, украшенный нѣскольکو пестрыми, но далеко не кричащими маіоликамаи²⁾, и видитъ въ окраскѣ этого дома доказательство, что у насъ любятъ пустить тонъ „повеселѣ“. Г-нъ А. О., повторяемъ, развиваетъ при этомъ цѣлую теорію окраски зданій и подкрѣпляетъ ее примѣрами „колористическихъ городовъ“ и ссылками на такой эстетическій авторитетъ, какъ Александръ Дюма „пэръ“. Стоить подробно разобратъ какъ самую теорію, такъ и примѣры почтеннаго фельетониста, дабы правильно классифицировать этотъ продуктъ нашей безпардонной провинціальщины.

Главный его тезисъ заключается въ отрицательномъ заявленіи: „Очень неправильно думать, будто колоритъ долженъ противодѣйствовать освѣщенію и слѣдовательно свѣтлые тона должны преобладать въ сумрачномъ воздухѣ, а темные подъ сильнымъ солнечнымъ освѣщеніемъ. *Наша излюбленная желтая, вообще свѣтлая окраска домовъ рѣшительно портитъ видъ города. Яркія краски требуютъ сильныхъ ударовъ свѣта*“. Очевидно г. А. О., какъ истому петербуржцу (быть можетъ домовладѣльцу), по душѣ вышеупомянутыя шеколадныя, черныя и вообще мрачныя краски, встрѣчающіяся только въ Петербургѣ. Очевидно г. А. О., какъ истому петербуржцу ненавистны краски Москвы и другихъ русскихъ городовъ, такъ изумительно красиво разцвѣ-

ченныхъ самыми пестрыми (правда, гармонично подобранными) тонами. „Яркія краски требуютъ сильныхъ ударовъ свѣта. Весь югъ и востокъ хорошо это знаютъ, и потому тамъ преобладаютъ *пестрые*, чистыхъ тоновъ наряды, бѣлыя стѣны домовъ, свѣтлые мраморы“. Отсюда явствуеъ, что господину А. О. неизвѣстны дивные пестрые наряды нашихъ сѣверныхъ губерній, не менѣе пестрые наряды Швеціи и Норвегіи, классическіе пестрые шотландскіе пледы и яркія краски сѣвернаго Китая. Изъ этого также явствуеъ, что г. А. О. никогда не видалъ, даже на картинахъ, видовъ Испаніи, гдѣ почти всѣ зданія построены изъ темно-сѣраго и бураго камня, который какъ разъ превосходно гармонируетъ съ яркимъ солнцемъ и яркимъ небомъ; не видалъ и чуднаго мрачнаго колорита Генуи, Флоренціи, Сіены, огромнаго большинства итальянскихъ городовъ, а также сѣрыхъ, далеко не яркихъ, но безумно красивыхъ тоновъ, въ которыхъ выдержаны большинство индійскихъ построекъ, не покрытыхъ пестрой поливой изразцовъ. У г. А. О. впрочемъ имѣется рядъ примѣровъ, какъ будто подтверждающихъ его теорію. По его мнѣнію, „въ Голландіи, Англіи, сѣверной Германіи, въ скандинавскихъ странахъ, гдѣ небо часто хмурится и воздухъ насыщенъ влажностью, народные цвѣта держатся темносѣрыхъ, синихъ, вообще теплыхъ тоновъ“. Не настаивая на очевидномъ *lapsus calami*, приравниваемъ синій тонъ къ теплымъ, отмѣтимъ свободное и легкомысленное фантазированіе г. А. О., совершенно игнорирующаго, что вся Голландія, Данія, сѣверъ Германіи и часть Англіи выстроены изъ ярко-краснаго кирпича, иногда съ весьма пестрыми крышами, что въ Норвегіи и Швеціи крестьянскіе домики красятся въ ярко-красный и въ ярко-желтый цвѣтъ (и этимъ какъ разъ такъ прекрасно пользуются скандинавскіе живописцы для своихъ въ высшей степени колоритныхъ эффектовъ). Наконецъ эти слова безусловно доказываютъ, что г. А. О. съ удовольствіемъ вымазалъ-бы въ „темно-сѣрый, синій, вообще, теплый тонъ“ весь Кремль, всю Москву, Ярославль, Ростовъ, Суздаль, всю Россію.

Самый очаровательный примѣръ смѣлаго

¹⁾ Самое любопытное и окончательно непростительное въ этой окраскѣ то, что краской замазаны и каменные детали зданія, напр., капители колоннъ!

²⁾ Хорошіи примѣры нелѣпаго подражанія безвкусицѣ Берлина (гдѣ дома, кстати сказать, вовсе не выдержаны въ томъ темно-синемъ тонѣ, о которомъ говоритъ А. О.) являютъ собою уродливыя мозаики на „декадентскомъ“ фасадѣ дома на Большой Морской.

писанія г. А. О. представляет слѣдующій пассажъ, приводимый нами въ назиданіе читателю in extenso:

„Напрасно думаютъ (?!), будто окраска вещь второстепенная. Напротивъ, для общаго впечатлѣнія она почти также важна, какъ и самая линія (грандіозное открытіе!). Колоритъ въ красотѣ города—то-же, что и въ красотѣ картины. Есть города, удивительные по своему колориту. Какимъ-то инстинктомъ цѣлаго ряда поколѣній, цѣлыхъ вѣковъ исторической жизни вырабатывается своя собственная гармонія красокъ. Кто создалъ, напримѣръ, колоритъ Венеціи, тотъ особый тонъ стараго позеленѣвшаго мрамора, изумительно отражающійся въ зеленоватой водѣ каналовъ“.—Спѣшимъ отвѣтить почтенному г. А. О. на озадачившій его вопросъ. Тонъ позеленѣвшаго мрамора, изумительно отражающійся въ водѣ каналовъ, создалъ самъ Господь Богъ и уже во всякомъ случаѣ не такіе эстеты, какъ г. А. О.

„Петербургъ—очень плохой колористъ“—говоритъ г. А. О. и правда-же мало надежды, чтобъ этотъ колоритъ сталъ лучше, если раскраской домовъ будетъ руководить почтенная газета г. Суворина и ея не менѣе почтенные сотрудники. „Онъ (Петербургъ) избралъ какую-то грязно-желтую архитектуру, возмутительно прорѣзываемую бѣлыми бликами. У Петербурга нѣтъ чувства красокъ“. У кого его дѣйствительно нѣтъ, такъ это у г. А. О., несмотря на всю его энциклопедическую осведомленность. Не шоколадные тоны, не окраска Новой Голландіи, не безобразные (потому что смягченные въ проектѣ согласно академическому рецепту) изразцы, украшающіе наши новыя, яко-бы въ русскомъ стилѣ построенныя церкви, возмущаютъ г. А. О., а возмущаетъ его то, что у насъ есть дѣйствительно Петербургскаго—нашу милую, любимую нашими дѣдами, а нынѣ несправедливо презираемую охру. Г-нъ А. О. очевидно не знаетъ, что въ ненавистный ему „грязно-желтый цвѣтъ съ бѣлыми бликами“ въ свое время выкрашенъ былъ превозносимый имъ за его нынѣшнюю окраску Зимній Дворецъ! Очевидно г. А. О. никогда не любовался другимъ шедевромъ Растрелли: Петергофскимъ дворцомъ, такъ

удачно окрашеннымъ въ охру съ бѣлыми бликами. Когда-то этотъ дворецъ былъ окрашенъ въ зеленый съ бѣлымъ цвѣтъ, но врядъ-ли ему это было болѣе къ лицу, нежели возмущающая г. А. О. охра, такъ прекрасно гармонирующая съ золотомъ куполовъ, съ зеленою липъ и елей, съ голубоватыми струями фонтановъ, и „такъ изумительно отражающаяся въ водѣ“ прудовъ Верхняго сада. А Ораніенбаумскій дворецъ? Хотѣлъ было назвать еще и еще примѣры, но вспомнилъ, что за послѣднее время почти все зданія, отличавшіяся когда-то этой характерной окраской, удивительно подходящей къ нашимъ сѣвернымъ тучамъ, къ нашимъ „бѣлымъ ночамъ“ и къ нашимъ двумъ преобладающимъ типамъ архитектуры (гососо и empire)—за послѣднія 5—10 лѣтъ перекрашены, очевидно по настоянію какихъ нибудь А. или О.,—въ шоколадъ, кофе, малину, или просто грязь.

Кульминаціонный пунктъ... апломба достигаетъ г. А. О., касаясь Александринскаго театра. „Вмѣстѣ съ стоящими сзади него казенными зданіями онъ представляетъ ¹⁾ теперь со своими желтыми стѣнами и бѣлыми колоннами нѣчто весьма безкусное, дѣтски наивное, казенное въ томъ невыгодномъ смыслѣ, какой получило это слово благодаря такъ называемому арапчеевскому стилю 20-хъ и 30-хъ годовъ. А между тѣмъ архитектура этихъ зданій *вовсе не плоха* въ смыслѣ чистоты и удачнаго соединенія линій. При самыхъ *небольшихъ поправкахъ*“ „изъ Александринскаго театра *можно было-бы сдѣлать нѣчто совсѣмъ красивое*“. Дай Боже, чтобъ эти строки не воодушевили какого-нибудь архитектора посягнуть на шедевръ Росси и превратить этотъ шедевръ посредствомъ „небольшихъ поправокъ“ въ то архитектурное безобразіе, въ которое превращены уже лучшія зданія empire въ Петербургѣ: училище Правовѣдѣнія, Технологическій институтъ, Большой театръ, огромная масса частныхъ домовъ. Знаете-ли вы, г. А. О., что зданіе, о которомъ вы такъ пренебрежительно говорите, будутъ со временемъ изу-

¹⁾ Курсивъ вездѣ мой. А. Б.

чать, промѣрять точь въ точь такъ-же, какъ это дѣлается съ западными памятниками, пріобрѣвшими отъ времени патентъ на классичность. Замѣтите себѣ, что, если къ тому времени кто-либо посягнетъ на тотъ прекрасный ensemble, который получился отъ сопоставленія такихъ великолѣпныхъ сооружений, какъ самый театръ, казенныя зданія позади него, справа—Публичная библіотека, слѣва—павильончики empire Аничковскаго дворца, если кто-либо дерзнетъ сдѣлать „небольшую поправку“ въ этой грандіозной и изящной картинѣ, въ которой каждая деталь и даже возмущающая васъ окраска ¹⁾ продуманы и прочувствованы,—то моральная отвѣтственность за такой вандализмъ отчасти падетъ и на васъ, выступившаго въ „самой распространенной газетѣ“ съ подобнымъ предложеніемъ!

Но довольно о г. А. О. Правда, что г. А. О. не одинъ, это коллективное лицо. Точь въ точь такъ-же, какъ г. А. О., думаютъ и видятъ всѣ наши домовладѣльцы, наша полиція, все городское управленіе, словомъ, почти весь „почтенный“ Петербургъ; противоположнаго-же мнѣнія держится лишь маленькій кланъ презираемыхъ „декадентовъ“, по мнѣнію господъ А. О. или ничего въ искусствѣ не понимающихъ, или обладающихъ извращеннымъ вкусомъ. Правда, это такъ, но все равно нытьемъ, усовѣщеваніемъ, бранью, высмѣиваніемъ, даже мольбами ничего не достигнешь, такъ какъ толщина кожи этихъ господъ препятствуетъ какому либо воздѣйствію на ихъ чувства. У „Міра Искусства“ на этотъ счетъ имѣется уже достаточно долгій опытъ. Поэтому оставимъ въ сторонѣ г. А. О., личнаго и коллективнаго, и въ заключеніе сдѣлаемъ бѣглую ревизію того, что произошло за послѣднее время съ Петербургомъ.

Минусъ за послѣдніе годы огромный.

¹⁾ Не временемъ Аракчеева слѣдуетъ называть петербургское искусство начала XIX в., а временемъ Росси. При Росси какъ самый театръ, такъ и библіотека, и павильоны были выкрашены охрой съ бѣлыми орнаментами и колоннами. Этимъ подчеркивался общій всѣмъ этимъ постройкамъ Росси характеръ.

Не останавливаясь на подробностяхъ, отмѣтимъ, во первыхъ, вандализмы, т. е. замѣну хорошихъ старыхъ построекъ—дурными. На углу большой Морской и Почтамтской погибъ очаровательный особнячекъ, въ которомъ когда-то жилъ Карамзинъ, и на мѣстѣ его „взошелъ“ какой-то возмутительный пирогъ самой „гражданской архитектуры“. На Офицерской исчезъ прелестный домикъ empire и на мѣстѣ его выросла нелѣпая кикимора, имѣющая претензію на готику. Исчезли очаровательные дома Александровскаго и Екатерининскаго времени на большой Конюшенной, на Гороховой (у Семеновскаго моста), на Сергѣевской, на Фурштадской, на Васильевскомъ островѣ.

Простительно и вполне естественно самое исканіе доходовъ и связанная съ нимъ перестройка домовъ, но непростительно, что дома при этомъ уродуются. Въ большинствѣ случаевъ вполне возможно сохраненіе стараго типа и въ тоже время увеличеніе, надстройка дома. Къ сожалѣнію, наши архитекторы держатся мнѣнія г. А. О. объ аракчеевскомъ стилѣ и предпочитаютъ ему жалкія пародіи на deutsche Renaissance, на французскій рококо, на готику (домъ Фаберже) или—о ужасъ!—за послѣднее время на нелѣпо понятый style moderne (домъ, бывший Половцова, рядомъ съ домомъ кн. Гагарина на большой Морской).

Всего обиднѣе, когда старые дома, отличавшіеся скромными и грандіозными фасадами, только переоблицовываются изъ соображеній ложно понятаго изящества (какъ, напр., милый, истинно барскій домикъ гр. Мордвиновой на улицѣ Глинки). Уходятъ, уходятъ старые домики съ ихъ благородными пропорціями, скромными, но тонкими и изящными украшениями, съ ихъ барскимъ видомъ, и на ихъ мѣстѣ появляются какіе-то шуты гороховые, навьюченные огромнымъ количествомъ дешевыхъ и пошлыхъ гипсовыхъ орнаментовъ. Какъ все это досадно! Вѣдь отъ той лихорадочной строительной дѣятельности, которая теперь замѣчается въ Петербургѣ, городъ могъ-бы только выиграть. Огромные дома не безусловно уродливы. Нѣ-

которыя части Парижа какъ разъ красивы своими шестьюэтажными maisons de rapport. Лондонъ, Нью-Йоркъ, Бостонъ, за послѣднее время Мюнхенъ, а также нашъ Гельсингфорсъ изъ году въ годъ хорошѣютъ, благодаря воздвигающимся въ нихъ колоссальнымъ, но превосходнымъ постройкамъ. Не то въ Петербургѣ. За немногими (до смѣшного немногими) исключеніями этотъ несчастный городъ только уродуется и именно *уродуется*, т. к. только то, что въ немъ стараго, то хорошо. Петербургъ временъ Елизаветы, Екатерины и Александра I былъ красивъ и благороденъ, а то, что теперь въ немъ строятъ—только безобразно, нелѣпо и пошло.

Перечисленіемъ этихъ немногихъ (до смѣшного немногихъ) исключеній мы и кончимъ свою замѣтку. На первомъ мѣстѣ стоитъ прекрасный огромный доходный домъ, построенный на углу Александровскаго и Кронверкскаго проспектовъ, далѣе идутъ: красивый домъ № 9 въ Максимилиановскомъ пер. и довольно изящный фасадъ одного изъ домовъ на Мѣщанской. Благороднымъ своимъ видомъ отличается домъ 1-го страхового общества на Большой Морской и большими достоинствами, за исключеніемъ не удавшегося верха (въ особенности крыши и некрасивой вывѣски надъ ней), обладаетъ домъ Московскаго Банка на Невскомъ, съ котораго началъ свою замѣтку г. А. О. Съ натяжкой можно еще упомянуть приличный фасадъ Реформатской школы на Мойкѣ, нѣсколько юношеское произведеніе архитектора А. Барышникова на Николаевской (домъ Барышникова) и, по крайней мѣрѣ, очень порядочно построенный домъ г. Лемана на Звенигородской... Хотѣлось-бы назвать еще что либо, такъ какъ названныхъ примѣровъ слишкомъ мало даже для „исключеній“, но, къ сожалѣнію, это рѣшительно все, чѣмъ мы можемъ похвастать.

Александръ Бенуа.

ПО ЕВРОПѢ.

Письма о современномъ искусствѣ.

V.

Отчего Мюнхенъ палъ? Отсутствие потребности въ искусствѣ. Судьба Vereinigte Werkstatt. Отношеніе города къ искусству. Kunstverein. Ленбахъ и Зейдль. Patinage и Galerieton. Молодежь. „Phalanx“, „Simplicissimus“ и „Jugend“.

Годъ тому назадъ въ берлинской газетѣ „Der Tag“ появилась статья, вспокоившая весь художественный міръ Мюнхена. Ея содержаніе вылилось цѣликомъ уже въ одномъ ея зловѣщемъ заголовкѣ: „Паденіе Мюнхена, какъ художественнаго города“. Всѣмъ стало ясно, что за спиной ея автора, извѣстнаго Розенгагена, стояли молодые берлинцы съ Либерманомъ во главѣ. Еще пять лѣтъ тому назадъ это было совершенно немыслимо. Въ Берлинѣ тогда и въ голову никому не приходило тягаться съ Мюнхеномъ, первенство котораго, казалось, было внѣ сомнѣній. Съ тѣхъ поръ обстоятельства измѣнились и Берлинъ успѣлъ завести свой собственный Сецессионъ, оказавшійся несравненно болѣе передовымъ, терпимымъ и свѣжимъ, нежели Сецессионъ Мюнхена. Этотъ послѣдній съ 96-го года какъ-то застылъ и потомъ медленно пошелъ подъ гору. Главари его, одни за обильные правительственные заказы, другіе за ордена, а иные и за три маленькія буквы, поставленные передъ ихъ именами: von, — продали себя со всѣмъ своимъ искусствомъ. Незамѣтно исчезъ его первоначальный специфическій оттѣнокъ и онъ превратился въ Glaspalast, только меньшихъ размѣровъ.

Статья Розенгагена была первымъ вызовомъ окрѣпшаго Берлина дряхлѣющему Мюнхену. Она вызвала безконечную газетную полемику между обоими городами, принимавшую временами довольно острый характеръ. Розенгагенъ счелъ нужнымъ печатно повиниться передъ мюнхенцами: die Sache war nicht so gemeint. Однако въ Мюнхенѣ, несмотря на всѣ протесты, поняли, что у нихъ не всё ладно. Стали предлагать всевозможныя мѣры къ поднятію пошатнувшася престижа, но оказалось уже поздно. Само собою

разумѣтся, что причины, способствовавшія нынѣшнему паденію Мюнхена, приходится искать не въ одномъ Сецессионѣ; кто по долгу жываль въ Мюнхенѣ, тотъ знаетъ, что и помимо Сецессиона далеко не все обстоитъ здѣсь благополучно.

Прежде всего, какъ это ни покажется страннымъ, искусство въ Мюнхенѣ — явленіе совершенно случайное. Оно вызвано было къ жизни волей, а можетъ быть и капризомъ Людовика I-го. Никакой потребности въ немъ его добродушные граждане никогда не чувствовали, какъ не чувствуютъ и теперь. Мюнхенецъ никакъ не обойдется безъ Hofbräuhaus'a, Löwenbräu, но совершенно равнодушенъ къ тому, есть-ли въ городѣ искусство, или его вовсе нѣтъ. До какой степени онъ къ этому равнодушенъ, можно видѣть на зимнихъ выставкахъ: онѣ всегда пусты и если въ день на нихъ перебивается двадцать человѣкъ, то это уже нѣкоторый успѣхъ. Унылѣе зимней или весенней выставки въ Мюнхенѣ трудно себѣ что нибудь представить. Зато на лѣтнихъ выставкахъ всегда полно; но здѣсь вы ни за что не услышите мюнхенскаго говора,—это все или иностранцы, или пріѣзжіе изъ сѣверной Германіи. Есть еще одинъ показатель этого равнодушія: мюнхенецъ упорно не покупаетъ произведеній искусства. Если-бы государство не пріобрѣтало по нѣскольку картинъ въ годъ и не переселился-бы въ Мюнхенъ съ сѣвера графъ Шакъ, то этотъ удивительный городъ не имѣлъ-бы ни общественнаго, ни частнаго собранія произведеній современнаго искусства.

Коллекціонеровъ въ Мюнхенѣ нѣтъ. Единственный человѣкъ, одно время кое-что собиравшій, извѣстный Гиртъ—тоже пріѣзжій съ сѣвера.

Въ Мюнхенѣ, благодаря нѣсколькимъ энергичнымъ сѣверянамъ и главнымъ образомъ Обристу, переселившемуся сюда уже лѣтъ десять тому назадъ, возникло общество для поднятія художественной промышленности,—„Vereinigte Werkstätte“. Общество, просуществовавъ съ грѣхомъ пополамъ нѣсколько лѣтъ, доживаетъ теперь свои послѣдніе дни Обристъ, ежегодно въ рядѣ публичныхъ лек-

цій съ изумительнымъ терпѣніемъ, но совершенно безнадежно взывающій къ эстетическому чутью своихъ согражданъ, говорилъ мнѣ, что за все время своего существованія, „Vereinigte Werkstätte“ не получили въ Мюнхенѣ ни одного заказа и жили исключительно заказами изъ сѣверной Германіи, Италиі, Австріи, даже Румыніи и Болгаріи. И это, несмотря на то, что въ числѣ постоянныхъ работниковъ общества находятся такіе художники, какъ Риммершмидтъ, Бруно Пауль, Паннокъ, Отто Экманъ, Беренсъ и др. Ни государство, ни городъ этимъ не интересуются и, кажется, общество скоро переѣдетъ въ Штутгартъ, куда оно получило приглашеніе. Городъ вообще стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ искусства и въ этомъ отношеніи сильно отличается отъ Парижа, Берлина, Вѣны и большинства европейскихъ городовъ. Руку подать ему можетъ развѣ одинъ Петербургъ. Что касается государства, то если оно и покупаетъ изъ года въ годъ различныя выставочныя произведенія—художественными назвать ихъ большей частью можно только съ натяжкой. Если вы хотите весело провести время, сходите осенью въ Glaspalast и посмотрите только тѣ произведенія, подъ которыми висятъ билетки съ надписью: angekauft vom Bayerischen Staate. Это позорное клеймо только въ силу непонятной случайности подвѣшивается разъ въ четыре года къ какой-нибудь хорошей вещи. Беклинъ его очень удачно избѣгалъ, и если-бы не досталась по какому-то наслѣдству Пинакотекѣ знаменитая „Im Spiel der Wellen“, то такъ-бы и не было въ собраніи хорошаго Беклина.

Къ числу причинъ, мало способствующихъ процвѣтанію здѣсь искусства, надо отнести еще учрежденіе, которое по какому-то недоразумѣнію носитъ названіе Kunstverein. Каждую субботу здѣсь вывѣшивается на одну недѣлю весь тотъ возмутительный товаръ, который производится коллективнымъ мюнхенскимъ Kitschmaler'омъ, съ семидесятихъ годовъ побѣдоносно смѣнившимъ такого-же коллективнаго дюссельдорфскаго Kitschmaler'a. Другая половина выставочнаго помѣщенія занята акварелями, копіями съ

Мурильо на фарфорѣ и на другихъ принимающихъ краску поверхностяхъ, рисунками, „штудіями“ и композиціями дѣвицъ всѣхъ національностей, окончательно потерявшихъ надежду выйти замужъ и въ отчаяніи пустившихся въ живопись, а также и юношей, мужей и старцевъ, обратившихся къ искусству, какъ къ послѣднему средству существованія. Я сказалъ, что мюнхенцы не посѣщаютъ выставокъ; это не точно: залы счастливаго Kunstverein'a по воскресеньямъ биткомъ набиты публикой. Каждая выставившая дѣвица, по здѣшнему „Malweib“—всегда сумѣетъ привести съ дюжину, другую подругъ и родственниковъ, которые не прочь посмотрѣть, какъ она выставила.

Я сказалъ еще, что мюнхенцы не нуждаются въ искусствѣ и не имѣютъ дурной привычки пріобрѣтать картинъ. Это тоже не совсѣмъ точно: въ Kunstverein'ѣ по воскресеньямъ покупается съ десятокъ различныхъ вещей, по сравнительно недорогой цѣнѣ въ одну, полторы и даже иногда въ двѣ марки. Это все-же дешевле олеографіи „und doch ist es eine Handarbeit“.

Понятно, что существованіе въ городѣ учрежденія такого сорта не слишкомъ содѣйствуетъ развитію въ жителяхъ эстетическаго вкуса.

То обстоятельство, что дрянное искусство держитъ массу въ косности—давнымъ давно извѣстно и это въ порядкѣ вещей. Но въ Мюнхенѣ можно наблюдать въ послѣднее время явленіе, которое на первый взглядъ какъ будто не вяжется съ здравымъ смысломъ: вліяніе Kitschmalers'овъ—совсѣмъ невинно въ сравненіе съ безусловно пагубнымъ, развращающимъ вліяніемъ лучшихъ художниковъ Мюнхена—Ленбаха и архитектора Габриеля Зейдля. Эти два сильныхъ артиста, именно потому, что они такъ сильны, даютъ почти все свѣжее и молодое, что появляется въ Мюнхенѣ. И Ленбахъ, и Зейдль—типичные „патинисты“, архаики, старьевщики въ искусствѣ. Въ этомъ нѣтъ ничего дурного и на почвѣ ренессанса оба мастера создали много настоящихъ шедевровъ, одинъ въ пор-

тетѣ, другой въ архитектурѣ. Но оба они возвели патинажъ, поддѣльваніе старины, въ принципъ. Ленбахъ изо всѣхъ силъ старается поддѣлаться подъ венеціанца, чернить свой холстъ, добивается путемъ искусственно вызванныхъ трещинъ типичнаго ton doré, Gallepieton'a. Зейдль, въ своемъ Künstlerhaus'ѣ, богатомъ очаровательными деталями особаго чисто Зейдлевскаго пошиба, далъ волю этой страсти къ патинажу: здѣсь все гипсъ, но этотъ гипсъ съ изумительнымъ мастерствомъ затертъ подъ позеленѣвшую бронзу, подъ ржавое желѣзо, подъ тусклѣющее отъ старины золото и т. д. безъ конца. Оба они органически не перевариваютъ новаго искусства и стараются его давить гдѣ только можно. Они успѣли наложить желѣзную руку на мюнхенскую молодежь. Пройдитесь по мюнхенскимъ рисовальнымъ школамъ и вы увидите, какая масса юношей, иногда не безъ дарованія, теряетъ дорогое время на то, чтобы поддѣлать штрихъ Ленбаха, или его коричневый тонъ. Многіе это дѣлаютъ искренно, нисколько не думая при этомъ о Ленбахѣ,—до того принципъ патинажа успѣлъ уже войти въ кровь и плоть этихъ людей. Или пройдитесь по Сецессиону и Glaspalast'у и вы увидите, что дѣйствительно огромное большинство выставленныхъ здѣсь вещей залито какимъ-то коричневатымъ золотомъ. Любопытно, что даже появившаяся въ послѣдніе годы группа молодыхъ пленеристовъ, ищущая свѣта и питающая сильное пристрастіе къ синимъ и фіолетовымъ краскамъ, никакъ не можетъ отрѣшиться отъ этой коричневости и черноты. Я зналъ много талантливыхъ юношей въ Мюнхенѣ, которые отождествляли съ этой чернотой такія вещи какъ „благородство тона“, „аристократизмъ“, „красота“ и „grand art“. Все свѣтлое [имъ] казалось вульгарнымъ. Я глубоко убѣжденъ, что самъ Штукъ былъ бы совершенно инымъ, если-бы родился не въ Баваріи. Его вліяніе загубило десятки талантливыхъ людей и сколько ихъ еще обречено ему въ жертву.

Штукъ, тотъ самый задорный Штукъ, отъ котораго съ такой увѣренностью ожидали въ 80-хъ годахъ великихъ новыхъ словъ,—те-

перъ самый нетерпѣливый членъ Сецессіона, его главный рутинеръ.

Въ прошломъ году основалось здѣсь новое общество „Phalanx“, задавшееся цѣлью устраивать выставки, при чемъ каждую выставку предполагалось посвящать одному художнику. На приглашеніе комитета откликнулось много интересныхъ художниковъ, между прочимъ сецессионистъ *Дилль*. Его товарищи, по настоянію Штука, поставили ему альтернативу: или выставлятъ только въ Сецессіонѣ, или выходить изъ его членовъ. Штукъ провелъ наконецъ въ собраніи членовъ новый параграфъ, запрещающій членамъ Сецессіона принимать участіе на какой-либо другой выставкѣ Мюнхена. Мало того, извѣстному издателю Кнорру, поддерживавшему матеріально новое общество, комитетъ Сецессіона далъ знать, что если онъ будетъ поддерживать „Phalanx“, то его придется исключить изъ числа почетныхъ членовъ Сецессіона. Въ этомъ-же родѣ дѣйствовали всѣ группы Glaspalast'a.

Мнѣ удалось видѣть только одну выставку „Phalanx“, очень, правда, неудачную: нѣсколько плохихъ этюдовъ и набросковъ довольно бездарнаго *Трюбнера*, изъ котораго въ Берлинѣ хотятъ сдѣлать втораго Лейбля и отвратительную коллекцію картинъ ничтожнѣйшаго берлинца *Коринта*, по какому-то недоразумѣнію играющаго въ Берлинѣ большую роль. Послѣ этой выставки здѣсь ожидаются произведенія *Галлена*, кромѣ того намѣчено еще нѣсколько хорошихъ мастеровъ. Надо еще удивляться энергіи и терпѣнью маленькой группы художниковъ, двинувшихся этой „фалангой“ на страшнаго, не брезгающаго никакими средствами врага. Изъ числа этихъ художниковъ есть двое русскихъ: *Кандинскій*, избранный недавно президентомъ, и *Зальцманъ*.

Совершенно особнякомъ держитъ себя группа талантливыхъ рисовальщиковъ знаменитаго *Simplicissimus'a*, лучшаго художественнаго листка Европы. Имѣя въ своемъ распоряженіи изданіе, эти художники не связаны никакими выставками и въ нихъ совершенно не нуждаются. Между тѣмъ отдѣль-

ные рисунки такихъ блестящихъ мастеровъ какъ *Тени* (Thöny), *Вильке*, *Пауль*, *Шульцъ* и въ особенности *Гейне* въ художественномъ отношеніи стоятъ нерѣдко всего того хлама, которымъ заполняются изъ года въ годъ громадныя залы Glaspalast'a, а пожалуй и Сецессіона.

Къ нимъ надо отнести еще *Дица*, работающаго въ другомъ мюнхенскомъ изданіи „Jugend“ и пожалуй *Янка*. Остальные рисовальщики этого журнала, — *Георги*, *Эйхлеръ*, *Эрлеръ*, *Фельдбауеръ* и др. соединились въ особое общество, „Scholle“, о которомъ мнѣ уже приходилось не разъ говорить.

Если-бы не эти рисовальщики, сплотившіеся вокругъ двухъ журналовъ, то можно было-бы сказать, что Францъ Штукъ былъ послѣднимъ прощальнымъ словомъ, сказаннымъ Мюнхеномъ. Что самъ Штукъ свое послѣднее слово давно уже сказалъ, въ этомъ, кажется, уже никто въ Мюнхенѣ теперь не сомнѣвается.

Я долго жилъ въ Мюнхенѣ, полюбилъ его, вынесъ отсюда милѣйшія воспоминанія и мнѣ грустно думать, что этотъ прелестный городокъ, съ очаровательными окрестностями, съ когда-то бодрой художественной жизнью, можетъ быть, постигнетъ участь забытаго всѣми Дюссельдорфа. Неужели онъ близится къ ней?

Мюнхенъ.

Игорь Грабаръ.

СУЗДАЛЬСКІЯ ТРАДИЦІИ.

Послѣдній съѣздъ благочинныхъ московской епархіи открываетъ поразительныя вещи въ области русскаго религіознаго искусства.

На съѣздѣ поднятъ былъ вопросъ объ иконописной школѣ, находящейся въ Троицко-Сергіевой лаврѣ, близъ Москвы.

Оказывается, что эта, состоящая подъ покровительствомъ почитателей обители, духовная академія художествъ до сихъ поръ замѣняла пріютъ-богадѣльню для горькихъ неудачниковъ духовнаго сословія.

Въ иконописную школу лавры „до сихъ поръ“ поступали дѣти духовенства, мало

уси́вающія въ учебныхъ заведеніяхъ, получая такимъ образомъ возможность имѣть самостоятельный заработокъ.

Не будемъ входить въ вопросъ, всегда ли малоуспѣвающіе, съ оффиціальной точки зрѣнія, ученики суть и малоспособные. Для насъ въ данномъ случаѣ важенъ и выразителенъ общій принципъ.

А принципъ этотъ гласитъ: не хочешь или не можешь учиться, такъ ступай въ художники; нуженъ-же и тебѣ „заработокъ“!

Въ такихъ-же случаяхъ и столь-же превратно дѣти свѣтскихъ сословій идутъ, если не въ юнкера, такъ въ актеры и дѣлаютъ изъ нашей сцены полудикую сцену, по выраженію Майкова.

При экономическомъ взглядѣ на искусство неудивительно нисколько, почему въ нашемъ иконописаніи дѣйствуетъ больше маляровъ, чѣмъ мастеровъ, почему и дѣйствительно мастерскія созданія старой кисти современные реставраторы обезображиваютъ злодѣйски, безъ пониманія, безъ вкуса, безъ чувства художественной мѣры и красоты.

Мы собираемъ, что посѣяли. Среди больныхъ плевеловъ не выколосится ни одного здороваго колоса.

Мало того, Троицкая своеобразная академія такъ слабо преслѣдовала собственно художественныя задачи, что обильнѣйшій процентъ учениковъ ея становился на клирость, а не за мольбертъ. Званіе художника сводилось въ лаврской практикѣ къ званію псаломѣвца.

Съѣздъ московскихъ благочинныхъ созналъ, наконецъ, что дѣло неладно. Онъ высказался за передачу отнынѣ школы исключительно въ вѣдѣніе лавры, съ единственной задачей готовить хорошихъ иконописцевъ.

Хорошо, что иконописная школа перестанетъ быть исправительной колоніей для лѣнтяевъ и тушицъ. Но дурно, если благочестивые иноки внесутъ въ школу уроки аскетизма и односторонняго богомыслія, а не широкаго пониманія Божьей красоты.

Для того, чтобы Свято-Троицкая иконописная школа воспрянула къ жизни и пло-

дотворной дѣятельности, необходимо поставить ее подъ непосредственное наблюденіе художественно-образованныхъ знатоковъ дѣла.

Если таковыя найдутся въ самой лаврѣ—отлично.

Д. Шестаковъ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ВЪ МУЗЕѢ ДРЕВНОСТЕЙ И ИСКУССТВЪ ВЪ КІЕВѢ.

(Отвѣтъ читателямъ „Міра Искусства“).

На обращенные ко мнѣ запросы относительно свѣдѣній, сообщенныхъ г. Ст. Яремичемъ въ №№ 5—6 „Міръ Искусства“, объ художественной выставкѣ въ Кіевѣ, считаю необходимымъ представить нижеслѣдующія разъясненія:

1) Находившіяся на выставкѣ музея рѣзныя, барочныя статуи, изображавшія Богоматерь, святыхъ, ангеловъ и пр., принадлежатъ не музею, а частному лицу. Означенныя статуи составляли убранство одного польскаго костела въ юго-западномъ краѣ и представляютъ плохія копіи съ итальянскихъ образцовъ XVIII в.; мѣстной-ли онѣ работы, или привозныя, и откуда, неизвѣстно; во всякомъ случаѣ эти статуи не оригинальны, крайне грубой работы и не представляютъ ни художественнаго, ни историческаго интереса.

2) Портреты изъ Вишневецкаго замка, переданные музею Кіевской Городской Думой, представляютъ, большею частью, не оригиналы, а плохія старыя копіи; болѣе десятка лѣтъ эти портреты хранились на чердакахъ и засимъ поступили въ музей въ отчаянномъ видѣ. Реставрація портретовъ и картинъ изъ Вишневецкаго замка необходима, но требуетъ значительныхъ затратъ, которыхъ музей произвести нынѣ не можетъ;—въ ожиданіи этого администрація музея распорядилась пока исправить сломанные подрамки, подклеить порванныя и покоробившіяся полотна и фиксировать, насколько возможно, осыпавшіяся краски.

3) Ретушированныхъ портретовъ, работы И. Н. Крамского, о коихъ сообщаетъ г. Яремичъ, на выставкѣ музея не было ни одного. Находились на выставкѣ и имѣются понынѣ въ музей слѣдующія работы Крамского: 1) портретъ гр. Муравьева-Амурскаго, исполненный тушью, 2) два этюда мужскихъ головъ, и 3) этюды великорусскихъ типовъ, писанные масляными красками (см. каталогъ выставки № 10, 64 и 65). Всѣ эти произведенія отличной сохранности и не тронуты реставраціей.

4) „Бездарныя пародіи художника Котарбинскаго на Макарта“, усмотрѣнныя на выставкѣ музея г. Яремичемъ, въ дѣйствительности представляютъ не картины Котарбинскаго, а извѣстныя картины Ганса Макарта, изданныя въ его каталогѣ (Wien, 1885 г.) и прибрѣтенныя на посмертномъ аукціонѣ художника, — эти картины слѣдующія: „Brunhilde verkundet Siegfried den Tod“ (№ 15), „Loskaufung Frega's“ (№ 19) и „Das Liebesgeheimniss“ (№ 25). Изъ произведеній-же самого В. А. Котарбинскаго на выставкѣ находился всего одинъ эскизъ плафона, который, кажется, не могъ быть принятъ за работу Макарта (см. каталогъ выставки № 8).

5) Неправильно также сообщеніе г. Яремича и о томъ, что на выставкѣ въ музей „огромныя щиты съ рисунками двухъ Верещагинскихъ были смѣшаны съ дѣтской наивностью подъ общимъ именемъ“ и что тутъ (т. е. на щитахъ) находились „въ троичномъ единствѣ эскизы Верещагина-иконописца („Изведеніе ап. Петра изъ темницы“, „Крещеніе кievлянъ“ и др.) вмѣстѣ съ ташкентскими и кавказскими этюдами Верещагина-этнографа“. Объясняя настоящее сужденіе г. Яремича только его незнакомствомъ съ произведеніями обоихъ Верещагинскихъ, мы утверждаемъ, что всѣ этюды, выставленные на щитахъ музея, въ томъ числѣ и перечисленные г. Яремичемъ, принадлежали одному художнику, баталисту и этнографу В. В. Верещагину, и что между этюдами не было ни одинаго рисунка иконописца Верещагина. Выставка въ музей этюдовъ нашего знаменитаго художника В. В. Верещагина обнимала всѣ періоды его художественнаго развитія, начиная отъ времени

его пребыванія въ Академіи Художествъ, когда онъ рисовалъ композиціи на заданныя темы изъ священной исторіи и кончая послѣдними годами его творчества, когда онъ писалъ этюды для картинъ войны 1812 года. Добавимъ къ этому, для убѣжденія г. Яремича, что всѣ выставленные въ музей этюды были прибрѣтены отъ В. В. Верещагина непосредственно.

Ограничиваясь изложенными объясненіями относительно художественной выставки въ Кіевскомъ музеѣ, добавимъ, что обличенія г. Яремичемъ нашей „некультурности“ нашего „отношенія къ искусству, какъ спорту“, нашего „тщеславія“, и наконецъ, нашего „непониманія искусства“, — слѣдствіемъ чего и произошли усмотрѣнныя имъ упущенія на выставкѣ музея, — по мнѣнію нашему, сдѣланы г. Ст. Яремичемъ исключительно въ интересахъ правильной постановки дѣла въ Кіевскомъ музеѣ, и что съ этой стороны они заслуживаютъ вниманія лицъ и учреждений, довѣрившихъ намъ попеченіе объ Кіевскомъ музеѣ.

Предсѣдатель Правленія Кіевского Общества Древностей и Искусствъ Ханенко.

ОТВѢТЪ Г. ХАНЕНКО.

Заявленіе г. Ханенко о непригодности для музея статуй, составлявшихъ „убранство одного польскаго костела въ юго-западномъ краѣ“, крайне характерно и вполне подтверждаетъ справедливость высказаннаго мною въ замѣткѣ, по поводу Кіевской выставки, о печальномъ состояніи художественнаго отдѣла въ музеѣ древностей и искусствъ. Въ томъ, что статуи эти *мѣстной* работы не можетъ быть никакого сомнѣнія. Такого рода произведенія искусства были въ большомъ распространеніи не только среди католиковъ, но также и среди православныхъ. Немногочисленные остатки этого, нынѣ почти исчезнувшаго, искусства еще и до сихъ поръ встрѣчаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи. Могу указать для примѣра на статуи святителей въ Почаевской лаврѣ

рѣзныхъ ангеловъ въ Успенской церкви мѣстечка Ични (Черниговской губ.) и апостоловъ въ Роменскомъ соборѣ. Замѣчаніе г. Ханенко о неоригинальности и крайней грубости рѣзныхъ изображеній является, къ сожалѣнію, отголоскомъ ходячихъ мнѣній объ общей незначительности церковнаго искусства въ южной Руси XVII и XVIII ст. Правда, что народное искусство, носящее въ своихъ формахъ почти всегда слѣды нѣкоторой ремесленной угловатости, не укладывается въ рамки ходячихъ эстетическихъ понятій. Но тѣмъ не менѣе памятникамъ народнаго искусства должно быть отводимо самое видное мѣсто въ музеѣ, претендующемъ на наименованіе областного, потому что роль музея подобнаго типа вовсе не эстетическая, а, наоборотъ, исключительно консервативная. Въ музеѣ должно быть собираемо все то, что обречено на гибель, независимо отъ того, будетъ-ли это тонкое произведеніе искусства или-же грубое подобіе его. Поэтому эстетическія соображенія могутъ только вредить музейному дѣлу, а никакъ не способствовать его процвѣтанію. Какъ на образецъ истиннаго пониманія задачъ музейнаго дѣла можно указать на музей Церковно-Археологическаго Общества при Кіевской духовной академіи. Здѣсь каждому предмету дано соответствующее мѣсто—статуя изъ „польскаго католическаго костела“ находится рядомъ съ иконографическими памятниками православнаго храма, произведеніе Боровиковскаго—на ряду съ копіей мѣтнаго труженика съ стараго мастера. Только такимъ путемъ, путемъ научнаго безпристрастія и можно дать конкретное понятіе о состояніи уровня народнаго творчества, о степени его самобытности, а также зависимости его отъ постороннихъ вліяній. Возвращаясь къ выставленнымъ въ музеѣ для продажи статуямъ, еще разъ позволяю себѣ выразить сожалѣніе, что эти памятники мѣтнаго искусства не приобрѣтены музеемъ, тѣмъ болѣе, что въ декоративномъ отношеніи онѣ во всякомъ случаѣ неизмѣримо живописнѣе и интереснѣе дѣйствительно безобразныхъ, грязныхъ гипсовыхъ Аполлоновъ и Антиноевъ съ отбитыми носами

(„гипсы“ изъ упраздненной рисовальной школы), которые украшаютъ балюстраду главной внутренней лѣстницы музея.

„Эстетическая“ предвзятость сквозитъ также и въ оцѣнкѣ г-мъ Ханенко портретовъ Вишневецкаго замка. Эти „плохія старыя копіи“ ничто иное, какъ фамиліные портреты знаменитаго въ исторіи Руси и Польши рода князей Вишневецкихъ. И уже, хотя-бы по одному тому, что среди портретовъ имѣется превосходное современное изображеніе Дмитрія Самозванца, слѣдовало-бы отнестись къ этой серіи памятниковъ съ большимъ вниманіемъ и осторожностью. Во всякомъ случаѣ гораздо было-бы желательнѣе, что-бы „порванные и покоробившіяся полотна“ покоились до поры до времени на чердакахъ, нежели видѣть ихъ обезображенными музейной реставраціей.

Эпитетъ „ретушированныхъ“ приложенъ мною къ произведеніямъ Крамского, какъ выражающій вполнѣ ремесленно-фотографическую манеру этого художника. Нужно большее желаніе, во чтобы то ни стало, приписать мнѣ несуществующіе промахи, чтобы вывести отсюда заключеніе, будто я увѣряю, что произведенія Крамского, находившіяся на выставкѣ, испорчены реставраціей. Не менѣе страннымъ мнѣ кажется утвержденіе, будто я приписываю картины Макарта г. Котарбинскому. Присутствіе на выставкѣ произведеній Макарта (къ слову сказать, не однажды уже фигурировавшихъ на кіевскихъ выставкахъ) дало мнѣ лишь большее нравственное право назвать *произведенія*—плафонъ и *Цыганскій таборъ* (последнее изъ вещей, поступившихъ на выставку изъ Кіевской рисовальной школы)—г. Котарбинскаго пародіями на Макарта, какъ это и есть на самомъ дѣлѣ.

Единственно, въ чемъ я дѣйствительно допустилъ ошибку, такъ это въ томъ, что приписалъ Верещагину-иконописцу рисунки на религіозныя темы, принадлежащіе, какъ утверждаетъ г. Ханенко, Верещагину-этнографу. Впрочемъ, въ этомъ я особой бѣды не вижу, такъ какъ, благодаря моей ошибкѣ, обнаружены до сихъ поръ ни кѣмъ не отмѣченныя, не дюжинныя иконописныя способ-

ности знаменитаго баталиста, сближающія его съ Верещагинымъ-иконописцемъ.

Ст. Яремичъ.

РУССКІЙ ЭСТЕТИКЪ ВЪ ПАРИЖѢ.

У Чехова есть рассказъ, въ которомъ выведенъ, кажется, учитель географіи, „всегда говорящій только то, что всѣ давно знаютъ“. Такихъ „учителей географіи“ у насъ много, а еще больше имѣется у насъ публицистовъ, которые всю свою долгую жинь только и говорятъ и пишутъ то, что всѣ, кромѣ развѣ ихъ самихъ, прекрасно знаютъ и противъ чего никто никогда не спорить. Казалось-бы, ничто не можетъ быть скучнѣе и ненужнѣе подобной публицистики, а между тѣмъ, и это — фактъ неоспоримый, большинство нашихъ толстыхъ и тонкихъ журналовъ только и занимаются пережевываніемъ старыхъ научныхъ и эстетико-критическихъ отбросовъ.— Объясняется-ли это требованіями читателей, недовѣрчиво относящихся къ проявленію какой-либо новизны со стороны ихъ старыхъ излюбленныхъ поставщиковъ научно-публицистической ветоши? Очень можетъ быть, что читатель, одолѣваемый зѣвотой при непрерывномъ изъ года въ годъ глотаніи этой литературной жвачки, все-же благодарить судьбу за то, что господамъ Михайловскимъ и Меньшиковымъ предусмотрительной природой отказано въ пониманіи любой мысли съ признаками новизны и оригинальности. Онъ знаетъ по опыту, что хорошаго ничего бы не вышло, если-бы эти господа вдругъ взялись за толкованіе идей менѣе отжившихъ, чѣмъ они сами.

Къ числу такихъ публицистовъ, вѣчно и неукоснительно повторяющихъ только то, что всякій уже давно знаетъ, принадлежитъ и милѣйшій Л. Е. Оболенскій, авторъ лежащей предо мною книжки „Научныя основы красоты и искусства“. Книжка эта составлена изъ лекцій, читанныхъ г. Оболенскимъ въ парижской Ecole des hautes études sociales.

Признаюсь, я никогда-бы не повѣрилъ въ реальное существованіе такого высшаго учи-

лица, въ которомъ почтеннѣйшій Л. Е. могъ бы выступить лекторомъ по искусству, если-бы мнѣ, весной нынѣшняго года, лично не довелось въ этомъ убѣдиться. Собственными глазами зрѣлъ я маститаго старца, обросшаго мхомъ чужой премудрости, возсѣдающимъ за кафедрой и собственными ушами слышалъ я его длинныя и усыпительныя рѣчи о томъ, что всякій давно знаетъ и что никого уже болѣе не интересуетъ.

Согласно этому основному положенію, лекція г. Оболенскаго была сплошь составлена изъ безошаднѣйшихъ труизмовъ и такихъ неопровержимыхъ истинъ по элементарной физиологіи, которыя никого не удивляли уже во времена патриарха Ноя. Наивно-трогательныя, но затрепанныя, какъ ковры въ присутственныхъ мѣстахъ, этико-эстетическія тирады смѣнялись пріятными банальностями о „красотѣ“, „эволюціи“ и „эмоціяхъ“, причеиъ вся лекція была насквозь прошигована цитатами, почерпнутыми изъ сочиненій легіона авторитетовъ, начиная съ Платона, Спенсера, Ломброзо и кончая, кажется, Мантегаццой, Сигмой и О. К. Нотовичемъ. Въ одномъ, впрочемъ, лектору слѣдуетъ отдать справедливость: говорилъ онъ свои банальности съ глубокимъ чувствомъ, изрекалъ общія мѣста съ дрожью въ голосѣ и со слезами на глазахъ провозглашалъ свои труизмы.

Лекція произвела потрясающее впечатлѣніе на аудиторію, состоявшую изъ консьержа и его семьи, къ сожалѣнію, не вполне оцѣнившихъ краснорѣчіе лектора, по незнанію русскаго языка, изъ трехъ психопатическихъ старыхъ дѣвственницъ, прерывавшихъ лектора подбодряющими восклицаніями: „душка Оболенскій!“, одного анемичнаго юноши, ревностно записывавшаго въ тетрадку каждое прошамканное ему въ назиданіе слово, и нѣсколькихъ случайныхъ посѣтителей, очевидно загнанныхъ на лекцію неистово хлеставшимъ на улицѣ дождемъ.

Такъ состоялась въ городѣ Парижѣ первая знаменательная лекція Л. Е. Оболенскаго „о научныхъ основахъ красоты“. Что касается остальныхъ объявленныхъ имъ чтеній

то успѣхъ ихъ, какъ мнѣ это передалъ самъ лекторъ, превзошелъ всѣ его ожиданія.

Теперь, просматривая новый эстетико-научный трудъ почтеннаго ученаго публициста, я долженъ сознаться, что лекціи его, собранныя воедино и украшенныя криптографическими начертаніями разныхъ фізіологическихъ ужасовъ, вродѣ схематическаго изображенія кровообращенія рыбъ (?), утратили для меня значительную долю своей привлекательной непосредственности и я съ сожалѣніемъ вспоминаю о дождливомъ утрѣ въ маленькой аулѣ на Сорбонской улицѣ, гдѣ такъ вкрадчиво и, вмѣстѣ съ тѣмъ, столь убѣдительно раздавался симпатичный старческій голосъ, вдохновенно провозглашавшій отжившія сентенціи о „красотѣ“ и неоспоримые трузмы объ „искусствѣ“.

Силанъ.

КНИГИ.

С. С. Вермель. Исаакъ Ильичъ Левитанъ и его творчество. С.П.Б. 1902 г. Доходъ съ изданія поступитъ на учрежденіе преміи имени Левитана.

Неинтересная брошюра г-на Вермеля, перепечатанная изъ журнала „Восходъ“, посвящена главнымъ образомъ патетическимъ и бессодержательнымъ „описаніямъ“ картинъ художника. Великій художникъ слова, какой нибудь Тургеневъ, можетъ, подобно великому художнику живописи—Левитану, давать описанія природы. Но разглагольствованія г. Вермеля и объясненія содержанія каждаго пейзажа Левитана—неумѣстны, бесполезны и комичны. „Посмотрите его (Левитана) Мартъ!“ восклицаетъ г. Вермель. „Это синее небо, готовые растаять ключья снѣга, такъ мастерски исполненныя, черныя пятна обнажившейся земли“ и т. д., и т. д. на цѣлую страницу. И кому это нужно? Мало-ли на свѣтѣ людей, видѣвшихъ картины Левитана и могущихъ съ такимъ-же успѣхомъ исписать листы на заданную тему: описаніе картинъ Левитана?

Въ началѣ своей статьи г. Вермель заявляетъ, что онъ даетъ очеркъ жизни покой-

наго художника между прочимъ и „на основаніи личныхъ его воспоминаній о художникѣ и имѣющей у него частной переписки“. Къ сожалѣнію обоимъ этимъ источникамъ удѣлено крайне мало мѣста. Двѣ-три мелкихъ черты изъ біографіи Исаака Ильича и три-четыре незначительныхъ статьи изъ его писемъ. Между тѣмъ, всѣ, знавшіе покойнаго художника, согласятся со мной, что самъ онъ, какъ личность, обладалъ необычайной обаятельностью, что онъ былъ натурой чрезвычайно тонкой, чуткой, воспріимчивой и что его личное художественное развитіе представляло собою интереснѣйшую страницу въ исторіи русскаго искусства.

Левитана, конечно, не забудутъ. Его картины будутъ говорить сами за себя. Наконецъ, блестяція страницы, посвященныя г-номъ Александромъ Бенуа (въ трудѣ объ исторіи русскаго живописи) нашему славному живописцу, являются до нѣкоторой степени памятникомъ покойному. Но тѣмъ не менѣе, на ближайшихъ друзьяхъ Левитана лежитъ обязанность набросать на бумагу свои воспоминанія о немъ и тѣмъ подготовить матеріаль для будущихъ біографовъ художника. Такъ, эта обязанность прежде всего лежитъ на Чеховѣ, съ которымъ Исаакъ Ильичъ былъ очень друженъ и съ которымъ велъ постоянную переписку, на Нестеровѣ, который близко зналъ Левитана въ самые тяжелые для него годы ученія. Наконецъ много цѣннаго о Левитанѣ могли-бы сообщить Сѣровъ и Остроуховъ. Послѣдній выказалъ много любви и уваженія къ памяти своего друга, содѣйствовавъ между прочимъ постановкѣ памятника на его могилѣ; теперь ему надо было-бы поработать и надъ „духовнымъ памятникомъ“ Левитана.

Д. Бѣжаніцкій.

ЗАМѢТКИ.

16-го (29-го) Сентября скончался Эмиль Золя. (Emile Zola. 1840 — 1902).

10-го Августа скончался Г. И. Семи-

радскій. Покойный родился въ 1843 году. Въ 1864 г. онъ поступилъ въ Академію художествъ, въ 1867 году выставилъ первый разъ свои картины „Гаданіе на вылитомъ воскѣ“ и „Людовика XI послѣ подписанія смертныхъ приговоровъ“. Въ 1868 г. удостоенъ малой золотой медали за картину „Диогенъ, разбивающій чашу“, въ 1870 г. за программу „Довѣріе Александра Македонскаго къ врачу Филиппу“ получилъ большую золотую медаль съ званіемъ класнаго художника I степени и съ правомъ заграничной поѣздки. Въ 1872 г. отправился въ Мюнхенъ, къ Пилоти, а затѣмъ во Флоренцію и въ Римъ. Въ Римѣ художникъ основался окончательно и имѣлъ тамъ свое знаменитое ателье, посѣщавшееся всѣми туристами. Въ 1873 г. за картину „Грѣшница“ Семирадскій получилъ званіе академика. Въ 1877 г. званіе профессора за картину „Свѣточи христіанства“.

Семирадскій работалъ очень много и его картины пользовались у публики громаднымъ успѣхомъ, какъ въ Россіи, такъ и кое-гдѣ за-границей.

Послѣдній (двойной) выпускъ „Художественныхъ Сокровищъ Россіи“ посвященъ петергофскимъ дворцамъ. 24 таблицы различныхъ архитектурныхъ деталей, болѣе тридцати снимковъ въ текстѣ, вступительная статья редактора, „Петергофъ въ XVIII вѣкѣ“—И. Божерянова, „Новые документы къ исторіи петергофскихъ дворцовъ и фонтановъ“ А. И. Успенскаго—таково краткое содержаніе этого выпуска, представляющаго собою цѣлую художественную монографію.

„Въ Версалѣ, Аранжуэцѣ, Казертѣ, Нимфенбургѣ, Шенбрунѣ, Потсдамѣ, Царскомъ селѣ и Петергофѣ—говоритъ въ своей статьѣ г. Бенуа—вылилось въ наиболѣе прекрасныхъ и грандіозныхъ затѣяхъ желаніе монарховъ XVII и XVIII в. в. создать художественную рамку своему величію и великолѣпію. Громадные дворцы—истинныя жилища земныхъ „боговъ“, окружались безконечными садами, совершенно отдѣлявшими эти олимпы отъ обыденной дѣйствительности, отъ жизни тѣхъ жалкихъ смертныхъ, надъ которыми эти боги царили.... Теперь, когда всѣ эти „безсмертные“

давно похоронены и въ продолженіи уже болѣе ста лѣтъ челоѣчество стремится отъ такого рая для немногихъ къ всеобщему земному раю., та дивная сказка, то величіе пріобрѣли оттѣнокъ чего-то невыразимо грустнаго, потому что безвозвратно утраченнаго и все-же подлиннаго. Раззолоченные дворцы Людовика XIV, Маріи Терезіи и царицы Елизаветы изъ веселыхъ резиденцій превратились въ оффиціальные музеи, въ которыхъ иногда только, и то не надолго, воскресаетъ жизнь—далекіе и слабые отголоски того величественнаго праздника, который въ то время, когда эти дворцы были созданы, казался нескончаемымъ“. Къ сожалѣнію, наши русскіе дворцы, съ музейной точки зрѣнія—находятся въ очень печальномъ положеніи. Какъ видно изъ статьи г. Бенуа, благодаря излишнему старанію хранителей, погибло много цѣнныхъ памятниковъ искусства XVIII в. Конечно, это очень жалко. Но г. Бенуа не принимаетъ во вниманіе одного обстоятельства. Чтобы достойно охранять и поддерживать старину, надо любить ее и понимать ея художественную прелесть. Гдѣ-же у насъ среди специалистовъ эти любители и цѣнители? Съ половины прошлаго вѣка, благодаря трудамъ Погодина, Снегирева Буслаева и др., оживился интересъ къ русской, до-Петровской старинѣ. XVIII-же вѣкъ оставался въ полномъ загонѣ до самаго послѣдняго времени. Только на нашей памяти началось любовное и толковое изученіе этой любопытнѣйшей страницы русской культуры вообще и русскаго искусства въ частности. Среди лицъ, работающихъ на этомъ поприщѣ, г-ну Бенуа принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Лежащій передъ нами выпускъ его журнала—служитъ яркимъ тому доказательствомъ.

Въ выборѣ воспроизведенныхъ деталей, въ выборѣ точекъ зрѣнія для снимковъ, во всѣхъ мелочахъ замѣтенъ тонкій художественный вкусъ и подлинная любовь челоѣка, истинно „грустящаго“ по утраченномъ блескѣ невозвратнаго прошлаго.

Д. Ф.

Nota bene по поводу программы симфоническихъ концертовъ русскаго музыкальнаго общества.—„Кубокъ“—кантата г. Арнскаго, сим-

фоніи г. г. А. Танѣва и Золотарева, увертюра г. Давыдова и прелюдъ нѣкоего г. Сильвіо Лазари. Вотъ перечень обѣщанныхъ намъ въ этомъ году симфоническихъ новинокъ. Ихъ— пять, а концертовъ будетъ десять. По среднему арифметическому выводу это составитъ два симфоническихъ вечера на одну новинку, или по полъ новинки на вечеръ. Какая же доля новизны внесена въ программу каждымъ изъ директоровъ русскаго музыкальнаго общества, объ этомъ свѣдѣній не дано.

Остальную часть программы предстоящихъ десяти симфоническихъ концертовъ можно, надѣюсь, обойти молчаніемъ, ибо она, эта несчастная остальная часть, представляетъ собою ничто иное, какъ обычную кучу песка, который ежегодно вытрясается пресловутой дирекціей.

А. Н.

Книга Д. С. Мережковскаго „Л. Толстой и Достоевскій“ переводится на англійскій языкъ.

Въ вѣнской газетѣ „Neue Freie Presse“ былъ напечатанъ фельетонъ нѣкоего Адольфа Тейхерта, посвященный описанію знакомства его съ Л. Толстымъ. Авторъ посѣтилъ Толстого въ апрѣлѣ 1901-го года. Обратился онъ къ нему по личному дѣлу, но бесѣда ихъ касалась, конечно, и общихъ вопросовъ культуры, политики, литературы, искусства. Приводимъ нѣсколько афоризмовъ и парадоксовъ Толстого изъ области критики и эстетики.

„Я не принадлежу къ числу любителей стиховъ,—сказалъ Л. Н.—Время стиховъ прошло безвозвратно. Поэту становится все труднѣй и труднѣй выразить свои мысли стихами. Даже въ прозѣ иногда трудно подыскать подходящее выраженіе. Вообще нѣкоторыя формы искусства вымираютъ съ теченіемъ времени, такъ, напр., поэзія, скульптура и архитектура—умерли. Только живопись можетъ намъ еще много сказать“.

„Шекспира я не выношу, т. е., вѣрнѣе, вообще мы его теперь не можемъ больше читать. Онъ сыгралъ свою роль. Что касается до Гете — то его сочиненія наполняютъ 34 тома. Но сколько изъ нихъ ничего не стоятъ!

Пожалуй, то, что дѣйствительно хорошо изъ его сочиненій, наполнило-бы какихъ-нибудь два тома. Что такое его трагедіи и комедіи? Даже Фаустъ мнѣ не нравится. Въ чемъ значеніе Гете? Что прекрасное—прекрасно, это мы и безъ него знаемъ. Конечно, кое-что изъ его вещей я читаю съ удовольствіемъ, такъ-же какъ и изъ Шиллера, котораго я ставлю выше Гете“.

При упоминаніи имени нѣмецкаго писателя Цабеля—Толстой выразилъ энергичный протестъ по поводу книги этого критика, написанной противъ Толстого. „Здѣсь ясно видно,—замѣтилъ онъ,—что выходитъ, когда люди хотятъ критиковать человѣка, который стоитъ выше ихъ. Но публика требуетъ подобныхъ критическихъ сужденій и поэтому ихъ пишутъ“.

Затѣмъ Толстой спросилъ своего собесѣдника, просматриваетъ-ли онъ журналъ „Simplicissimus“. „Когда со временемъ, — прибавилъ онъ—будутъ писать исторію конца прошлаго вѣка, то врядъ-ли найдутъ болѣе богатый источникъ исторіи этой эпохи“.

Въ сентябрьскомъ выпускѣ распространеннѣйшаго нѣмецкаго журнала „Westermanns Monatshefte“ помѣщена довольно толковая статья, посвященная современной художественной промышленности въ Россіи. Статья иллюстрирована снимками съ работъ Полѣновой, Головина и Врубеля.

Я. Ф. Цюнглинскій избранъ въ число профессоровъ Императорской Академіи Художествъ. Преподавателемъ въ школѣ Общества поощренія художествъ вмѣсто него назначенъ О. Э. Бразъ.

Московскій „Курьеръ“ недаромъ слыветъ у москвичей органомъ наиболѣе свѣдущимъ по части современнаго искусства. Въ № 186 этой газеты помѣщена пространная корреспонденція изъ Мюнхена, содержащая подробное описаніе „Декадентской (?) выставки картинъ въ Мюнхенѣ“. Авторъ корреспонденціи, скрывшій свой выдающійся художественно-критическій талантъ подъ литератами А. С., начинаетъ съ заявленія, что „декадентская живопись начинаетъ все болѣе и болѣе завоевывать себѣ въ Германіи

симпатіи публики“. Доказательство сего корреспондентъ видитъ въ томъ, что сецесионисты устроили свою выставку „на королевской площади, гдѣ красуется съ одной стороны Глипотека (?)“. „На насъ русскихъ, не привыкшихъ видѣть такое большое собраніе декадентскихъ картинъ, выставка производитъ особое впечатлѣніе“. „Въ первой же залѣ вамъ бросается въ глаза гордая стройная спина женской фигуры“. „Вы сразу начинаете чувствовать уваженіе къ новому искусству. Посмотрите на совершенно неизвѣстныхъ молодыхъ художниковъ. Вотъ небольшая картинка, скорѣе набросокъ, Fritz'a Uhde — „У окна“. „Ничего особаго въ замыслѣ, но одинъ сгибъ лѣвой руки, упертой въ бокъ, даетъ вамъ сразу все настроеніе, какимъ наполнена голова замечтавшейся дѣвушки. Мы какъ-то не привыкли къ тому, чтобы одинъ сгибъ руки выражалъ собой все настроеніе лица“ и т. д.

А мы, напротивъ, очень привыкли къ такого рода художественной критикѣ и только удивляемся, почему г. А. С. печатаетъ свои корреспонденціи въ „Курьерѣ“, а не въ „Новомъ Времени“, гдѣ его просвѣщенное сотрудничество было-бы, какъ нельзя болѣе, на мѣстѣ.

СВѢДѢНІЯ.

Домъ страхового общества „Rohjola“ на углу Александровской и Михайловской ул., въ Гельсингфорсѣ, былъ начатъ постройкой въ 1899 г. и оконченъ въ 1901 г. Для сооруженія этого дома предварительно былъ устроенъ конкурсъ, на который поступило 15 проектовъ. Первая премія не была присуждена никому въ отдѣльности, а распредѣлена поровну между авторами 4-хъ проектовъ, въ числѣ которыхъ былъ и проектъ архитекторовъ Гезелліуса, Линдгрена и Сааринена. Затѣмъ этимъ архитекторамъ было поручено исполненіе фасадовъ, а планы заказаны архитектору Ториваль. Впослѣдствіи эта комбинація оказалась непрактичной и разработка плановъ была также поручена Гезелліусу, Линдгрену и Сааринену.

Все зданіе облицовано особаго рода камнемъ, который находится только въ Финляндіи и Норвегіи, имѣетъ пріятный зеленовато-сѣрый тонъ и легко обрабатывается. Крыша аспидная, на башнѣ покрыта листовой мѣдью. Первый этажъ занятъ магазинами, второй — помещеніемъ общества, остальные — частными квартирами. Главная лѣстница мраморная съ рѣшеткой кованнаго желѣза. Панели и потолки въ главныхъ комнатахъ изъ мѣстныхъ видовъ сосноваго и березоваго дерева. Вся постройка обошлась въ 550,000 рублей.

Домъ строительнаго общества „Fabiansgatan 17“ въ Гельсингфорсѣ сооруженъ тѣми же архитекторами въ 1900—1901 г. и цѣликомъ отведенъ подъ частныя квартиры. Фасады штукатурные, крыша черепичная, лѣстницы цементныя. Стоимость постройки — 180,000 рублей.

УСЛОВІЯ

конкурса на представленіе Императорскимъ Фарфоровому и Стеклянному заводамъ художественныхъ рисунковъ.

§ 1. Конкурсъ на представленіе художественныхъ рисунковъ, по которымъ могли-бы быть выдѣлываемы Императорскими заводами фарфоровыя и стеклянныя вещи, назначается ежегодный.

§ 2. Рисунки на конкурсъ принимаются лишь отъ художниковъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ, но за исключеніемъ служащихъ или работающихъ на Императорскихъ Фарфоровомъ и Стеклянномъ заводахъ.

§ 3. Управленіе Императорскими заводами, если признаетъ нужнымъ, предлагаетъ задачи для конкурса. Рисунки, представляемые на конкурсъ, должны быть вполне закончены въ акварельныхъ краскахъ, причемъ рисунки, составленные на свободно избранныя темы, должны изображать собою вещи высотой не менѣе 12-ти вершковъ.

§ 4. Рисунки, удостоенные уже какой-либо награды отъ Императорскихъ заводовъ, на конкурсъ не допускаются.

§ 5. Рисунки представляются въ Управленіе Императорскими заводами. Срокомъ для представленія рисунковъ на конкурсъ назначается 1-ое ноября. Рисунки, доставленные послѣ этого срока, поступаютъ въ конкурсъ слѣдующаго года.

§ 6. Рисунки представляются на конкурсъ безъ означенія имени художника, но должны быть отмѣчены особымъ условнымъ знакомъ или девизомъ. Каждый рисунокъ сопровождается заявленіемъ въ запечатанномъ пакетѣ, на коемъ означается принятый художникомъ знакъ или девизъ. Въ заявленіи должно заключаться описаніе рисунка и имя художника, съ указаніемъ мѣста его жительства.

§ 7. За лучшіе изъ представленныхъ на конкурсъ рисунки назначаются отъ Императорскихъ заводовъ три преміи: въ 500, 300 и 200 руб., въ общемъ на 1,000 рублей. Если, однако, по недостатку рисунковъ, признанныхъ достойными преміи, будутъ присуждены не всѣ преміи или вовсе не будетъ назначено премій, а въ тоже время окажутся рисунки съ такими данными, которыми Императорскіе заводы пожелали-бы воспользоваться, то за послѣдніе выдаются преміи въ уменьшенномъ размѣрѣ, по 100 руб. за рисунокъ.

§ 8. Преміи присуждаются комиссіею, состоящею подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества, или замѣняющаго его лица, изъ членовъ: Управляющаго Императорскими Фарфоровымъ и Стекляннымъ заводами и представителей: отъ Императорской Академіи Ху-

дожествъ, Императорскаго Общества Поощренія Художествъ и Центрального Училища Техническаго Рисованія Барона Штиглица (по одному отъ cadaго изъ сихъ учрежденій). Рѣшенія комиссіи постановляются по большинству голосовъ, но если, вслѣдствіе отсутствія одного изъ членовъ комиссіи, образуется равенство голосовъ, то голосъ предсѣдателя имѣетъ перевѣсъ. На засѣданія комиссіи могутъ быть приглашаемы постороннія лица съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 9. При разсмотрѣніи комиссіею представленныхъ на конкурсъ рисунковъ должны имѣться въ виду отзывы о нихъ техниковъ, завѣдывающихъ мастерскими Императорскихъ заводовъ.

§ 10. Предположеніе комиссіи о присужденіи премій за лучшіе изъ поступившихъ на конкурсъ рисунки представляются министромъ Императорскаго Двора на Высочайшее благовозрѣніе Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.

§ 11. Рисунки, удостоенные премій, поступаютъ въ собственность Императорскихъ заводовъ, а остальные рисунки хранятся въ теченіи года при Управленіи Императорскими заводами; невостребованные въ теченіе этого срока рисунки могутъ быть уничтожены.

§ 12. Отчетъ о присужденіи премій Управленіе Императорскими заводами доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія.

§ 13. Измѣненіе и дополненіе условій конкурса, въ случаѣ надобности, дѣлается Министромъ Императорскаго Двора.

Редакторъ-издатель С. П. Дягилевъ.

м-і-д-6907



ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ СОКРОВИЩА РУССІИ.

Ежемесячный иллюстрированный сборникъ,
издаваемый
ИМПЕРАТОРСКИМЪ
Обществомъ Поощренія
Художествъ,
подъ редакціей Александра БЕНУА.

Сборникъ состоитъ изъ 1) *таблицъ* иллюстрацій (12 въ номерѣ, 144 въ году) 2) объяснительнаго къ нимъ *текста* и 3) *художественной хроники*.

ТАБЛИЦЫ посвящены исключительно художественнымъ произведеніямъ, находящимся въ Россіи. (Архитектурныя сооруженія, картины, скульптура, церковная утварь, мебель, бронза, шитье, ковры, кружева, матеріи, оружіе, и проч.).

Пояснительный къ таблицамъ **ТЕКСТЪ** содержитъ историческія данныя объ изображенныхъ предметахъ, эстетическую ихъ оцѣнку и біографическія свѣдѣнія объ ихъ творцахъ. Текстъ печатается на русскомъ и французскомъ языкахъ.

Содержаніе ХРОНИКИ: Отчеты о дѣятельности Императорскаго Общества Поощренія Художествъ по разнымъ его учрежденіямъ, выставки: русскія и иностранныя, новыя книги, некрологи скончавшихся художниковъ и другія извѣстія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ доставки 6 руб. Съ доставкой въ предѣлахъ Россіи 8 р. Съ пересылкой за границу 10 рублей.

Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ редакціи Сборника: С.-Петербургъ, Мойка, д. № 83. (№ телефона 2665).

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ

томъ первый изданія

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ВЪ XVIII ВѢКѢ.

Первый томъ посвященъ произведеніямъ Д. Г. Левицкаго (1735—1822). Въ немъ помѣщено около 100 снимковъ съ работъ художника, всѣ дошедшія до насъ гравюры съ портретовъ его работы, нѣсколько гравюръ работы отца художника Г. К. Левицкаго, а также портреты, писанные съ самого художника В. Л. Боровиковскимъ и И. Е. Яковлевымъ.

Изъ работъ Д. Г. Левицкаго помѣщены въ снимкахъ, исполненныхъ гелиогравюрой (39), фототипіей (25) и автотипіей (41), всѣ портреты мастера, о которыхъ было возможно собрать какія либо свѣдѣнія.

Въ текстѣ помѣщены статьи: „Жизнь Д. Г. Левицкаго“ В. П. Горленко и „Произведенія Д. Г. Левицкаго“ С. П. Дягилева, а также сохранившіеся документы, какъ официальные (формулярн. списокъ, прошенія въ Имп. Акад. Худож., постановленія Совѣта Имп. Акад. Худ. и пр.), такъ и частные. Документы напечатаны in extenso.

Всѣ оставшіеся отъ подписки экземпляры находятся на складѣ въ книжномъ магазинѣ М. О. Вольфъ. (С.П.Б. Гостинный Дворъ, 18).

Изданіе редакціи журнала „Миръ Искусства“.

Открыта подписка на 1902 годъ (4-й годъ изданія) на художественный
иллюстрированный журналъ

„МІРЪ ИСКУССТВА“

Журналъ выходитъ въ 1902 году по прежней программѣ и въ прежнемъ
объемѣ, одинъ разъ въ мѣсяцъ, книжками въ 10—12 листовъ in 4^o, съ многочислен-
ными иллюстраціями въ текстѣ и съ художественными приложеніями (гелиографюры,
фототипіи и хромолитографіи) на отдѣльныхъ листахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ.	На 1/2 года.
Съ доставкой въ С.-Петербургѣ	10 руб.	5 руб.
„ пересылкой иногороднимъ	12 „	6 „
„ „ за границу	14 „	7 „

Долускается разсрочка. Первый взносъ при подпискѣ для городскихъ подписчи-
ковъ 2 р. 50 к., для иногороднихъ 3 р. Затѣмъ вносится по 1 р. ежемѣсячно.

Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Главная контора журнала находится при книжномъ магазинѣ Товарищества *М. О. Вольфъ*
(С.П.В., Гостиный Дворъ, № 18; Москва, Кузнецкій мостъ, 12). Подписной годъ начи-
нается съ 1-го Января.

Полные экземпляры „Міръ Искусства“ продаются *исключительно* въ редакціи жур-
нала (Спб., Фонтанка, 11) по слѣдующимъ цѣнамъ:

Годъ I—(1899)—20 р. (безъ перес.)
„ II—(1900)—40 р. „ „

За 1901 г. имѣются лишь №№ 4—12 (7 руб. безъ перес.). *Первые три номера за
1901 г. разошлись сполна.*

Цѣна № 8-го—1 р. 20 к. съ перес. 1 р. 50 к.

$\frac{1}{258}$ ННЗ

1902

Т. 8

к 7-8

(М/Ф)